ИВАН
БУНИН

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

ИВАН БУНИН

Советский писатель





БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА
М. ГОРЬКИМ

Большая серия
Второе издание

ЛЕНИНГРАД • 1956

ИВАН БУНИН

СТИХОТВОРЕНИЯ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания

А. К. Тарасенкова

ПОЭЗИЯ ИВАНА БУНИНА

В 1887 году, когда Ивану Алексеевичу Бунину было всего семнадцать лет, к нему уже пришел первый литературный успех: одно из его стихотворений было напечатано в столичном журнале «Родина».

Огромную жизнь, полную противоречий, прожил с тех пор И. А. Бунин. Он умер в 1953 году, до конца дней своих продолжая литературную деятельность.

На глазах Бунина прошли многие литературные и общественные события. Он жил в бурное время, изобиловавшее резкими общественными переменами, крупнейшими катаклизмами, сменами господствующих поэтических школ. Начало поэтической деятельности Бунина приходится на годы, когда на страницах печати задавали тон эпигоны народничества и бесцветные буржуазно-либеральные стихотворцы. Затем наступил период рождения и широкого распространения декадентской поэзии. Бунин пережил и торжество и крах символизма, акмеизма, футуризма. Он заявил себя решительным противником всех этих модных в свое время поэтических течений, отзывался о них неизменно с презрением, и в этом чувствовалась правота и убежденность опытного мастера слова, который в атмосфере декадентских «исканий» и кривляний остался бескомпромиссно верен заветам русской классической поэзии.

С самого начала поэтическое творчество Бунина развивалось в традиции реализма, искони присущего большому русскому искусству.

Юношеским стихам Бунина, вышедшим в 1891 году отдельной книгой в Орле, свойственны многие недостатки: и налет некоторой

сентиментальной слащавости, и неглубокая юношеская восторженность, и вялость формы, сказавшаяся в случайном подборе эпитетов, в шаблонной образности, в недостаточно богатом и точном языке. Все эти недостатки, отражающие незрелость поэтической мысли молодого поэта, не могут, однако, заслонить тех положительных начал, которые отчетливо проявились уже в ранних стихах Бунина. Это — верность образам родной природы, приверженность к ясному и четкому классическому стиху, тяга к вечным темам реалистической лирики — жизни простых людей, их труду и любви.

«Писал я в отрочестве сперва легко, — говорит И. А. Бунин, — так как подражал то одному, то другому, — больше всего Лермонтову, отчасти Пушкину, которому подражал даже в почерке, потом, в силу потребности высказать уже кое-что свое — чаще всего любовное, — труднее. Читал я тогда что попало — и старые и новые журналы, и Лермонтова, и Жуковского, и Шиллера, и Веневитинова, и Тургенева, и Маколея, и Шекспира, и Белинского... Потом пришла настоящая любовь к Пушкину, но наряду с этим увлечение, хотя и недолгое, Надсоном, чему, впрочем, много способствовала его смерть».[1]

Как видим, вкусы Бунина определились даже при этом случайном выборе книг довольно отчетливо. И хотя вначале на его творчество, случалось, оказывали влияние самые различные и подчас эклектически усвоенные литературные источники, основное, магистральное развитие его дарования даже и в те годы было совершенно определенным, шло в русле реалистических традиций.

В известной мере это объясняется условиями, в которых протекали детство и юность Бунина. Семья поэта принадлежала к той части русского поместного дворянства, которая давно уже была разорена, жила в своих небольших поместьях крайне стесненно и потому была в бытовом отношении довольно близка к крестьянству.

Отец Бунина, помещик Орловской губернии, был в молодости офицером, участвовал в Крымской кампании 1855—1856 годов, но к концу жизни осел на земле. Свое и женино состояния он прожил довольно быстро. 10 октября 1870 года родился будущий поэт Иван Бунин. Быт помещиков Буниных был скромен, неприхотлив. Детство будущего поэта, протекавшее в имении Бутырки, близ г. Орла, было

---

[1] «Автобиографическая заметка» (Полное собрание сочинений, т. VI, 1915, стр. 325—326).

наполнено сказками и преданиями старины и живыми впечатлениями деревенской повседневности.

«Все, помню, действовало на меня: новое лицо, какое-нибудь событие, песня в поле, рассказ странника, таинственные лощины за хутором, легенда о каком-то беглом солдате, едва живом от страха и голода и скрывавшемся в наших хлебах, ворон, все прилетавший к нам на ограду и поразивший мое воображение особенно тем, что жил он, как сказала мне мать, еще, может, при Иване Грозном, предвечернее солнце в тех комнатах, что глядели за вишневый сад, на запад. . .» [1]

Атмосфера родительского дома, которую так красочно передал здесь Бунин, а еще более полно и многогранно изобразил в повестях «Суходол» (1911) и «Жизнь Арсеньева» (1927), способствовала пробуждению в поэте особенно чуткого восприятия природы и человеческих отношений. Бунин не раз рассказывал, как близок он был к жизни бывших крепостных и однодворцев, какое влияние оказали на него еще в детские годы поэзия земледельческого труда, быт и природа России, незатейливые деревенские радости, повседневное общение с народом. «Тут, в глубочайшей полевой тишине, среди богатейшей по чернозему и беднейшей по виду природы, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной». [2]

К этим впечатлениям, вынесенным непосредственно из жизни, прибавились впечатления и чисто литературные.

Творчество Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого, Тургенева, Тютчева почти буквально было всосано Буниным с материнским молоком.

Ощущая себя дворянином до мозга костей, Бунин очень гордился древностью своего рода и неоднократно писал об этом. Но он до поры до времени не чувствовал своей связи с господствующими классами буржуазно-помещичьей России. Поэт идеализировал дворянство, стремился подчеркнуть в нем черты «рыцарства» и патриархальности, говорил о якобы тесной близости его к крестьянству. И хотя жизнь на каждом шагу разрушала иллюзии Бунина, хотя позднее, в зрелые годы творчества, он правдиво и честно показал распад и гибель старого патриархального поместного уклада, его ранняя лирика оставалась в стороне от этих жизненных противоречий.

---

[1] Там же, стр. 322—323.
[2] Там же, стр. 321.

Пустынные поля, пейзажи деревень,
Синеющих вдали задумчиво-безмолвно,
Прохладный небосклон и этот серый день —
Все для меня теперь какой-то грусти полно.

Но эта грусть меня и греет и живит,
И силу творчества как будто пробуждает,
Как будто прежнюю любовь напоминает
И про какую-то разлуку говорит...

Так писал Бунин в одном из стихотворений, вошедших в его орловский сборник 1891 года. Как видим, здесь развиты мотивы по преимуществу элегические, а основная тональность стихов — минорная, созерцательная. Эти черты характерны и для других ранних стихов Бунина. Одну за другой он рисует картины природы, говорит о любви и красоте, но все это не выходит пока из круга довольно узких представлений, свойственных человеку, лишенному связей с большим внешним миром. Ранняя лирика Бунина не содержит ни серьезной общественной проблематики, ни активного отношения поэта к тому, что он видит и отражает в своих стихах. Творчество Бунина в эту пору остается лишь одним из многочисленных вариантов традиционной любовной и пейзажной лирики, в нем еще в очень слабой степени выражено самобытное начало.

Молодой Бунин живет в средней полосе России и на Украине, вдалеке от столичной литературной среды. Он работает в провинциальных газетах, служит статистиком в земстве. На короткий период он подпадает под власть толстовской философии непротивления злу и приобщения к земле. Однако, соприкоснувшись с «толстовцами», Бунин быстро разочаровывается в религиозно-философской сути учения Толстого, преклоняясь, однако, перед могучим реалистическим даром и мастерством гениального писателя.

В 90-е годы стихи, а затем и рассказы Бунина начинают часто появляться на страницах «Русского богатства», «Нового слова», «Мира божьего», «Севера» и других изданий того времени. Бунин знакомится с Львом Толстым, А. Чеховым, Григоровичем, Эртелем, Михайловским, поэтами Жемчужниковым, Брюсовым, Бальмонтом. В 1899 году в Ялте Чехов познакомил Бунина с Горьким. Это знакомство оказало на Бунина чрезвычайно сильное и благотворное влияние. И хотя в старости, в период своих эмигрантских блужданий и заблуждений, Бунин говорил о Горьком неуважительно и дошел до того, что снял посвящение ему со своей поэмы «Листопад», именно Горькому Бунин был обязан тем, что тесно

сблизился с издательством «Знание», собравшим вокруг себя все наиболее передовое, честное, демократическое и реалистическое, что было тогда в русской литературе.

Большую роль в творческом и идейном формировании Бунина сыграла его работа над переводом эпического произведения американского поэта Лонгфелло «Гайавата» (1898). В этой замечательной поэме, написанной на основе народных преданий, сказок и песен североамериканских индейцев, во всей своей первобытной прелести раскрывались жизнь и верования простого народа, близкого к природе, живущего одной жизнью с нею. Удивительная атмосфера моральной чистоты, присущая героям «Гайаваты», пленила Бунина. В предисловии к своему переводу Бунин писал, что поэма Лонгфелло «трогает нас то величием древней легенды, то тихими радостями детства, то чистотой и нежностью первой любви, то безмятежностью трудовой жизни на лоне природы, то скорбью роковых и вечных бед человеческого существования. Она воскрешает перед нами красоту девственных лесов и прерий, воссоздает цельные характеры первобытных людей, их быт и миросозерцание».

В то время как на буржуазном Западе — в Англии, Франции, Америке, Германии — создавалась литература, воспевающая колонизаторскую «миссию» белых людей и изображающая угнетенных представителей отсталых народов как дикарей и разбойников, Бунин познакомил русского читателя с индейским эпосом, наполненным светом человечности, поэзией гуманизма. И в наши дни глубоко современно звучат призывы легендарного героя «Гайаваты» Гитчи Манито к дружбе всех индейских племен, к совместному созидательному труду, к прекращению братоубийственной бессмысленной розни:

Я устал от ваших распрей,
Я устал от ваших споров,
От борьбы кровопролитной,
От молитв, от кровной мести.
Ваша сила — лишь в согласьи,
А бессилие — в разладе.
Примиритесь, о дети!
Будьте братьями друг другу!

. . . .

Погрузитесь в эту реку,
Смойте с пальцев пятна крови;
Закопайте в землю луки,

Трубки сделайте из камня,
Тростников для них нарвите,
Ярко перьями украсьте
И живите впредь как братья!

Бунинский перевод «Гайаваты» был удостоен Пушкинской премии, он получил широкое распространение и оказал сильное влияние на русских поэтов-переводчиков, обращавшихся к эпическим творениям разных народов. В современных переводах финской «Калевалы», казахского «Джанагра», эстонского «Калевипоэга» и других памятников эпической поэзии явственно ощущается школа Бунина, давшего несравненный образец воспроизведения на русском языке творения иноземной народной поэзии. Даже самобытный ритм бунинской «Гайаваты», с исключительным словесным мастерством и музыкальным многообразием разработанный автором, не раз был воспроизведен другими русскими поэтами-переводчиками. Наконец, работа над переводом «Гайаваты» безусловно обогатила Бунина как поэта, способствовала развитию его собственного таланта.

В 90-е годы Бунин выходит из круга подражательных мотивов, из рамок сентиментально-отвлеченной лирики. Все более крепнет его блистательное реалистическое дарование.

В 1901 году в Москве вышел из печати сборник лирики Бунина «Листопад», доставивший ему довольно широкую литературную известность. Разнообразны картины, которые рисует поэт. Но все они проникнуты удивительной гармонией, подлинно реалистическим ощущением красоты родной земли, горячим чувством любви к ней. То это панорама ночного моря, разбушевавшегося под южным небом, то это мирная картина застывшего в теплом вечернем воздухе Днепра, то это старый сад, который «всю ночь гудел угрюмо», по которому «весенние туманы расползались медленно, как дым», то это бег тройки по пустынному снежному полю. Картины природы сменяются в стихах Бунина глубокими раздумьями над русской стариной. В таких стихотворениях, как «Вирь» или «На распутье», в творчестве поэта оживают видения далекого прошлого, образы народных преданий, сказок, легенд. Часто Бунин обращается к теме любви. Большие, сильные чувства волнуют его сердце. Он говорит о женщине с величайшей нежностью, уважением, с глубокой эмоциональностью.

Все успешнее Бунин овладевает в эти годы искусством тонкой словесной живописи и поэтической речью во всем богатстве ее смысловых и музыкальных оттенков, все прозрачнее и ярче стано-

вятся его образы, в которых отражается многокрасочный мир природы и человеческих отношений. Вот, например, описание лесного родника, содержащее всего двенадцать строк, но настолько полное предметной изобразительной силы, что перед читателем встает картина убедительная и цельная во всех своих деталях:

В глуши лесной, в глуши зеленой,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой
Бьет из камней родник студеный:

Кипит, играет и спешит,
Крутясь хрустальными клубами,
И под ветвистыми дубами
Стеклом расплавленным бежит.

А небеса и лес нагорный
Глядят, задумавшись в тиши,
Как в светлой влаге голыши
Дрожат мозаикой узорной.

Вот отрывок из другого стихотворения, в котором с осязаемой прозрачностью возникает картина, характерная для просторов нашего Юга:

Открыты жнивья золотые,
И светлой кажутся мечтой
Простор небес, поля пустые
И день, прохладный и пустой.

Орел, с дозорного кургана
Взмахнувший в этой пустоте,
Как над равниной океана
Весь четко виден в высоте.

В замечательной поэме Бунина «Листопад» (1900) щедро, свободно и просторно нарисована картина русской осени. Здесь все пронизано образами наших сказок, образами народных поверий и преданий. Но они послужили поэту лишь основой для самобытно-оригинальных образных решений. И ощущение торжественной лесной тишины, и воздушная серебряная паутина, и образ вдовы-осени, которая вступает в свой расписной терем, «лиловый, золотой, багряный», и удивительно человечное чувство единства героя с при-

родой, и причудливая смена впечатлений дня, вечера, ночи, утра, и призывный зов охотничьего рога, и лирический монолог самого поэта, все время прерывающийся и возобновляющийся вновь и вновь, — все это делает «Листопад» одним из высших художественных достижений Бунина.

Поэтический язык Бунина строг, ясен, точен. Течение мысли в стихе Бунина обычно развивается в строгой логической последовательности, он не любит прибегать к так называемой многопланности. Сравнения, метафоры и другие средства образного насыщения поэтической речи Бунин чаще всего строит на широко распространенных и легко усваиваемых уподоблениях. Он чуждается экстравагантной пышности образных окрасок, стремясь не столько к оригинальности в формах выражения, сколько к точности определений, к меткости сравнений, к зрительной осязаемости своих метафор и эпитетов.

Бунин любил прибегать к приему оживления некоторых забытых элементов языка, отошедших в прошлое. В автобиографических заметках «Из записей» (1927) поэт рассказал, с каким бережным любопытством он относился к архаическим элементам народной речи, подслушанным им у отца, у крестьян. Он сопоставлял услышанное из уст народа с образцами древней русской речи, запечатленной в литературных памятниках. Свое великолепное знание истории языка Бунин использовал в стихах крайне осторожно, дабы не впасть в неуместную стилизацию.

Изображение картин родной природы отнюдь не носит в творчестве Бунина «нейтральный» характер. Бунинская природа — сродни пейзажной живописи Серова, Левитана, Шишкина, Поленова и других замечательных русских художников, средствами пейзажа передававших свою огромную любовь к родине, к народу. Точно так же не безразличны, не нейтральны и пейзажи Бунина. Тонко рисуя разнообразные картины русской, украинской, крымской природы, Бунин одухотворяет пейзаж глубокой человечностью, вне которой немыслимо подлинно реалистическое искусство. За внешними чертами природы у Бунина иногда в скрытой форме, а иногда и в непосредственном лирико-публицистическом выражении присутствует идея родины. Вот, к примеру, небольшое стихотворение «Родине», всем своим смыслом направленное против тех, кто в исконной русской бедности и убогости видел чуть ли не залог национальной самобытности:

Они глумятся над тобою,
Они, о родина, корят

Тебя твоею простотою,
Убогим видом черных хат...

Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей —
Усталой, робкой и печальной
Средь городских его друзей,

Глядит с улыбкой состраданья
На ту, кто сотни верст брела
И для него, ко дню свиданья,
Последний грошик берегла.

Бунин, конечно, не замыкался в рамках лирического пейзажа, хотя в этом жанре в первые десятилетия своего поэтического развития достиг, пожалуй, наибольших успехов. С большой психологической глубиной умел рисовать поэт и человеческие переживания, подчас острые, трагические. Видимо, результатом перенесенной поэтом личной драмы явилось его стихотворение «Балагула». Здесь в описание скучной и мерной езды по весенней степи с благодушным евреем-возницей вдруг вплетается жаркий, страстный внутренний монолог поэта о самом себе, о своей непоправимо искалеченной личной жизни:

Балагу́ла убегает и трясет меня.
Рыжий Айзик правит парой и сосет тютюн.
Алый мак во ржи мелькает — лепестки огня.
Золотятся, льются нити телеграфных струн.

«Айзик, Айзик, вы заснули!» — «Ха! А разве пан
Едет в город с интересом? Пан — поэт, артист!»
Правда, правда. Что́ мне этот грязный Аккерман?
Степь привольна, день прохладен, воздух сух и чист.

Был я сыном, братом, другом, мужем и отцом,
Был в довольстве... Все насмарку! Все не то, не то!
Заплачу за путь венчальным золотым кольцом,
А потом... Потом в таверну: вывезет лото!

С не меньшей силой этот реалистический лиризм передан в «Одиночестве», где снова варьируется тема женской измены. Пейзаж осенней дачи, залитой потоками дождя, здесь естественно связывается с тоскливой жаждой тепла, уюта, с мрачным ощущением одиночества:

Сегодня идут без конца
Те же тучи — гряда за грядой.

Твой след под дождем у крыльца
  Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:
  «Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
  Разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

Бунин умеет так сказать о человеческом горе, о душевной боли, о тяжести измены и разлуки, что это вовсе не перерастает в упадочничество, мизантропию. Даже в тяжком горе лирический герой стихов Бунина остается глубоко сдержанным, скупым, строгим и потому особенно человечным. Не следует, однако, полагать, что любовная лирика Бунина — это только лирика расставания, ущерба, неразделенной любви. Наряду со стихами, которые мы цитировали выше, в творческом наследии поэта есть немало радостных, жизнеутверждающих признаний. Любовная лирика Бунина поражает многообразием оттенков чувства. То это гимн плотским радостям, то это напряженная мольба, то это нежное, доверчивое признание. Здесь раскрывается человек, глубоко, тонко, многогранно чувствующий и мыслящий. Любовная лирика Бунина чиста, благородна, содержит в себе множество так называемых «вечных» мотивов, полностью сохранивших свое обаяние и для современного советского читателя. В этом ее непреходящее художественное и этическое значение.

А. М. Горький неоднократно восхищался мастерством Бунина. Он очень высоко оценивал его язык, ставя его в один ряд с корифеями русского искусства — Толстым, Чеховым, Тургеневым. В «Деревне», «Суходоле» и других книгах Бунина он видел продолжение и углубление той правды о мужике, о пореформенной деревне, которую русские писатели смело изображали в своих произведениях. Горький высоко ценил и стихи Бунина, называл их «звучными», «детски чистыми», отмечал в них «огромное чутье природы». По поводу сборника «Листопад» он писал В. Я. Брюсову: «С благодарностью извещаю, что получил прекрасную книжку стихов Бунина, коего считаю первым поэтом наших дней».[1]

---

[1] М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 28, 1954, стр. 152.

И, однако, даже в пору наибольшего творческого сближения с Буниным Горький с удивительной меткостью и прозорливостью указывал на слабые стороны бунинского творчества. Горького искренне удивляло, почему свой огромный талант Бунин «не отточит в нож и не ткнет его куда надо». Он жаловался Чехову на «барскую неврастению» Бунина. Он подчеркивал в одном из писем к К. П. Пятницкому бунинскую двойственность: «. . .Ох, Бунин! И хочется, и колется, и эстетика болит, и логика не велит!» [1]

Горький прекрасно понимал известную ограниченность бунинского творчества, владевшие писателем дворянские предрассудки, которые подчас сковывали и сужали его огромный реалистический талант, не позволяли ему изобразить народную жизнь во всей ее полноте, не давали ему увидеть те кричаще острые классовые противоречия, из которых была буквально соткана тогдашняя действительность. И, однако, сила реалистического видения художника была очень велика. Инстинкт правды вел Бунина по верному пути.

Не только в прозе, но и в стихах Бунин умел правдиво воссоздавать картины трудовой жизни и бытового уклада русского крестьянства. Вот, например, одна из таких картин, отличающаяся точным, как гравюра, словесным рисунком:

Старик у хаты веял, подкидывал лопату,
Как раз к святому Спасу покончив с молотьбой.
Старуха в черной плахте белила мелом хату
И обводила окна каймою голубой.

А солнце, розовея, в степную пыль садилось —
И тени ног столбами ложились на гумно,
А хата молодела — зарделась, застыдилась —
И празднично блестело протертое окно.

С замечательной лирической точностью, с глубоким проникновением в подлинно народные представления и чувства рисует Бунин образ простой девушки, работающей где-то на баштане у берега моря, с ее любовным горем, с ее тоской, ревностью, печалью:

Я — простая девка на баштане,
Он — рыбак, веселый человек.
Тонет белый парус на Лимане,
Много видел он морей и рек.

---

[1] Там же, стр. 152, 131, 200.

Говорят, гречанки на Босфоре
Хороши... А я черна, худа.
Утопает белый парус в море —
Может, не вернется никогда!

Буду ждать в погоду, в непогоду...
Не дождусь — с баштана разочтусь,
Выйду к морю, брошу перстень в воду
И косою черной удавлюсь.

И в то же время стихи Бунина-«знаньевца» не только во многом «отстают» от передовых общественных идей других писателей этого прогрессивного направления, но более того: поэт как бы нарочито отгораживает себя и свое творчество от острых противоречий действительности. Он тщательно избегает широкой общественной проблематики, замыкаясь в темах природы, деревенского быта и любовной лирики.

При всей внимательности Бунина к печалям и радостям деревенского быта, который он так мастерски рисовал и в стихах и в прозе, он был лишен подлинно демократического чувства, не умел и не хотел по-настоящему сблизиться с народом, жить его реальными нуждами и повседневными интересами.

Совсем прошел Бунин-поэт мимо темы первой русской революции. Он никак не откликнулся на ее грозовые события, остался в стороне от идей, волновавших передовые общественные круги. И, однако, в прозаических произведениях Бунина, созданных еще до революции 1905 года, писатель честно, правдиво, глубоко изобразил жизнь трудящихся деревенских людей, прозябающих в голоде, нищете, бесправии. Бунин скорбит об умирании и разорении старых дворянских гнезд. Меланхолической элегией полон, например, его рассказ «Антоновские яблоки» (1900), где писатель нашел тонкие словесные краски для изображения того, как жизнь покидает когда-то прекрасные, с его точки зрения, гнезда усадебной помещичьей культуры.

Печальная отходная старому миру звучит во многих прозаических и поэтических творениях Бунина. Но было бы ошибкой считать его только певцом грусти, поэтом дворянского увядания. Бунин видел гораздо шире и глубже. Те, кто характеризовали писателя только как певца сходящего с исторической арены помещичьего класса, игнорировали как раз наиболее ценное в его творчестве — критику тяжкого положения народных масс, разоряемых и развращаемых капитализмом, гибнущих от водки и бескормицы, от болез-

ней и стихийных бедствий, от собственной тьмы и бесправия и ничего не могущих противопоставить сытому миру тунеядцев, «князей во князьях», которые были глубоко антипатичны Бунину. Именно эта наиболее сильная сторона творчества Бунина дала основание Горькому назвать его критическим реалистом.

В прозаическом творчестве Бунина нет полной картины общественной жизни современной ему России. Он оказался неспособен ни подняться до серьезного анализа общественных бедствий, ни разобраться в истинной природе исторических событий, потрясавших тогда устои буржуазно-помещичьего строя. Слабость Бунина была в том, что он не видел путей исхода из старого мира, не звал, не протестовал, не показывал никаких перспектив. Но при всей ограниченности мировоззрения Бунина художественные образы, созданные им, поражают глубоким и проникновенным знанием жизни, они исполнены человеколюбия и ценны честным, правдивым взглядом на окружающий мир.

В обстановке распада буржуазной литературы, особенно резко проявившегося в годы реакции, Бунин, по словам Горького, остался «верен себе», т. е. верен заветам реализма, заветам художественной правды. С течением времени он все более последовательно идет по пути реализма. Он рисует в эти годы распад патриархальных устоев старой деревни, показывает и различные другие общественные слои царской России, изображает и представителей господствующих классов и трудовую интеллигенцию — инженеров, учителей, студентов. В прозе Бунина («Деревня» и другие произведения) все ярче отражается объективная картина того, что происходило тогда в обществе. И хотя он почти совсем не коснулся темы революции 1905 года, наибольшей силы он достиг как раз в изображении того, как в результате поражения этой революции поднял голову деревенский кулак, как окончательно расшатались старые, дедовские устои в крестьянском быту, как исчезло доверие людей друг к другу, как все усиливались пьянка, разбой, обман.

Повесть Бунина «Деревня» объективно явилась ударом по столыпинской России, этому царству виселиц и крови. Недаром марксистская критика в лице В. Воровского сочувственно встретила «Деревню». В. Воровский отмечал недостатки этого талантливого произведения, указывал на ограниченность кругозора автора, не сумевшего показать черты нового, революционного в русском крестьянстве, но с чувством глубокого удовлетворения критик-большевик утверждал, что Бунину удалось нарисовать верную картину тех мерзостей, того «идиотизма деревенской жизни», которых сознательно не хотели замечать ни прекраснодушные эпигоны народни-

чества, ни писатели, дававшие лживую, идиллическую картину жизни русской деревни под эгидой православия и самодержавия.

Восхищенно встретил бунинскую «Деревню» и Горький. Благодарный Бунин назвал отзыв Горького о «Деревне» «живой водой». После «Деревни» Бунин в годы реакции написал еще ряд повестей и рассказов, отличающихся мастерством портретной живописи, меткостью и остротой характеристик, прозрачным, воистину классическим языком: «Сверчок», «Захар Воробьев», «Ночной разговор», «Суходол» и многие другие. Эти повести и рассказы продолжали ту же линию, которая была намечена в «Деревне». В них писатель изобличал то зло, которое капитализм принес в деревню, он показывал, как цельные и благородные народные характеры людей труда уродуются, калечатся деньгами, водкой, бессовестной эксплуатацией, жестоким стяжательством власть имущих.

В стихах, которые писал Бунин в эту же пору, классовые противоречия тогдашней России не нашли столь яркого отражения, как в его прозе. Попрежнему поэзия Бунина была сильна не картинами социального бесправия, а великолепными образами русской природы, своим лиризмом. Все более зримой, отчетливой, пластически выразительной становится словесная живопись поэта.

В эти годы Бунин много путешествует за границей. Он побывал и в Западной Европе, и на Ближнем Востоке, и в Египте, и на Цейлоне. Наряду с образами русской природы в его творчестве возникают пейзажи Греции, Италии, Швейцарии, Турции, Палестины. В изображении этих стран, их пейзажа, их нравов и обычаев Бунин в большинстве случаев столь же предметен, конкретен и реалистичен.

Правда, объективность требует отметить, что многие стихи Бунина о Востоке полны религиозных реминисценций. В годы реакции Бунин отчасти поддается влиянию модных религиозных настроений. Если в его ранних стихах почти начисто отсутствуют «божественные» мотивы, если тогда он был полон земных радостей и чувствований, то в дальнейшем в его стихах все чаще появляются сюжеты, образы и цитаты, заимствованные из Библии, евангелий или Корана, все чаще овладевает им философия бренности всего земного.

В целом позиция, которую занимал писатель в пору расцвета своего дарования, не вызывает сомнений. Оставаясь верен заветам реализма, он с глубоким отвращением относился к всевозможным художественным извращениям и лживым соблазнам декадентского лагеря. В 1913 году в речи на юбилее газеты «Русские ведомости»

Бунин сказал с горечью страстного, негодующего обвинителя: «Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы — глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота, и морем разлились вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык (в тесном содружестве писателя и газеты), утеряно чутье к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до пошлейшей легкости — называемой «виртуозностью» — стих, опошлено все, вплоть до самого солнца, которое неизменно пишется теперь с большой буквы... Мы пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию, называвшуюся разрешением «проблемы пола», и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и садизм, и снобизм, и «приятие мира», и «неприятие мира», и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм — и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом «футуризм». Это ли не Вальпургиева ночь!» [1]

В предреволюционные годы в бунинской поэзии на первый план выдвигается новая лирическая тема; глубоко, многопланно раскрываются в ней человеческие переживания. Природа и человек предстают в зрелых стихах Бунина в высшем художественном единстве. Объективная действительность и лирические чувства поэта переплетаются так естественно, так органично, что образуют между собой нерасторжимое целое.

Если раньше Бунин показал прекрасный дар изобразительности в поэзии, то теперь он все более и более последовательно обогащает его лирическим самораскрытием. Все большее место в стихах Бунина начинают занимать не только объективные образы действительности (это было издавна сильной стороной бунинской поэзии), но и тонко, в мельчайших нюансах переданное отношение самого поэта к происходящему. Тот холодок объективизма, который, может быть, и сказывался отчасти в ранних стихах Бунина, уступает место лирической насыщенности, эмоциональному богатству.

Вот, к примеру, стихотворение, передающее настроение предосеннего увядания, рисующее тонкую и проникновенную картину русской природы через одну деталь. Но мастерское описание с удивительной пластичностью тут же переходит в лирическую элегию:

Черный бархатный шмель, золотое оплечье,
Заунывно гудящий певучей струной,

[1] Полное собрание сочинений, т. VI, 1915, стр. 317—318.

Ты зачем залетаешь в жилье человечье
И как будто тоскуешь со мной?

За окном свет и зной, подоконники ярки,
Безмятежны и жарки последние дни,
Полетай, погуди — и в засохшей татарке,
На подушечке красной, усни.

Не дано тебе знать человеческой думы,
Что давно опустели поля,
Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый
Золотого сухого шмеля!

Эти стихи пессимистичны, проникнуты тонкой грустью. Вне всякого сомнения, Бунин, как большой и чуткий к жизни художник-реалист, инстинктивно чувствовал надвигающуюся катастрофу — распад и близкую гибель капиталистического общества. Он не видел реальных причин этого распада, на многие острейшие вопросы современной ему социальной жизни он попросту закрывал глаза. Но он не мог не видеть мерзости и тлена той среды, в которой жил. И это находило весьма тонко и причудливо преломленное выражение в его лирике. Бунин чувствовал, что его поэзия не может до конца правдиво воссоздать реальную жизнь. «Поэзия темна, в словах невыразима», — писал он в одну из минут такого недовольства своим искусством, смутно постигая его бессилие выразить суть жизненных противоречий. Но, однако, Бунин слишком любил жизнь с ее чувственными, земными ощущениями. И иногда в его предреволюционной лирике прорывались ноты бодрости, веры в людей, веры в жизнь.

Мы уже указывали, что в стихах Бунин не всегда выражал полноту своего ощущения и понимания жизненного процесса. О многом важном и существенном он говорил в прозе, — повидимому, она представляла для него поле более широких и емких социальных обобщений, больший, сравнительно со стихами, простор для типического воссоздания современной исторической действительности. Так, например, в выдающемся по своему значению рассказе «Господин из Сан-Франциско» (1916) Бунин создал глубокий образ одного из властителей капиталистического Вавилона, американского миллионера. Каждая строчка этого рассказа дышит презрением к тунеядскому существованию этого эксплуататора, принадлежащего к верхушке буржуазного общества. С сатирической ненавистью Бунин характеризует высший слой космополитической капиталистической иерархии, от которого зависит «и фасон смокингов, и прочность

тронов, и объявление войн, и благосостояние отелей». Господин из Сан-Франциско и его тупая, чванная семья едут на пароходе, ища развлечений. Здесь, во время пути, владыку долларов настигает смерть. И тотчас полное равнодушие сменяет у окружающих его лизоблюдов недавнее раболепие. Пустой, бессмысленной жизнью жил господин из Сан-Франциско, наживавший и тративший деньги за счет эксплуатируемых масс. Бессмысленна и смерть этого человека, утомленного благами цивилизации, равнодушного, пресыщенного. И попрежнему пляшет и веселится публика фешенебельного парохода, в трюме которого спрятан гроб с телом умершего дельца, попрежнему горят огни, блестят шелка, сверкают бриллианты на обнаженных женских шеях, попрежнему царит дух греха и разврата в этом гнилом обществе, которое с таким нескрываемым презрением и отвращением рисует писатель.

И все же революцию Бунин встретил враждебно. Казалось бы, связи, которые складывались у него в совместной литературной работе с Горьким, со «знаньевцами», в передовых журналах предреволюционной поры, должны были привести Бунина к сближению с новым, свободным народом. Пусть не сразу, но, подобно многим другим русским интеллигентам, Бунин, казалось, все же должен был найти дорогу к революции. Этого, однако, не случилось.

Критические начала бунинского реализма как бы отступили в сторону перед тем строем чувств и мыслей, который овладел писателем в начале революции. Он не сумел ни понять, ни принять новую эпоху. За внешним обликом событий он не сумел увидеть освободительной, глубоко человечной сути Октябрьской революции и со злобой отвернулся от нее.

В мае 1918 года Бунин уехал из Москвы на юг — в Киев, потом перебрался в Одессу, а после поражения белогвардейских армий и изгнания их с территории Советской России, в феврале 1920 года, эмигрировал сперва на Балканы, потом во Францию. Там, вдали от родины, он и прожил до конца своих дней (умер 8 ноября 1953 года).

Горестна и печальна была жизнь Бунина в эмиграции. Классовое ослепление И. А. Бунина временами было так велико, что он не останавливался перед самой ординарной клеветой на Советскую Россию, а русский революционный народ изображал в виде толпы дикарей, разрушающих вековые ценности культуры и цивилизации.

И все же, как это ни парадоксально на первый взгляд, несмотря на свои тягчайшие идейно-политические заблуждения, Бунин не смог до конца растратить свой огромный талант художника-реалиста. За рубежом он создал немало произведений, посвященных различным сторонам дореволюционной русской жизни.

В автобиографической повести «Жизнь Арсеньева», состоящей из двух книг: «Истоки дней» (1927—1929) и «Лика» (1933—1938), Бунин дал замечательно верные картины русской жизни конца XIX века. С великолепным реалистическим мастерством он воссоздал в этих книгах внутренний мир молодого человека, вышедшего из дворянской среды, его первые впечатления от природы, от людей. С обаянием и лиризмом запечатлен им образ Лики — молодой русской женщины, так горячо и искренне полюбившей и так трагически окончившей свою короткую жизнь. Хотя в «Жизни Арсеньева» и имеются слабые страницы, содержащие религиозные мотивы, политически тенденциозные, антихудожественные рассуждения, — в этих книгах Бунин дал много подлинно ценного.

Богатством психологического анализа, правдивостью реалистического рисунка отличаются и многие другие его повести и рассказы, написанные в пору эмигрантских скитаний («Митина любовь», «Ида», «Солнечный удар», «Руся», «Таня», «Темные аллеи»). В большинстве случаев Бунин изображает в них жизнь дореволюционной буржуазно-либеральной и дворянской интеллигенции. Там, где писатель показывает чувство молодой, горячей любви, там, где он обращается к внутреннему миру юношей и девушек, напоминающих ему собственную молодость, — он достигает замечательных, истинно поэтических результатов. Гимном жизни, песней во славу молодости и счастья, гуманизмом, сочувствием к трудной женской доле проникнуты многие из рассказов Бунина. С большой силой разоблачения рисует писатель бездушие и эгоизм своих отрицательных персонажей, принадлежащих к верхам старого общества. Он правдиво, нелицеприятно раскрывает перед нами их внутреннюю опустошенность, их аморализм, их безверие. Но нередко и писатель склоняется к пессимистической трактовке самого процесса жизни. От радостных, светлых страниц, исполненных веры в жизнь, он то и дело срывается в самую черную мизантропию. В этом была своя идейная и социальная закономерность.

С большим драматизмом раскрывает свои переживаия И. А. Бунин в небольшом стихотворении «Канарейка» (1921), эпиграфом к которому взята фраза из Брэма «На родине она зеленая»:

Канарейку из-за моря
Привезли, и вот она
Золотая стала с горя,
Тесной клеткой пленена.

Птицей вольной, изумрудной
Уж не будешь — как ни пой

Про далекий остров чудный
Над трактирною толпой!

Аллегорический смысл этого стихотворения очевиден. Трагична разлука с родиной, со своим народом, — как бы говорит здесь Бунин. Вне родины — потеря всего самобытного, природного. Горе разлуки с отчизной ничем восполнить нельзя — таков глубоко пессимистический вывод, к которому закономерно приходит поэт. Бунин безгранично тоскует, что ему приходится входить в «чужой дом» со своей «ветхой котомкой». Он с горечью сетует: «У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. . .», только у одинокого эмигранта нет пристанища, нет родного очага. Его стихи становятся все пессимистичнее, все мрачнее:

Познал я, как ничтожно и не ново
Пустое человеческое слово,
Познал надежд и радостей обман,
Тщету любви и терпкую разлуку
С последними, немногими, кто мил,
Кто близостью своею облегчил
Ненужную для мира боль и муку
И эти одинокие часы
Безмолвного полуночного бденья,
Презрения к земле и отчужденья
От всей земной бессмысленной красы.

Мы знаем, что раньше Бунин не считал земную красу бессмысленной, но горячо и вдохновенно славил ее. Теперь же к поэту приходит пора самых тяжких разочарований, он склонен к философии бренности всего земного. И хотя попрежнему Бунин временами рисует выразительные, точные, глубоко поэтические картины природы («В гелиотроповом свете молний летучих»), хотя иногда он дает образцы проникновенной и сердечной любовной лирики («Встреча»), хотя он в последние годы своей поэтической деятельности опубликовал несколько превосходных зарисовок-миниатюр («Гаданье», «Старая яблоня»), чувствуется, как покидало Бунина его ценнейшее лирическое качество — любовь к жизни, ко всему прекрасному. Он все еще цепляется за это прекрасное. Он посвящает свой поэтический гимн старой яблоне:

Вся в снегу, кудрявом, благовонном,
Вся-то ты гудишь блаженным звоном
Пчел и ос, завистливых и злых. . .

Он еще славит силу, молодость, красоту, страсть (стихотворения «Рабыня», «Кобылица»), но неотвратимо и все более глубоко разъедает душу поэта ржавчина пессимизма, роковой безысходности. В программном стихотворении «Петух на церковном кресте», которым открывается книга «Избранных стихов» И. А. Бунина, вышедшая в Париже в 1929 году, поэт говорил о бренности, бессмысленности и обреченности человеческого бытия:

Поет о том, что мы живем,
Что мы умрем, что день за днем
Идут года, текут века —
Вот как река, как облака.

Поет о том, что все обман,
Что лишь на миг судьбою дан
И отчий дом, и милый друг,
И круг детей, и внуков круг.

Ан. Тарасенков

ОТ РЕДАКЦИИ

На этом обрывается статья А. К. Тарасенкова о поэтическом наследии Ивана Бунина. Со слов покойного автора известно, что он предполагал завершить статью некоторыми общими положениями, характеризующими место Бунина в истории русской поэзии. Но дописать эти последние страницы статьи А. К. Тарасенкову уже не удалось, и теперь приходится сделать это вместо него.

Стихи Ивана Бунина издаются в Советском Союзе впервые. Этим объясняется сравнительно малая известность Бунина-поэта современному советскому читателю. Об этом стоит пожалеть, ибо стихи Бунина принадлежат к числу замечательных явлений русской поэтической культуры, и без знакомства с ними представление о русской поэзии начала XX века будет неполным.

В последнее время такое неполное, упрощенное, приблизительное представление о судьбах русской поэзии начала нашего столетия, к сожалению, упрочилось. Зачастую эта эпоха изображается как время безраздельного господства всякого рода буржуазных декадентов, пытавшихся «ниспровергнуть» великие и вечно живые традиции русской классической литературы. На самом деле поток русской поэзии в эту эпоху, как и всегда, был широким и мощным,

и совершенно неправомерно сводить все, что происходило в русской поэзии в начале нашего века, к ложным «исканиям» декадентов, не оставившим по себе ни следа, ни памяти.

Русская поэзия начала XX столетия вовсе не была бесплодной декадентской пустыней. Зрелое творчество Валерия Брюсова, при всех резких противоречиях, свойственных этому большому поэту, никак не укладывается в лоно декадентства. Великий поэт предреволюционной эпохи Александр Блок велик именно потому, что в своем творчестве вышел далеко за пределы символизма и обратился к животворным традициям национальной художественной культуры, к традициям русской поэтической классики. Общественно-литературная позиция молодого Маяковского и гигантские усилия, с которыми он еще в начале своего творческого пути поворачивал поэзию лицом к действительной жизни, достаточно известны, чтобы говорить здесь на эту тему.

Поток большой русской поэзии был беспрерывен, широк и неисчерпаем, и насущно важной задачей представляется — выявить и проследить все вливавшиеся в него струи. С этой точки зрения творчество Бунина-поэта вызывает высокий интерес. Оно существенно *обогащает* наше представление о действительном состоянии русской поэзии в начале XX века.

Творчество Бунина — одно из важных звеньев, соединяющих русскую поэтическую классику с поэзией нашей эпохи. Бунин более отчетливо, более осознанно, более принципиально, нежели любой другой поэт его времени, продолжал в своем творчестве основную линию развития большой русской поэзии — линию реалистической лирики.

Любопытно и знаменательно, что верность Бунина традициям национальной художественной культуры рано обратила на себя общее внимание, еще в начале творческого пути поэта. Так, например, в 1903 году академический рецензент писал в отзыве на первый том стихотворений Бунина, отмеченный Пушкинской премией: «...произведения Бунина могут искателям «новизны» служить доказательством того, что истинное художество находит в старых как мир и в то же время вечно юных образах природы и настроениях человеческой души бесконечное множество новых подробностей, новых оттенков красоты, и может выразить их в своеобразной форме, не прибегая к искусственным приемам символизма, импрессионизма и декадентства».

Действительно, в приверженности Бунина к классическим традициям и был залог его творческого *своеобразия*. Именно верность

поэта традициям художественного реализма обеспечила за ним видное и самостоятельное место в поэзии начала XX века, более того — в конечном счете определила оригинальность его творческого облика.

Самобытность поэтического дарования Бунина — не в изощренном «новаторстве» ради самого новаторства, не в поисках непременно новой, необычной формы, не в «словотворчестве», но в стремлении найти новые оттенки красок, новые нюансы звуков, которыми обогатили русскую и мировую лирику Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Фет и другие чудотворцы русского стиха.

Каково же наше отношение к Бунину, в частности — к его поэзии?

В Бунине-поэте безусловно были заложены очень большие потенциальные силы. Но столь же бесспорно, что силы эти не проявились в полной мере. И причина этого лежала в идейной ограниченности Бунина, целиком определившей его особую и в общем не слишком счастливую писательскую судьбу.

Бунин был наделен великолепной зоркостью художника-реалиста. Он многое видел и подмечал в окружавшей его действительности, не закрывал глаза на ее вопиющие противоречия и умел так рисовать картины действительной жизни, что сама точность и правдивость изображения звучали как обвинительный приговор этой действительности. Так написана, например, «Деревня».

Но великой бедой Бунина как художника было то, что он не видел в окружавшей его жизни того нового, нарождающегося, что неминуемо должно было взорвать и разрушить до основания старый, косный, прогнивший мир. Беда Бунина была в том, что он не был наделен чувством *будущего*. А без этого окрыляющего чувства перед художником не открывается по-настоящему большого, широкого пути, сколь бы острым и аналитическим ни было его зрение.

Эта атрофия чувства будущего оказалась для Бунина поистине роковой. Она привела писателя к полному непониманию освободительной борьбы народа. Сама стихия революции, грозная и величественная стихия, в которой такие бесстрашные художники, как Блок, Маяковский, Есенин, обрели источник высочайшего вдохновения, была для Бунина стихией чуждой и враждебной. Поэтому, когда произошла величайшая в истории человечества революция, потрясшая весь мир, Бунин не нашел в ней ничего, кроме восстания «сатанинских сил», посягнувших, как ему казалось, на самое существование культуры и цивилизаций. В результате большой писатель, отвернувшийся от народа, потерял родину и разделил бесславную судьбу своего класса.

Отвергая в литературном наследии Бунина все мелкое, случайное, реакционное, продиктованное слепой политической злобой и недостойное его таланта, мы берем из этого наследия все лучшее, что Бунин создал на протяжении своей долгой писательской жизни. А этого лучшего у Бунина немало.

Если говорить в данном случае лишь о поэтическом творчестве Бунина, следует сказать, что своими наиболее зрелыми произведениями он внес ценный вклад в сокровищницу русской лирики. У Бунина есть чем насладиться любителю стихов и есть чему поучиться молодым поэтам.

В стихах Бунина читатель найдет глубину поэтической мысли и силу поэтического чувства, уменье поэтически выразить целостный взгляд на мир, на жизнь, замечательную зоркость художнического взгляда, острую наблюдательность, пристальное внимание к подробностям природы и быта, тонкое чувство языка, прозрачную ясность стихотворной речи, редкую экономность в применении всех средств и приемов поэтической выразительности, — короче говоря, все то, что составляет подлинное *мастерство поэта.*

Тяжкие идейно-политические заблуждения и ошибки Бунина не должны заслонить в наших глазах объективное историческое значение творчества большого русского писателя. Сильный талант Бунина позволил ему создать произведения, которые и доныне сохранили свое художественное очарование, которые и сейчас пленяют глубиной содержания, строгостью стиля, четкостью и пластичностью поэтической формы, музыкальностью стихотворного языка, блеском художественного мастерства.

Лучшее из прозы и стихов Ивана Бунина принадлежит нам и будущим поколениям в числе непреходящих художественных ценностей великой русской реалистической литературы.

А. К. ТАРАСЕНКОВ

Во время подготовки этой книги «Библиотека поэта» понесла тяжелую утрату. 14 февраля 1956 года скончался член ее редакционной коллегии Анатолий Кузьмич Тарасенков. Настоящая книга является последней литературной работой, выполненной А. К. Тарасенковым.

Анатолий Кузьмич был человеком, горячо преданным интересам советской культуры. Он любил свою профессию литературного критика, отдавал ей все силы. В последние годы жизни, будучи тяжело больным, он решительно сопротивлялся смертельному недугу и работал не покладая рук. За день до смерти, прикованный к постели, он писал одному из друзей: «...я на мостике своего корабля «Критика» буду стоять до конца».

Литературное наследие А. К. Тарасенкова богато и разнообразно. Его перу принадлежит свыше 500 литературно-критических работ (из них — около половины по вопросам поэзии) и более 300 статей публицистических, относящихся главным образом к годам войны. Многие советские писатели, вступая на литературный путь, были встречены приветливым словом А. К. Тарасенкова.

А. К. Тарасенков был знатоком истории русской поэзии. В течение 25 лет занимался он собиранием и библиографированием произведений русской поэзии XX века. Созданная им коллекция книг представляет собой выдающуюся культурную ценность, а его «Библиография русской поэзии XX века» явится по выходе в свет ценным научным трудом.

У всех, кто знал Анатолия Кузьмича Тарасенкова, у всех, кто знаком с его литературной деятельностью, навсегда сохранится в памяти образ этого горячего советского патриота, убежденного коммуниста, талантливого писателя.

Редакционная коллегия «Библиотеки поэта»

СТИХОТВОРЕНИЯ
1886—1902 годов

* * *

Шире, грудь, распахнись для принятия
Чувств весенних — минутных гостей!
Ты раскрой мне, природа, объятия,
Чтоб я слился с красою твоей!

Ты, высокое небо, далекое,
Беспредельный простор голубой!
Ты, зеленое поле широкое!
Только к вам я стремлюся душой!

28 III 1886

ПОЭТ

Поэт печальный и суровый,
Бедняк, задавленный нуждой,
Напрасно нищеты оковы
Порвать стремишься ты душой!

Напрасно хочешь ты презреньем
Свои несчастья победить
И, склонный к светлым увлеченьям,
Ты хочешь верить и любить!

Нужда не раз еще отравит
Минуты светлых дум и грез
И позабыть мечты заставит,
И доведет до горьких слез.

Когда ж, измученный скорбями,
Забыв бесплодный, тяжкий труд,
Умрешь ты с голоду, — цветами
Могильный крест твой перевьют!

1886

ДЕРЕВЕНСКИЙ НИЩИЙ

(Первое напечатанное стихотворение)

В стороне от дороги, под дубом,
Под лучами палящими спит
В зипунишке, заштопанном грубо,
Старый нищий, седой инвалид;

Изнемог он от дальней дороги
И прилег под межой отдохнуть...
Солнце жжет истомленные ноги,
Обнаженную шею и грудь...

Видно, слишком нужда одолела,
Видно, негде приюта сыскать,
И судьба беспощадно велела
Со слезами по окнам стонать...

Не увидишь такого в столице:
Тут уж впрямь истомленный нуждой!
За железной решеткой в темнице
Редко виден страдалец такой.

В долгий век свой немало он силы
За тяжелой работой убил,
Но, должно быть, у края могилы
Уж не стало хватать ему сил.

Он идет из селенья в селенье,
А мольбу чуть лепечет язык,
Смерть близка уж, но много мученья
Перетерпит несчастный старик.

Он заснул... А потом со стенаньем
Христа ради проси и проси...
Грустно видеть, как много страданья
И тоски и нужды на Руси!

1886

ЗАТИШЬЕ

За днями серыми и темными ночами
Настала светлая прощальная пора.
Спокойно дремлет день над тихими полями,
И веют прелестью раздумья вечера.

Глубоко степь молчит — ни звука, ни движенья...
В прозрачном воздухе далеко тонет взор...
На солнце желтый лес сверкает в отдаленьи,
Как ярким золотом пылающий костер.

В саду листки берез, без шороха срываясь,
Средь тонких паутин, как бабочки, блестят
И, слабо по ветвям цепляясь и качаясь,
На блеклую траву беспомощно летят.

Плывут узоры туч прозрачною фатою
В пустынных небесах, высоко над землей.
И все кругом светло, все веет тишиною,
В природе и в душе — молчанье и покой.

1887

* * *

Высоко полный месяц стоит
В небесах над туманной землей,
Бледным светом луга серебрит,
Напоенные белою мглой.

В белой мгле, на широких лугах,
На пустынных речных берегах
Только черный засохший камыш
Да верхушки ракит различишь.

И река в берегах чуть видна...
Где-то мельница глухо шумит...
Спит село... Ночь тиха и бледна,
Высоко полный месяц стоит.

1887

* * *

Помню — долгий зимний вечер,
Полумрак и тишина;
Тускло льется свет лампады,
Буря плачет у окна.

«Дорогой мой, — шепчет мама, —
Если хочешь задремать,
Чтобы бодрым и веселым
Завтра утром быть опять, —

Позабудь, что воет вьюга,
Позабудь, что ты со мной,
Вспомни тихий шепот леса
И полдневный летний зной;

Вспомни, как шумят березы,
А за лесом, у межи,
Ходят медленно и плавно
Золотые волны ржи!»

И знакомому совету
Я доверчиво внимал
И, обвеянный мечтами,
Забываться начинал.

Вместе с тихим сном сливалось
Убаюкиванье грез —
Шепот зреющих колосьев
И невнятный шум берез...

1887

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ

В блеске огней, за зеркальными стеклами,
Пышно цветут дорогие цветы,
Нежны и сладки их тонкие запахи,
Листья и стебли полны красоты.

Их возрастили в теплицах заботливо,
Их привезли из-за синих морей;
Их не пугают метели холодные,
Бурные грозы и свежесть ночей...

Есть на полях моей родины скромные
Сестры и братья заморских цветов:
Их возрастила весна благовонная
В зелени майской лесов и лугов.

Видят они не теплицы зеркальные,
А небосклона простор голубой,
Видят они не огни, а таинственный
Вечных созвездий узор золотой.

Веет от них красотою стыдливою,
Сердцу и взору родные они
И говорят про давно позабытые
Светлые дни.

1887

* * *

В темнеющих полях, как в безграничном море,
Померк и потонул зари печальный свет —
И мягко мрак ночной плывет в степном просторе
Немой заре вослед.

Лишь суслики во ржи скликаются свистками,
Иль по меже тушкан, таинственно, как дух,
Несется быстрыми, неслышными прыжками
И пропадает вдруг...

1887

* * *

Пустыня, грусть в степных просторах.
Синеют тучи. Скоро снег.
Леса на дальних косогорах —
Как желто-красный лисий мех.
Под небом низким, синеватым
Вся эта сумрачная ширь
И пестрота лесов по скатам
Угрюмы, дики — как Сибирь.
Я перейду луга и долы,
Где серо-сизый, неживой
Осыпался осинник голый
Лимонной мелкою листвой.
Я поднимусь к лесной сторожке —
И с грустью глянут на меня
Ее подслепые окошки
Под вечер сумрачного дня.
Но я увижу на пороге
Дочь молодую лесника:
Малы ее босые ноги,
Мала корявая рука.
От выреза льняной сорочки
Ее плечо еще круглей,
А под сорочкою — две точки
Стоячих девичьих грудей.

1888

* * *

Не пугай меня грозою:
    Весел грохот вешних бурь!
После бури над землею
    Светит радостней лазурь,
После бури, молодея
    В блеске новой красоты,
Ароматней и пышнее
    Распускаются цветы!

Но страшит меня ненастье:
    Горько думать, что пройдет

Жизнь без горя и без счастья,
В суете дневных забот,
Что увянут жизни силы
Без борьбы и без труда,
Что сырой туман унылый
Солнце скроет навсегда!

1888

* * *

Туча растаяла. Влажным теплом
Веет весенняя ночь над селом;
Ветер приносит с полей аромат,
Слабо алеет за степью закат.

Тонкий туман над стемневшей рекой
Лег серебристою нежной фатой,
И за рекою, в неясной тени,
Робко блестят золотые огни.

В тихом саду замолчал соловей;
Падают капли во мраке с ветвей;
Пахнет черемухой...

1888

* * *

Какая теплая и темная заря!
Давным-давно закат, чуть тлея, чуть горя,
Померк над сонными весенними полями,
И мягкими на все ложится ночь тенями,
В вечерние мечты, в раздумье погрузив
Все, от затихших рощ до придорожных ив,
И только вдалеке вечерней тьмой не скрыты
На горизонте грустные ракиты.

Над садом облака нахмурившись стоят;
Весенней сыростью наполнен тихий сад;
Над лугом, над прудом, куда ведут аллеи,
Ночные облака немного посветлее,

Но в чаще, где, сокрыв весенние цветы,
Склонились кущами зеленые кусты,
И темь и теплота...

1888

* * *

Бледнеет ночь... Туманов пелена
В лощинах и лугах становится белее,
Звучнее лес, безжизненней луна
И серебро росы на стеклах холоднее.

Еще усадьба спит... В саду еще темно,
Недвижим тополь матово-зеленый,
И воздух слышен мне в открытое окно,
Весенним ароматом напоенный...

Уж близок день, прошел короткий сон —
И, в доме тишины не нарушая,
Неслышно выхожу из двери на балкон
И тихо светлого восхода ожидаю...

1888

* * *

Осыпаются астры в садах,
Стройный клен под окошком желтеет,
И холодный туман на полях
Целый день неподвижно белеет.
Ближний лес затихает, и в нем
Показалися всюду просветы,
И красив он в уборе своем,
Золотистой листвою одетый.
Но под этой сквозною листвой,
В этих чащах не слышно ни звука...
Осень веет тоской,
Осень веет разлукой!

Поброди же в последние дни
По аллее, давно молчаливой,
И с любовью и с грустью взгляни
На знакомые нивы.
В тишине деревенских ночей
И в молчаньи осенней полночи
Вспомни песни, что пел соловей,
Вспомни летние ночи
И подумай, что годы идут,
Что с весной, как минует ненастье,
Нам они не вернут
Обманувшего счастья...

1888

* * *

В полночь выхожу один из дома,
Мерзло по земле шаги стучат,
Звездами осыпан черный сад
И на крышах — белая солома:
Трауры полночные лежат.

Ноябрь 1888

* * *

Пустынные поля, пейзажи деревень,
Синеющих вдали задумчиво-безмолвно,
Прохладный небосклон и этот серый день —
Все для меня теперь какой-то грусти полно.

Но эта грусть меня и греет и живит,
И силу творчества как будто пробуждает,
Как будто прежнюю любовь напоминает
И про какую-то разлуку говорит...

Внимательно слежу, как золотом пестреют
В лощинах и в полях дубовые леса,

Как с каждым днем бледнеют небеса
И жнивья желтые и сохнут и пустеют.

И для меня вдвойне понятней и родней
Печаль и красота последних дней свободы,
Поэзия немой, задумчивой природы,
Поэзия пустеющих полей.

* * *

Зимней свежестью пахнуло
На поля и на леса;
На закате холоднее
Просветлели небеса.

И когда еще все спало,
На рассвете все село,
И поля, и сад наш голый
Первым снегом занесло...

И сегодня над широкой
Белой скатертью полей
Я простился с запоздалой
Вереницею гусей...

* * *

Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевший и больной.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.

Глушь стала ниже и светлее,
В кустах свалялася трава,
И, под дождем осенним тлея,
Чернеет темная листва.

А в поле ветер. День холодный
Угрюм и свеж — и целый день
Скитаюсь я в степи свободной,
Вдали от сел и деревень.

И, убаюкан шагом конным,
С отрадной грустью внемлю я,

Как ветер звоном однотонным
Гудит-поет в стволы ружья.

1889

* * *

Как все вокруг сурово, снежно,
Как этот вечер сиз и хмур!
В морозной мгле краснеют окна нежно
Из деревенских нищенских конур.

Ночь северная медленно и грозно
Возносит косное величие свое.
Как сладко мне во мгле морозной
Мое звериное жилье!

1889

ЦЫГАНКА

Впереди большак, подвода,
Старый пес у колеса, —
Впереди опять свобода,
Степь, простор и небеса.

Но притворщица отстала,
Ловко семечки грызет,
Говорит, что в сердце жало,
Яд горячий унесет.

Говорит... А что ж играет
Яркий угольный зрачок?
Солнцем, золотом сияет,
Но бесстрастен и далек.

Сколько юбок! Ногу стройно
Облегает башмачок,
Стан струится беспокойно
И жемчужна смуглость щек...

Впереди большак, подвода,
Старый пес у колеса,

Счастье, молодость, свобода,
Солнце, степи, небеса.

1889

* * *

Как печально, как скоро померкла
На закате заря! Погляди:
Уж за ближней межою по жнивью
Ничего не видать впереди.

Далеко по широкой равнине
Сумрак ночи осенней разлит;
Лишь на западе сумрачно-алом
Силуэты чуть видны ракит.

И ни звука! И сердце томится,
Непонятною грустью полно...
Оттого ль, что ночлег мой далеко,
Оттого ли, что в поле темно?

Оттого ли, что близкая осень
Веет чем-то знакомым, родным —
Молчаливою грустью деревни
И безлюдьем степным?

1886—1889

* * *

Один встречаю я дни радостной недели —
В глуши, на севере... А там у вас весна:
Растаял в поле снег, леса повеселели,
Даль заливных лугов лазурна и ясна;

Стыдливо белая береза зеленеет,
Проходят облака все выше и нежней,
А ветер сушит сад и мягко в окна веет
Теплом апрельских дней...

1889

* * *

Далеко за морем
Догорает вечер...
Потемнело небо,
Потемнели волны...
Только на закате
Светит тихим светом
Полоса зари...

Но душе все это
Чуждо, незнакомо;
Каждый день с закатом
Ухожу на берег
И сажусь на камне,
Вижу белый парус,
Вижу, как темнеет
Полоса зари...

И знакомой грустью
Сердце сладко ноет:
Кажется, что снова
По степи родимой
Еду я проселком,
И закат далекий
Долго-долго светит
Над стемневшим морем
Зреющих хлебов...

1889

* * *

Месяц задумчивый, полночь глубокая...
Хутор в степи одинок...
Дремлет в молчаньи равнина широкая,
Тёпел ночной ветерок.
Желтые ржи, далеко озаренные,
Морем безбрежным стоят...
Ветер повеет — они, полусонные,
Колосом спелым шуршат.
Ветер повеет — и в тучку скрывается
Полного месяца круг;

Медленно в мягкую тень погружается
Ближнее поле и луг.
Зыблется пепельный сумрак над нивами,
А над далекой межой
Свет из-за тучек бежит переливами —
Яркою, желтой волной.
И сновиденьем, волшебною сказкою
Кажется ночь, и смущен
Ночи июльской тревожною ласкою
Сладкий предутренний сон...

1886—1890

* * *

Лес, — и ясно лазурное небо глядится
По-весеннему в светлые воды реки,
На лугах заливных тонкий пар золотится,
И рыбалки блестят, и кричат кулики.

Лес зеленый кругом — молодой и росистый,
А в лесу тишина, и среди тишины —
Только голос кукушки. Вещун голосистый!
Отзовись, доживу ли до новой весны?

И приду ли опять в этот лес, напоенный
Ароматом весенним и блеском лучей,
Буду ль снова считать в чаще темной, зеленой,
Сколько светлых еще мне осталося дней?

Буду ль снова внимать тебе с грустью глубокой,
С тайной грустью в душе, что проходят года,
Что весь мир я люблю, но люблю одиноко,
Одинокий везде и всегда?

1891

* * *

Нет, не о том я сожалею,
Прощаясь с юностью моею! —
Не жаль мне первых ясных дней
И сладких грез и увлечений,

Но жаль мне гордости своей
И первых самообольщений!

Да, я гордился, я мечтал.
Но не сулила гордость эта
Ни благ житейских, ни похвал,
Ни лавров славного поэта:
Звучали струны, но не те!
То было счастье просветленья,
Высокий трепет приобщенья
К духовной жизни, к красоте!

1891

* * *

Ту звезду, что качалася в темной воде
Под кривою ракитой в заглохшем саду, —
Огонек, до рассвета мерцавший в пруде, —
Я теперь в небесах никогда не найду.

В то селенье, где шли молодые года,
В старый дом, где я первые песни слагал,
Где я счастья и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь никогда, никогда.

1891

РОДИНЕ

Они глумятся над тобою,
Они, о родина, корят
Тебя твоею простотою,
Убогим видом черных хат...

Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей —
Усталой, робкой и печальной
Средь городских его друзей,

Глядит с улыбкой состраданья
На ту, кто сотни верст брела
И для него, ко дню свиданья,
Последний грошик берегла.

1891

СОЛОВЬИ

То разрастаясь, то слабея,
Гром за усадьбой грохотал,
Шумела тополей аллея,
На стекла сумрак набегал.
Все ниже тучи наплывали;
Все ощутительней, свежей
Порывы ветра обвевали
Дождем и запахом полей.
В полях хлеба к межам клонились...
А из лощин и из садов —
Отвсюду с ветром доносились
Напевы ранних соловьев.

Но вот по тополям и кленам
Холодный вихорь пролетел...
Сухой бурьян зашелестел,
Окно захлопнулось со звоном,
Блеснула молния огнем...
И вдру́г над самой крышей дома
Раздался треск короткий грома
И тяжкий грохот... Все кругом
Затихло сразу и глубоко,
Сад потемневший присмирел, —
И благодатно и широко
Весенний ливень зашумел.
На межи низко наклонились
Хлеба в полях... А из садов
Все так же звучно доносились
Напевы ранних соловьев.

Когда же, медленно слабея,
Дождь отшумел и замер гром,
Ночь переполнила аллеи
Благоуханьем и теплом.

Пар, неподвижный и пахучий,
Стоял в хлебах. Спала земля.
Заря чуть теплилась под тучей
Полоской алого огня.
А из лощин, где распускались
Во тьме цветы, и из садов
Лились и в чащах отдавались
Все ярче песни соловьев.

1892

* * *

Бушует полая вода,
Шумит и глухо и протяжно.
Грачей пролетные стада
Кричат и весело и важно.

Дымятся черные бугры,
И утром в воздухе нагретом
Густые белые пары
Напоены теплом и светом.

А в полдень лужи под окном
Так разливаются и блещут,
Что ярким солнечным пятном
По залу «зайчики» трепещут.

Меж круглых рыхлых облаков
Невинно небо голубеет,
И солнце ласковое греет
В затишье гумен и дворов.

Весна, весна! И все ей радо.
Как в забытьи каком стоишь
И слышишь свежий запах сада
И теплый запах талых крыш.

Кругом вода журчит, сверкает,
Крик петухов звучит порой,
А ветер, мягкий и сырой,
Глаза тихонько закрывает.

1892

* * *

Еще от дома на дворе
Синеют утренние тени,
И под навесами строений
Трава в холодном серебре;
Но уж сияет яркий зной,
Давно топор стучит в сарае,
И голубей пугливых стаи
Сверкают снежной белизной.

С зари кукушка за рекою
Кукует звучно вдалеке,
И в молодом березняке
Грибами пахнет и листвою.
На солнце светлая река
Трепещет радостно, смеется,
И гулко в роще отдается
Над нею ладный стук валька.

1892

* * *

Свежеют с каждым днем и молодеют сосны,
Чернеет лес, синеет мягче даль, —
Сдается наконец сырым ветрам февраль,
И потемнел в лощинах снег наносный.

На гумнах и в саду по-зимнему покой
Царит в затишье дедовских строений,
Но что-то тянет в зал, холодный и пустой,
Где пахнет сыростью весенней.

Сквозь стекла потные заклеенных дверей
Гляжу я на балкон, где снег еще навален,
И голый, мокрый сад теперь мне не печален, —
На гнезда в сучьях лип опять я жду грачей.

Жду, как в тюрьме, давно желанной воли,
Туманов мартовских, чернеющих бугров,
И света, и тепла от белых облаков,
И первых жаворонков в поле!

1892

* * *

Догорел апрельский светлый вечер,
По лугам холодный сумрак лег.
Спят грачи; далекий шум потока
В темноте таинственно заглох.

Но свежее пахнет зеленями
Молодой озябший чернозем,
И струится чище над полями
Звездный свет в молчании ночном.

По лощинам, звезды отражая,
Ямы светят тихою водой;
Журавли, друг друга окликая,
Осторожной тянутся гурьбой.

А Весна в зазеленевшей роще
Ждет зари, дыханье затая, —
Чутко внемлет шороху деревьев,
Зорко смотрит в темные поля.

1892

НА ПРУДЕ

Ясным утром на тихом пруде
Резво ласточки реют кругом,
Опускаются к самой воде,
Чуть касаются влаги крылом.

На лету они звонко поют,
А вокруг зеленеют луга,
И стоит, словно зеркало, пруд,
Отражая свои берега.

И, как в зеркале, меж тростников,
    С берегов опрокинулся лес,
И уходит узор облаков
    В глубину отраженных небес.

Облака там нежней и белей,
    Глубина — бесконечна, светла...
И доносится мерно с полей
    Над водой тихий звон из села.

1887—1893

МАТЬ

И дни и ночи до утра
В степи бураны бушевали
И вешки снегом заметали,
И заносили хутора.
Они врывались в мертвый дом —
И стекла в рамах дребезжали,
И снег сухой в старинной зале
Кружился в сумраке ночном.

Но был огонь — не угасая,
Светил в пристройке по ночам,
И мать всю ночь ходила там,
Глаз до рассвета не смыкая.
Она мерцавшую свечу
Старинной книгой заслонила
И, положив дитя к плечу,
Все напевала и ходила...

И ночь тянулась без конца...
Порой, дремотой обвевая,
Шумела тише вьюга злая,
Шуршала снегом у крыльца.
Когда ж буран в порыве диком
Внезапным шквалом налетал, —
Казалось ей, что дом дрожал,
Что кто-то слабым, дальним криком
В степи на помощь призывал.

И до утра не раз слезами
Ее усталый взор блестел,
И мальчик вздрагивал, глядел
Большими темными глазами...

1893

* * *

Ночь идет — и темнеет
Бледно-синий восток...
От одежд ее веет
По полям ветерок.

День был долог и зноен...
Ночь идет и поет
Колыбельную песню
И к покою зовет.

Грустен взор ее темный,
Одинок ее путь...
Спи-усни, мое сердце!
Отдохни... Позабудь.

1893

В ПОЕЗДЕ

Все шире вольные поля
Проходят мимо нас кругами;
И хутора и тополя
Плывут, скрываясь за полями.

Вот под горою скит святой
В бору белеет за лугами...
Вот мост железный над рекой
Промчался с грохотом под нами...

А вот и лес! — И гул идет
Под стук колес в лесу зеленом;
Берез веселых хоровод,
Шумя, встречает нас поклоном.

От паровоза белый дым,
Как хлопья ваты, расползаясь,
Плывет, цепляется по ним,
К земле беспомощно склоняясь...

Но уж опять кусты пошли,
Опять деревьев строй редеет,
И бесконечная вдали
Степь развернулась и синеет;

Опять привольные поля
Проходят мимо нас кругами,
И хутора и тополя
Плывут, скрываясь за полями.

1893

* * *

Крупный дождь в лесу зеленом
Прошумел по стройным кленам,
По лесным цветам...
Слышишь? — Звонко песня льется,
Беззаботный раздается
Голос по лесам.

Крупный дождь в лесу зеленом
Прошумел по стройным кленам,
Глубь небес ясна...
В каждом сердце возникает,
И томит, и увлекает
Образ твой, Весна!

О надежды золотые!
Рощи темные, густые
Обманули вас...
Голос нежный и призывный!
Прозвучал ты песней дивной —
И вдали угас!

1893

ТРОИЦА

Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.

А на селе с утра идет обедня в храме:
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.

И звонко хор поет, веселый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат...
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый и спокойный!

Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву — и смиренье.

1893

* * *

За рекой луга зазеленели,
Веет легкой свежестью воды;
Веселей по рощам зазвенели
Песни птиц на разные лады.

Ветерок с полей тепло приносит,
Горький дух лозины молодой...
О весна! Как сердце счастья просит!
Как сладка печаль моя весной!

Кротко солнце листья пригревает
И дорожки мягкие в саду...

Не пойму, что душу раскрывает
И куда я медленно бреду!

Не пойму, кого с тоской люблю я,
Кто мне дорог... И не все ль равно?
Счастья жду я, мучась и тоскуя,
Но не верю в счастье уж давно!

Горько мне, что я бесплодно трачу
Чистоту и нежность лучших дней,
Что один я радуюсь и плачу
И не знаю, не люблю людей.

1893

* * *

В стороне далекой от родного края
Снится мне приволье тихих деревень,
В поле при дороге белая береза,
Озими да пашни — и апрельский день.
Ласково синеет утреннее небо,
Легкой белой зыбью облака плывут,
Важно грач гуляет за сохой на пашне,
Пар блестит над пашней... А кругом поют
Жаворонки в ясной вышине воздушной
И на землю с неба звонко трели льют.

В стороне далекой от родного края
Девушкой-невестой снится мне Весна:
Очи голубые, личико худое,
Стройный стан высокий, русая коса.
Весело ей в поле теплым, ясным утром!
Мил ей край родимый — степь и тишина,
Мил ей бедный север, мирный труд крестьянский,
И с приветом смотрит на поля она:
На устах улыбка, а в очах раздумье —
Юности и счастья первая весна!

1893

* * *

Могилы, ветряки, дороги и курганы —
Все смерклось, отошло и скрылося из глаз.
За дальней их чертой погас закат румяный,
Но точно ждет чего вечерний тихий час.

И вот идет она, Степная Ночь, с востока...
За нею синий мрак над нивами встает...
На меркнущий закат, грустна и одинока,
Она задумчиво среди хлебов идет.

И медлит на межах, и слушает молчанье...
Глядит вослед зари, где в призрачной дали
Еще мерещатся колосьев очертанья
И слабо брезжит свет над сумраком земли.

И полон взор ее, загадочно-унылый,
Великой кротости и думы вековой
О том, что ведают лишь темные могилы,
Степь молчаливая да звезд узор живой.

1894

* * *

Неуловимый свет разлился над землею,
Над кровлями безмолвного села.
Отчетливей кричат перед зарею
Далеко на степи перепела.

Нет ни души кругом — ни звука, ни тревоги...
Спят безмятежным сном зеленые овсы...
Нахохлясь, кобчик спит на кочке у дороги,
Покрытый пылью матовой росы...

Но уж светлеет даль... Зелено-серебристый,
Неуловимый свет восходит над землей,
И белый пар лугов, холодный и душистый,
Как фимиам, плывет перед зарей.

1894

* * *

Если б только можно было
Одного себя любить,
Если б прошлое забыть —
Все, что ты уже забыла, —

Не смущал бы, не страшил
Вечный сумрак вечной ночи:
Утомившиеся очи
Я бы с радостью закрыл!

1894

* * *

Нагая степь пустыней веет...
Уж пал зазимок на поля,
И в черных пашнях снег белеет,
Как будто в трауре земля.
Глубоким сном среди лощины
Деревня спит... Ноябрь идет,
Пруд застывает, и с плотины
Листва поблекшая лозины
Уныло сыплется на лед.

Вот день... Но скупо над землею
Сияет солнце; поглядит
Из-за бугра оно зарею
Сквозь сучья черные ракит,
Пригреет кроткими лучами —
И вновь потонет в облаках...
А ветер жидкими тенями
В саду играет под ветвями,
Сухой травой шуршит в кустах...

1894

КОВЫЛЬ

> Что ми шумить, что ми звенить
> давеча рано пред зорями?
>
> *Сл. о Пл. Игор.*

I

Что шумит-звенит перед зарею?
Что колышет ветер в темном поле?

Холодеет ночь перед зарею,
Смутно травы шепчутся сухие, —
Сладкий сон их нарушает ветер.
Опускаясь низко над полями,
По курганам, по могилам сонным,
Нависает в темных балках сумрак.
Бледный день над сумраком забрезжил,
И рассвет ненастный задымился...

Что шумит-звенит перед зарею?
Что колышет ветер в темном поле?

Холодеет ночь перед зарею,
Серой мглой подернулися балки...
Или это ратный стан белеет?
Или снова веет вольный ветер
Над глубоко спящими полками?
Не ковыль ли, старый и сонливый,
Он качает, клонит и качает,
Вежи половецкие колышет
И бежит-звенит старинной былью?

II

Ненастный день. Дорога прихотливо
Уходит вдаль. Кругом все степь да степь.
Шумит трава дремотно и лениво,
Немых могил сторожевая цепь
Среди хлебов загадочно синеет,
Кричат орлы, пустынный ветер веет
В задумчивых, тоскующих полях,
Да тень от туч кочующих темнеет.

А путь бежит... Не тот ли это шлях,
Где Игоря обозы проходили
На синий Дон? Не в этих ли местах,
В глухую ночь, в яругах волки выли,
А днем орлы на медленных крылах
Его в степи безбрежной провожали
И клектом псов на кости созывали,
Грозя ему великою бедой?
— Гей, отзовись, степной орел седой!
Ответь мне, ветер буйный и тоскливый!

...Безмолвна степь. Один ковыль сонливый
Шуршит, склоняясь ровной чередой...

1894

* * *

Как дымкой даль полей закрыв на полчаса,
Прошел внезапный дождь косыми полосами —
И снова глубоко синеют небеса
        Над освеженными лесами.

Тепло и влажный блеск. Запахли медом ржи,
На солнце бархатом пшеницы отливают,
И в зелени ветвей, в березках у межи,
        Беспечно иволги болтают.

И весел звучный лес, и ветер меж берез
Уж веет ласково, а белые березы
Роняют тихий дождь своих алмазных слез
        И улыбаются сквозь слезы.

1889—1895

* * *

Когда на темный город сходит
В глухую ночь глубокий сон,
Когда метель, кружась, заводит
На колокольнях перезвон, —

Как жутко сердце замирает!
Как заунывно в этот час,
Сквозь вопли бури, долетает
Колоколов невнятный глас!

Мир опустел... Земля остыла...
А вьюга трупы замела
И ветром звезды загасила,
И бьет во тьме в колокола.

И на пустынном, на великом
Погосте жизни мировой
Кружится Смерть в веселье диком
И развевает саван свой!

1895

* * *

Что в том, что где-то, на далеком
Морском прибрежье, валуны
Блестят на солнце мокрым боком
Из набегающей волны?

Не я ли сам, по чьей-то воле,
Вообразил тот край морской,
Осенний ветер, запах соли
И белых чаек шумный рой?

О, сколько их — невыразимых,
Ненужных миру чувств и снов,
Душою в сладкой муке зримых, —
И что́ они? И чей в них зов?

1895

* * *

Поздний час. Корабль и тих и темен,
Слабо плещут волны за кормой.
Звездный свет да океан зеркальный —
Царство этой ночи неземной.

В царстве безграничного молчанья,
В тишине глубокой сторожат
Час полночный звезды над морями
И в морях таинственно дрожат.

Южный Крест, загадочный и кроткий,
В душу льет свой нежный свет ночной —
И душа исполнена предвечной
Красоты и правды неземной.

1895

* * *

Долог был во мраке ночи
Наш неверный трудный путь!
Напрягались тщетно очи
Разглядеть хоть что-нибудь...
Только гнулась и скрипела
Тяжко мачта, да шумело
Море черное, и челн
Уносило и качало,
И с разбегу осыпало
Ледяною пылью волн...

Но редеет мрак холодный;
Отделились небеса
От седой пучины водной,
И сереют паруса;
Над свалившеюся тучей,
Как над черной горной кручей,
Звезды блещут серебром;
Над кормой огонь сигнальный
Искрой бледной и печальной
Догорает... А кругом —
Из морской дали туманной —
Бледным сумраком одет,
Уж сквозит рассвет багряный,
Дышит холодом рассвет!

И все ярче меж волнами,
В брызгах огненно-живых,

В переливах голубых,
Золотое блещет пламя,
И все выше над волной
Глубью радостной, иной
Бирюза сквозит и тает,
И, качая быстрый челн,
Светлой влагой, пылью волн
Море весело кидает!

1895

КОСТЕР

Ворох листьев сухих все сильней, веселей разгорается,
И трещит и пылает костер.
Пышет пламя в лицо; теплый дым на ветру развевается.
Затянул весь лесной косогор.

Лес гудит на горе, низко гнутся березы ветвистые,
Меж стволами качается тень...
Блеском, шумом листвы наполняет леса золотистые
Этот солнечный ветреный день.

А в долине — затишье, светло от орешника яркого,
И по светлой долине лесной
Тянет гарью сухой от костра распаленного, жаркого,
Развевается дым голубой.

Камни, заросли, рвы. Лучезарным теплом очарованный,
В полусне я лежу у куста...
Странной желтой листвой озарен этот дол заколдованный,
Эти лисьи, глухие места!

Ветер стоны несет... Не собаки ль в дали заливаются?
Не рога ли тоскуют, вопят?
А вершины шумят, а вершины скрипят и качаются,
Однотонно шумят и скрипят...

17 IX 1895
Лес Жемчужникова

* * *

Ночь наступила, день угас,
Сон и покой — и всей душою
Я покоряюсь в этот час
Ночному кроткому покою.
Как облегченно дышит грудь!
Как нежно сад благоухает!
Как мирно светит и сияет
В далеком небе Млечный Путь!

За все, что пережито днем,
За все, что с болью я скрываю
Глубоко нá сердце своем, —
Я никого не обвиняю.
За счастие минут таких,
За светлые воспоминанья
Благословляю каждый миг
Былого счастья и страданья!

1895

РОДИНА

Под небом мертвенно-свинцовым
Угрюмо меркнет зимний день,
И нет конца лесам сосновым,
И далеко до деревень.

Один туман молочно-синий,
Как чья-то кроткая печаль,
Над этой снежною пустыней
Смягчает сумрачную даль.

1896

* * *

В окошко из темной каюты
Я высунул голову. Ночь.
Кипящее черное море
Потопом уносится прочь.

Над морем — тупая громада
Стальной пароходной стены.
Торчу из нее и пьянею
От зыбко бегущей волны.

И все забирает налево
Покатая к носу стена,
Хоть должен я верить, что прямо
Свой путь пролагает она.

Все вкось чья-то сила уводит
Наш темный полуночный гроб,
Все будто на нас, а все мимо
Несется кипящий потоп.

Одно только звездное небо,
Один небосвод недвижим,
Спокойный и благостный, чуждый
Всему, что так мрачно под ним.

1896

КИПАРИСЫ

Пустынная Яйла́ дымится облаками,
В туманный небосклон ушла морская даль,
Шумит внизу прибой, залив кипит волнами,
А здесь — глубокий сон и вечная печаль.

Пусть в городе живых, у синего залива,
Гремит и блещет жизнь... Задумчивой толпой
Здесь кипарисы ждут — и строго, молчаливо
Восходит Смерть сюда с добычей роковой.

Жизнь не смущает их, минутная, дневная...
Лишь только колокол вечерний с берегов
Перекликается, звеня и занывая,
С могильной стражею белеющих крестов.

1896

НА ДНЕПРЕ

За мирным Днепром, за горами
Заря догорала светло,
И тепел был воздух вечерний,
И ясно речное стекло.

Вечернее алое небо
Гляделось в зеркальный затон,
И тихо под лодкой качался
В бездонной реке небосклон...

Далекое, мирное счастье!
Не знаю, кого я любил,
Чей образ, и нежный и милый,
Так долго я в сердце хранил.

Но сердце грустит и доныне...
И помню тебя я как сон —
И близкой, и странно далекой,
Как в светлой реке небосклон...

1896

* * *

Счастлив я, когда ты голубые
Очи поднимаешь на меня:
Светят в них надежды молодые —
Небеса безоблачного дня.

Горько мне, когда ты, опуская
Темные ресницы, замолчишь:
Любишь ты, сама того не зная,
И любовь застенчиво таишь.

Но всегда, везде и неизменно
Близ тебя светла душа моя...
Милый друг! О, будь благословенна
Красота и молодость твоя!

1896

ТРИ НОЧИ

Старый сад всю ночь гудел угрюмо,
Дождь шумел, и, словно капли слез,
Падал он в холодный снег на землю
С голых сучьев стонущих берез.

По лесным трущобам и оврагам,
По полям, пустынным и глухим,
Первые весенние туманы
Расползались медленно, как дым.

И леса седой оделись мглою,
На озерах поднялися льды,
И долины грозно потемнели
От свинцовой мартовской воды...

А другая ночь — все победила:
Ветер снес сырой туман с полей,
Загорелись звезды, и в долинах
Зашумели воды веселей.

До зари кричали хлопотливо
В ближней роще черные грачи,
Старый сад и тихую усадьбу
Оглашали стонами сычи.

И темней ночное было небо —
Издалека в темноте ночной
Веяло весенним ароматом,
Веяло грядущею весной...

И недолги были ожиданья:
За день вся природа ожила!
Вечер был задумчив и прекрасен,
И заря, как летняя, тепла.

А когда померк закат далекий,
Вспомнилась мне молодость моя,
И окно открыл я, и забылся,
В сердце грусть и радость затая.

Понял я, что юной жизни тайна
В мир пришла под кровом темноты,
Что весна вернулась — и незримо
Вырастают первые цветы.

1889—1897

В СТЕПИ

Н. Д. Телешову

Вчера в степи я слышал отдаленный
Крик журавлей. И дико и легко
Он прозвенел над тихими полями...
Путь добрый! Им не жаль нас покидать:
И новая цветущая природа,
И новая весна их ожидает
За синими, за теплыми морями,
А к нам идет угрюмая зима:
Засохла степь, лес глохнет и желтеет,
Осенний ветер, тучи нагоняя,
Открыл в кустах звериные лазы,
Листвой засыпал долы и овраги,
И по ночам в их черной темноте,
Под шум деревьев, свечками мерцают,
Таинственно блуждая, волчьи очи...
Да, край родной не радует теперь!
И все-таки, кочующие птицы,
Не пробуждает зависти во мне
Ваш звонкий крик, и гордый и свободный.

Здесь грустно. Ждем мы сумрачной поры,
Когда в степи седой туман ночует,
Когда во мгле рассвет едва белеет
И лишь бугры чернеют сквозь туман.
Но я люблю, кочующие птицы,
Родные степи. Бедные селенья —
Моя отчизна; я вернулся к ней,
Усталый от скитаний одиноких,
И понял красоту в ее печали
И счастие — в печальной красоте...

Бывают дни: повеет теплым ветром,
Проглянет солнце, ярко озаряя
И лес, и степь, и старую усадьбу,
Пригреет листья влажные в лесу,
Глядишь — и все опять повеселело!
Как хорошо, кочующие птицы,
Тогда у нас! Как весело и грустно
В пустом лесу меж черными ветвями,
Меж золотыми листьями берез
Синеет наше ласковое небо!
Я в эти дни люблю бродить, вдыхая
Осинников поблекших аромат
И слушая дроздов пролетных крики;
Люблю уйти один на дальний хутор,
Смотреть, как озимь мягко зеленеет,
Как бархатом блестят на солнце пашни,
А вдалеке, на жнивьях золотых,
Стоит туман, прозрачный и лазурный.

Моя весна тогда зовет меня —
Мечты любви и юности далекой,
Когда я вас, кочующие птицы,
С такою грустью к югу провожал!
Мне вспоминается былое счастье,
Былые дни... Но мне не жаль былого:
Я не грущу, как прежде, о былом, —
Оно живет в моем безмолвном сердце,
А мир везде исполнен красоты.
Мне в нем теперь все дорого и близко:
И блеск весны за синими морями,
И северные скудные поля,
И даже то, что уж совсем не может
Вас утешать, кочующие птицы, —
Покорность грустной участи своей!

1889—1897

* * *

Отчего ты печально, вечернее небо?
Оттого ли, что жаль мне земли,
Что туманно синеет безбрежное море
И скрывается солнце вдали?

Отчего ты прекрасно, вечернее небо?
Оттого ль, что далеко земля,
Что с прощальною грустью закат угасает
    На косых парусах корабля,

И шумят тихим шумом вечерние волны
И баюкают песней своей
Одинокое сердце и грустные думы
    В беспредельном просторе морей?

1897

СЕВЕРНОЕ МОРЕ

Холодный ветер, резкий и упорный,
Кидает нас, и тяжело грести;
Но не могу я взоров отвести
От бурных волн, от их пучины черной.

Они кипят, бушуют и гудят,
В ухабах их, меж зыбкими горами,
Качают чайки острыми крылами
И с воплями над бездною скользят.

И ветер вторит диким завываньем
Их жалобным, но радостным стенаньям,
Потяжелее выбирает вал,

Напрягши грудь, на нем взметает пену
И бьет его о каменную стену
Прибрежных мрачных скал.

1897

* * *

Вьется путь в снегах, в степи широкой.
Вот — луга и над оврагом мост,
Под горой — поселок одинокий,
На горе — заброшенный погост.

Ни души в поселке; не краснеют
Из-под крыш вечерние огни;
Слепо срубы в сумерках чернеют...
Знаю я — покинуты они.

Пахнет в них холодною золою,
В печку провалилася труба,
И давно уж смотрит нежилою,
Мертвой и холодною изба.

Под застрехи ветер жесткий дует,
Сыплет снегом... Только он один
О тебе, родимый край, тоскует
Посреди пустых твоих равнин!

Мы спешим, мы ищем лучшей доли,
Мы хотим, чтоб это стало сном —
И погост, и вешки в белом поле,
И пустыня в сумраке ночном.

Путь бежит, в степи мятель играет,
Хмуро сходит долгой ночи тень...
О, пускай скорее умирает
Этот жуткий, этот тусклый день!

1897

НА ХУТОРЕ

Свечи нагорели, долог зимний вечер...
Сел ты на лежанку, поднял тихий взгляд —
И звучит гитара удалью печальной
Песне беззаботной, старой песне в лад.

«Где ты закатилось, счастье золотое?
Кто тебя развеял по чистым полям?
Не взойти над степью солнышку с заката,
Нет пути-дороги к невозвратным дням!»

Свечи нагорели, долог зимний вечер...
Брови ты приподнял, грустен тихий взгляд...
Не судья тебе я за грехи былого!
Не воротишь жизни прожитой назад!

1897

* * *

Скачет пристяжная, снегом обдает...
Сонный зимний ветер надо мной поет,
В полусне волнуясь, по полю бежит,
Вместе с колокольчиком жалобно дрожит.

Эй, проснися, ветер! Подыми пургу,
Задымись метелью белою в лугу,
Загуди поземкой, закружись в степи,
Крикни вместо песни: «Постыдись, не спи!»

Безотраден путь мой! Каждый божий день —
Глушь лесов да холод-голод деревень...
Стыдно мне и больно... Только стыд-то мой
Слишком скоро гаснет в тишине немой!

Сонный зимний ветер надо мной поет,
Усыпляет песней, воли не дает,
Путь заносит снегом, по полю бежит,
Вместе с колокольчиком жалобно дрожит...

1897

* * *

Беру твою руку и долго смотрю на нее,
Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь несмело:
Вот в этой руке — все твое бытие,
Я всю тебя чувствую — душу и тело.

Что надо еще? Возможно ль блаженнее быть?
Но ангел мятежный, весь буря и пламя,
Летящий над миром, чтоб смертною страстью губить,
Уж мчится над нами!

1898

* * *

Я к ней вошел в полночный час.
Она спала — луна сияла
В ее окно, — и одеяла
Светился спущенный атлас.

Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди, —
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.

1898

* * *

При свете звезд померкших глаз сиянье,
Косящий блеск меж гробовых ресниц,
И сдавленное знойное дыханье,
И это сердце — сердце диких птиц!

1898

* * *

Снова сон, пленительный и сладкий,
Снится мне и радостью пьянит, —
Милый взор зовет меня украдкой,
Ласковой улыбкою манит.

Знаю я — опять меня обманет
Этот сон при первом блеске дня,
Но пока печальный день настанет,
Улыбнись мне — обмани меня!

1898

НА ДАЛЬНЕМ СЕВЕРЕ

Так небо низко и уныло,
Так сумрачно вдали,
Как будто время здесь застыло,
Как будто край земли.

Густое чахлое полесье
Стоит среди болот,
А там — угрюмо в поднебесье
Уходит сумрак вод.

Уж ночь настала, но свинцовый
Дневной не меркнет свет.
Немая тишь в глуши сосновой,
Ни звука в море нет.

И звезды тускло, недвижимо
Горят над головой,
Как будто их зажег незримо
Сам ангел гробовой.

1898

ПЛЕЯДЫ

Стемнело. Вдоль аллей, над сонными прудами,
Бреду я наугад.
Осенней свежестью, листвою и плодами
Благоухает сад.

Давно он поредел, — и звездное сиянье
Белеет меж ветвей.
Иду я медленно, — и мертвое молчанье
Царит во тьме аллей.

И звонок каждый шаг среди ночной прохлады.
И царственным гербом
Горят холодные алмазные Плеяды
В безмолвии ночном.

1898

* * *

И вот опять уж по зарям
В выси, пустынной и привольной,
Станицы птиц летят к морям,
Чернея цепью треугольной.

Ясна заря, безмолвна степь,
Закат алеет, разгораясь...
И тихо в небе эта цепь
Плывет, размеренно качаясь.

Какая даль и вышина!
Глядишь — и бездной голубою
Небес осенних глубина
Как будто тает над тобою.

И обнимает эта даль, —
Душа отдаться ей готова,
И новых, светлых дум печаль
Освобождает от земного.

1898

* * *

Листья падают в саду...
В этот старый сад, бывало,
Ранним утром я уйду
И блуждаю где попало.
Листья кружатся, шуршат,
Ветер с шумом налетает —
И гудит, волнуясь, сад
И угрюмо замирает.
Но в душе — все веселей!
Я люблю, я молод, молод:
Что мне этот шум аллей
И осенний мрак и холод?
Ветер вдаль меня влечет,
Звонко песнь мою разносит,
Сердце страстно жизни ждет,
Счастья просит!

Листья падают в саду,
Пара кружится за парой...
Одиноко я бреду
По листве в аллее старой.
В сердце — новая любовь,
И мне хочется ответить
Сердцу песнями — и вновь
Беззаботно счастье встретить.
Отчего ж душа болит?
Кто грустит, меня жалея?
Ветер стонет и пылит
По березовой аллее,
Сердце слезы мне теснят,
И, кружась в саду угрюмом,
Листья желтые летят
С грустным шумом!

1898

* * *

Таинственно шумит лесная тишина,
Незримо по лесам поет и бродит Осень...
Темнеет день за днем, — и вот опять слышна
Тоскующая песнь под звон угрюмых сосен.

«Пусть по ветру летит и кружится листва,
Пусть заметет она печальный след былого!
Надежда, грусть, любовь — вы, старые слова,
Как блеклая листва, не расцветете снова!»

Угрюмо бор гудит, несутся листья вдаль...
Но в шумном ропоте и песне безнадежной
Я слышу жалобу: в ней тихая печаль,
Укор былой весне — и ласковый и нежный.

И далеко еще безмолвная зима...
Душа готова вновь волненьям предаваться,
И сладко ей грустить и грустью упиваться,
Не внемля голосу ума.

1898

* * *

Все лес и лес. А день темнеет;
Низы синеют, и трава
Седой росой в лугах белеет...
Проснулась серая сова.

На запад сосны вереницей
Идут, как рать сторожевых,
И солнце мутное Жар-Птицей
Горит в их дебрях вековых.

1899

ЛИСТОПАД

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь, в листве сквозной,
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.

Сегодня на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра.
Сегодня целый день играет
В дворе последний мотылек
И, точно белый лепесток,
На паутине замирает,
Пригретый солнечным теплом;
Сегодня так светло кругом,

Такое мертвое молчанье
В лесу и в синей вышине,
Что можно в этой тишине
Расслышать листика шуршанье.
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Стоит над солнечной поляной,
Завороженный тишиной;
Заквохчет дрозд, перелетая
Среди подседа, где густая
Листва янтарный отблеск льет;
Играя, в небе промелькнет
Скворцов рассыпанная стая —
И снова все кругом замрет.

Последние мгновенья счастья!
Уж знает Осень, что такой
Глубокий и немой покой —
Предвестник долгого ненастья.
Глубоко, странно лес молчал
И на заре, когда с заката
Пурпурный блеск огня и злата
Пожаром терем освещал.
Потом угрюмо в нем стемнело.
Луна восходит, а в лесу
Ложатся тени на росу...
Вот стало холодно и бело
Среди полян, среди сквозной
Осенней чащи помертвелой,
И жутко Осени одной
В пустынной тишине ночной.

Теперь уж тишина другая:
Прислушайся — она растет,
А с нею, бледностью пугая,
И месяц медленно встает.
Все тени сделал он короче,
Прозрачный дым навел на лес
И вот уж смотрит прямо в очи
С туманной высоты небес.
О, мертвый сон осенней ночи!
О, жуткий час ночных чудес!

В сребристом и сыром тумане
Светло и пусто на поляне;
Лес, белым светом залитой,
Своей застывшей красотой
Как будто смерть себе пророчит;
Сова, и та молчит: сидит
Да тупо из ветвей глядит,
Порою дико захохочет,
Сорвется с шумом с высоты,
Взмахнувши мягкими крылами,
И снова сядет на кусты
И смотрит круглыми глазами,
Водя ушастой головой
По сторонам, как в изумленьи;
А лес стоит в оцепененьи,
Наполнен бледной, легкой мглой
И листьев сыростью гнилой...

Не жди: наутро не проглянет
На небе солнце. Дождь и мгла
Холодным дымом лес туманят, —
Недаром эта ночь прошла!
Но Осень затаит глубоко
Все, что она пережила
В немую ночь, и одиноко
Запрется в тереме своем:
Пусть бор бушует под дождем,
Пусть мрачны и ненастны ночи
И на поляне волчьи очи
Зеленым светятся огнем!
Лес, точно терем без призора,
Весь потемнел и полинял,
Сентябрь, кружась по чащам бора,
С него местами крышу снял
И вход сырой листвой усыпал;
А там зазимок ночью выпал
И таять стал, все умертвив...

Трубят рога в полях далеких;
Звенит их медный перелив,
Как грустный вопль, среди широких
Ненастных и туманных нив.

Сквозь шум деревьев, за долиной,
Теряясь в глубине лесов,
Угрюмо воет рог туриный,
Скликая на добычу псов,
И звучный гам их голосов
Разносит бури шум пустынный.
Льет дождь, холодный точно лед,
Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет.
Но дни идут. И вот уж дымы
Встают столбами на заре,
Леса багряны, недвижимы,
Земля в морозном серебре,
И в горностаевом шугае,
Умывши бледное лицо,
Последний день в лесу встречая,
Выходит Осень на крыльцо.
Двор пуст и холоден. В ворота,
Среди двух высохших осин,
Видна ей синева долин
И ширь пустынного болота,
Дорога на далекий юг:
Туда от зимних бурь и вьюг,
От зимней стужи и метели
Давно уж птицы улетели;
Туда и Осень поутру
Свой одинокий путь направит
И навсегда в пустом бору
Раскрытый терем свой оставит.

Прости же, лес! Прости, прощай,
День будет ласковый, хороший,
И скоро мягкою порошей
Засеребрится мертвый край.
Как будут странны в этот белый,
Пустынный и холодный день
И бор, и терем опустелый,
И крыши тихих деревень,
И небеса, и без границы
В них уходящие поля!

Как будут рады соболя
И горностаи и куницы,
Резвясь и греясь на бегу
В сугробах мягких на лугу!
А там, как буйный пляс шамана,
Ворвутся в голую тайгу
Ветры из тундры, с океана,
Гудя в крутящемся снегу
И завывая в поле зверем.
Они разрушат старый терем,
Оставят колья и потом
На этом остове пустом
Повесят инеи сквозные,
И будут в небе голубом
Сиять чертоги ледяные
И хрусталем и серебром.
А в ночь, меж белых их разводов,
Взойдут огни небесных сводов,
Заблещет звездный щит Стожар —
В тот час, когда среди молчанья
Морозный светится пожар,
Расцвет Полярного Сиянья!

1900

* * *

Враждебных колон тайн на взгорье спящий лес.
Но мирно розовый мерцает Антарес
На южных небесах, куда прозрачным дымом
Нисходит Млечный Путь к лугам необозримым.
С опушки на луга гляжу из-под ветвей,
И дышит ночь теплом, и сердце верит ей,
Колосьям божьих нив, на гнездах смолкшим птицам,
Мерцанью кротких звезд и ласковым зарницам,
Играющим огнем вокруг немой земли
Пред взором путника, звенящего вдали
Валдайским серебром, напевом беззаботным
В просторе полевом, спокойном и дремотном.

1900

* * *

Затрепетали звезды в небе,
И от зари, из-за аллей,
Повеял чистый, легкий ветер
Весенней свежестью полей.

К закату, точно окрыленный,
Спешу за ним, и жадно грудь
Его вечерней ласки ищет
И счастья в жизни потонуть.

Не верю, что умру, устану,
Что навсегда в земле усну, —
Нет, упоенный счастьем жизни,
Я лишь до солнца отдохну!

1900

НА РАСПУТЬЕ

На распутье в диком древнем поле
Черный ворон на кресте сидит.
Заросла бурьяном степь на воле,
И в траве заржáвел старый щит.

На распутье люди начертали
Роковую надпись: «Путь прямой
Много бед готовит, и едва ли
Ты по нем воротишься домой.

Путь направо без коня оставит —
Побредешь один и сир и наг, —
А того, кто влево путь направит,
Встретит смерть в незнаемых полях. . .»

Жутко мне! Вдали стоят могилы. . .
В них былое дремлет вечным сном. . .
«Отзовися, ворон чернокрылый!
Укажи мне путь в краю глухом».

Дремлет полдень. На тропах звериных
Тлеют кости в травах. Три пути

Вижу я в желтеющих равнинах...
Но куда и как по ним идти?

Где равнина дикая граничит?
Кто, пугая чуткого коня,
В тишине из синей дали кличет
Человечьим голосом меня?

И один я в поле, и отважно
Жизнь зовет, а смерть в глаза глядит...
Черный ворон сумрачно и важно,
Полусонный, на кресте сидит.

1900

ВИРЬ

Где ельник сумрачный стоит
В лесу зубчатым темным строем,
Где старый позабытый скит
Манит задумчивым покоем,

Есть птица Вирь. Ее убор
Весь серо-аспидного цвета,
Головка в хохолке, а взор
Исполнен скорбного привета.

Она так жалостно поет,
С такою нежностью глубокой,
Что, если к скиту забредет
Случайно путник одинокий,

Он не покинет те места:
Лес молчаливый и унылый
И скорбной песни красота
Полны неотразимой силы!

И вот, когда в лесу пустом
Горит заря, а ельник черный
Стоит на фоне золотом
Стеною траурно-узорной,

С какой отрадой ловит он
Все, что зарей еще печальней:

Вечерний колокольный звон,
Напевы женщин в роще дальней,

И гул сосны, и ветерка
Однообразный шелест в чаще...
Невыразима их тоска,
И нет ее больней и слаще!

Когда же лес, одетый тьмой,
Сгустится в ней, и тьма сольется
С его могильной бахромой, —
Вирь в темноте тревожно вьется,

В испуге бьется средь ветвей,
Тоскливо стонет и рыдает,
И тем тоскливей, тем грустней,
Чем человек больней страда́ет...

1900

* * *

Нет солнца, но све́тлы пруды,
Стоят зеркала́ми литыми,
И чаши недвижной воды
Совсем бы казались пустыми,
Но в них отразились сады.

Вот капля, как шляпка гвоздя,
Упала — и, сотнями игол
Затоны прудов бороздя,
Сверкающий ливень запрыгал —
И сад зашумел от дождя.

И ветер, играя листвой,
Смешал молодые березки,
И солнечный луч, как живой,
Зажег задрожавшие блестки,
А лужи налил синевой.

Вон радуга... Весело жить
И весело думать о небе,
О солнце, о зреющем хлебе,
И счастьем простым дорожить:

С открытой бродить головой,
Глядеть, как рассыпали дети
В беседке песок золотой...
Иного нет счастья на свете.

1900

ПОСЛЕДНЯЯ ГРОЗА

Не прохладой, не покоем,
А истомою и зноем
Ночь с горячих пашен веет:
Хлеб во мраке ночи зреет.

Обступают осторожно
Небо тучи, и тревожно,
Точно жар и бред недуга,
Набегает ветер с юга.
Шелестя и торопливо
Волны ветра ловит нива,
Страстным шепотом привета
Провожает их, — и мнится:
Ночь прощается тоскливо
С лаской пламенного лета,
Разметалась и томится...
Блеск зарниц ей точно снится,
Мрак растет над ней кошмаром,
И когда всю ночь пожаром
Красный сполох озаряет,
В поле чей-то призрак темный,
Величавый и огромный,
На мгновенье вырастает,
Чьи-то очи ярко блещут,
Содрогаясь от усилья,
И раскинутые крылья
За плечом его трепещут.

Как тот блеск ее пугает!
Точно в страхе пробегает
Знойный шелест по бурьяну...
Быть большому урагану!
Уж над этим смутным шумом
Все слышней, как за горою
Дальний гром ворчит порою,
Как в величии угрюмом,
Потрясая своды неба,
Он проходит тяжким гулом
Над шумящим морем хлеба...

Скоро бешеным разгулом
В поле ветер пронесется,
Скоро гром смелее грянет,
Жутким блеском даль зажжется,
Ночь испуганно воспрянет,
Ночь порывисто очнется —
И обильными слезами
Вся тоска ее прольется!

А наутро над полями
Солнце грустно улыбнется, —
Озарит их на прощанье,
И на нивы, на селенья
Ляжет кроткое смиренье
Тишины и увяданья.

1900

РОДНИК

В глуши лесной, в глуши зеленой,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой
Бьет из камней родник студеный:

Кипит, играет и спешит,
Крутясь хрустальными клубами,
И под ветвистыми дубами
Стеклом расплавленным бежит.

А небеса и лес нагорный
Глядят, задумавшись в тиши,
Как в светлой влаге голыши
Дрожат мозаикой узорной.

1900

В ОТЪЕЗЖЕМ ПОЛЕ

Сумрак ночи к западу уходит,
Серой мглой над черной пашней бродит,
По бурьянам стелется к земле. . .
Звезды стали тусклы и далеки,
Небеса — туманны и глубоки,
Но восток уж виден в полумгле.

Лошади продрогли. Север дышит
Ветром ночи и полынь колышет. . .
Вот и утро! — В колеях дорог
Грязь чернеет, лужи заалели. . .
Томно псы голодные запели. . .
Встань, труби в холодный, звонкий рог!

1900

ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ

Прошли дожди, апрель теплеет.
Всю ночь — туман, а поутру
Весенний воздух точно млеет
И мягкой дымкою синеет
В далеких просеках в бору.

И тихо дремлет бор зеленый.
И в серебре лесных озер —
Еще стройней его колонны,
Еще свежее сосен кроны
И нежных лиственниц узор!

1900

* * *

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет;
Колокольчики ландышей в чаще зеленой цветут;
На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,
Соловьи до рассвета поют.

Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы..
Все цветет и поет, молодые надежды тая...
О, весенние зори и теплые майские росы!
О, далекая юность моя!

1900

* * *

Когда деревья в светлый майский день
Дорожки осыпают белым цветом,
И ветерок в аллее, полной светом,
Струит листвы узорчатую тень, —
Я свой привет из тихих деревень
Шлю девушкам и юношам-поэтам:
Пусть встретит жизнь их ласковым приветом,
Пусть будет светел их весенний день,
Пусть их мечты развеет белым цветом!

1900

* * *

Вдали еще гремит, но тучи уж свалились,
Как горы дымные, идут они на юг.
Опять лазурь ясна, опять весна вокруг,
И ярким солнцем чащи озарились.

Из-за лесных вершин далекой церкви шпиц
Горячим золотом трепещет и сверкает,
Звенят в низах ручьи и льется пенье птиц,
А на полянах снова припекает.

Густеет облаков волнистое руно;
Они сдвигаются, спускаются все ниже —
И вот уж солнца нет: опять в лесу темно,
Дождь зашумел — и все слышней и ближе.

Нахохлясь, птицы спят, и тихо лес стоит
И точно чувствует, счастливый и покорный,
Как много свежести и силы благотворной
Весенняя гроза в себе таит!

1900

* * *

Еще утро не скоро, не скоро,
Ночь из тихих лесов не ушла.
Под навесами сонного бора —
Предрассветная теплая мгла.

Еще ранние птицы не пели,
Чуть сереют вверху небеса,
Влажно-зелены темные ели,
Пахнет летнею хвоей роса.

И пускай не светает подольше.
Этот медленный путь по лесам,
Эта ночь — не воротится больше,
Но легко пред разлукою нам...

Колокольчик в молчании бора
То замрет, то опять запоет...
Тихо ночь по долинам идет...
Еще утро, не скоро, не скоро.

1900

ПО ВЕЧЕРНЕЙ ЗАРЕ

Засинели, темнеют равнины...
Далеко, далеко в тишине
Колокольчик поет, замирая...
Мне грустней и больнее вдвойне.

Вот уж звук его плачет чуть слышно;
Вот и пыль над простором немым,
По широкой пустынной дороге,
Опускаясь, темнеет, как дым...

Но душа еще ждет и тоскует...
О, зачем ты и ночью и днем
Вспоминаешься мне так призывно?
Отчего ты везде и во всем?

Вслед заре, уходящей к закату,
Умирающим звукам вослед
Посылаю тебе мою душу, —
Мой печальный и нежный привет!

1900

УЧАН-СУ

Свежее, слаще воздух горный.
Невнятный шум идет в лесу:
Поет веселый и проворный,
Со скал летящий Учан-Су!
Глядишь — и, точно застывая,
Но в то же время ропот свой,
Свой легкий бег не прерывая, —
Прозрачной пылью снеговой
Несется вниз струя живая, —
Как тонкий флер, сквозит огнем,
Скользит со скал фатой венчальной
И, вдруг и пеной и дождем
Свергаясь в черный водоем,
Бушует влагою хрустальной...

1900

ЗНОЙ

Горячо сухой песок сверкает,
Сушит зной на камнях невода́.
В море — штиль, и ласково плескает
На песок хрустальная вода.

Чайка в светлом воздухе блеснула...
Тень ее спустилась надо мной —
И в сияньи солнца потонула...
Клонит в сон и ослепляет зной...

И лежу я, упоенный зноем.
Снится сад мне и прохладный грот,
Кипарисы неподвижным строем
Стерегут там звонкий водомет.

Старый мрамор под ветвями тиссов
Молодыми розами увит,
И горит залив меж кипарисов,
Точно синим пламенем налит...

1900

СУМЕРКИ

Все — точно в полусне. Над серою водой
Сползает с гор туман, холодный и густой,
Под ним гудит прибой, зловеще разрастаясь,
А темных голых скал прибрежная стена,
В дымящийся туман погружена,
Лениво курится, во мгле небес теряясь.

Суров и дик ее могучий вид!
Под шум и гул морской, она в дыму стоит,
Как неугасший жертвенник титанов,
И Ночь, спускаясь с гор, вступает точно в храм,
Где мрачный хор поет в седых клубах туманов
Торжественный хорал неведомым богам.

1900

* * *

На мертвый якорь кинули бакан,
И вот, среди кипящего залива,
Он прыгает и мечется тоскливо,
И звон его несется сквозь туман.

Осенний мрак сгущается вдали,
Подходит ночь, — и по волнам тяжелым
Ныряют и качаются за молом
Рыбацкие пустые корабли.

И мачты их средь темной высоты
Чертят туман все шире и быстрее,
И плавают среди тумана реи,
Как черные могильные кресты.

1900

* * *

Открыты жнивья золотые,
И светлой кажутся мечтой
Простор небес, поля пустые
И день, прохладный и пустой.

Орел, с дозорного кургана
Взмахнувший в этой пустоте,
Как над равниной океана
Весь четко виден в высоте.

И на кургане одиноком
Сдержав горячего коня,
Степь от заката до востока
В прозрачной дали вижу я.

Как низко, вольно и просторно
Степных отав раскинут круг!
И как легко фатой узорной
Плывут два облачка на юг!

1900

СУМЕРКИ

Как дым, седая мгла мороза
Застыла в сумраке ночном.
Как привидение, береза
Стоит, серея, за окном.

Таинственно в углах стемнело,
Чуть светит печь, и чья-то тень
Над всем простерлася несмело, —
Грусть, провожающая день,

Грусть, разлита́я на закате
В полупомеркнувшей золе,
И в тонком теплом аромате
Сгоревших дров, и в полумгле,

И в тишине — такой угрюмой,
Как будто бледный призрак дня
С какою-то глубокой думой
Глядит сквозь сумрак на меня.

РАЗВАЛИНЫ

Над синим понтом — серые руины,
Остатки древней греческой тюрьмы.
На юг — морские зыбкие равнины,
    На север — голые холмы.

В проломах стен — корявые оливы
И дереза, сопутница руин,
А под стенами — красные обрывы
    И волн густой аквамарин.

Угрюмо здесь, в сырых подземных кельях;
Но весело тревожить сон темниц,
Перекликаться с эхом в подземельях
    И видеть небо из бойниц!

Давно октябрь, но не уходит лето:
Уж на холмах желтеет шелк травы,
Но воздух чист — и сколько в небе света,
    А в море нежной синевы!

И тихи, тихи старые руины.
И целый день, под мерный шум валов,
Слежу я в море парус бригантины,
    А в небесах — круги орлов.

И усыпляет моря шум атласный.
И кажется, что в мире жизни нет:
Есть только блеск, лазурь и воздух ясный,
Простор, молчание и свет.

* * *

Был поздний час — и вдруг над темнотой,
Высоко над уснувшею землею,
Прорезав ночь оранжевой чертой,
Взвилась ракета бешеной змеею.

Стремительный порыв ее вознес.
Но миг один — и в темноту, в забвенье
Уже текут алмазы крупных слез,
И медленно их тихое паденье.

1901

* * *

Зеленый цвет морской воды
Сквозит в стеклянном небосклоне,
Алмаз предутренней звезды
Блестит в его прозрачном лоне.

И, как ребенок после сна,
Дрожит звезда в огне денницы,
А ветер дует ей в ресницы,
Чтоб не закрыла их она.

1901

* * *

Раскрылось небо голубое
Меж облаков в апрельский день.
В лесу все серое, сухое,
И паутиной пала тень.

Змея, шурша листвой дубовой,
Зашевелилася в дупле
И в лес пошла, блестя лиловой,
Пятнистой кожей по земле.

Сухие листья, запах пряный,
Атласный блеск березняка...
О миг счастливый, миг обманный,
Стократ блаженная тоска!

1901

РУЧЕЙ

Ручей среди сухих песков...
Куда спешит и убегает?
Зачем меж скудных берегов
Так стойко путь свой пролагает?

От зноя бледен небосклон,
Ни облачка в лазури жаркой;
Весь мир как будто заключен
В песчаный круг в пустыне яркой.

А он, прозрачен, говорлив,
Он словно знает, что с востока
Придет он к морю, где залив
Пред ним раскроет даль широко

И примет светлую струю,
Под вольной ширью небосклона,
В безбрежность синюю свою,
В свое торжественное лоно.

1901

* * *

На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет.
Проходят дни. Быть может, и доныне
Снега хранят мой одинокий след.

На высоте, где небеса так сини,
Где радостно сияет зимний свет,
Глядело только солнце, как стилет
Чертил мой стих на изумрудной льдине.

И весело мне думать, что поэт
Меня поймет. Пусть никогда в долине
Его толпы не радует привет!

На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в полдневный час сонет
Лишь для того, кто на вершине.

1901

* * *

Еще и холоден и сыр
Февральский воздух, но над садом
Уж смотрит небо ясным взглядом,
И молодеет божий мир.

Прозрачно-бледный, как весной,
Слезится снег недавней стужи,
А с неба на кусты и лужи
Ложится отблеск голубой.

Не налюбуюсь, как сквозят
Деревья в лоне небосклона,
И сладко слушать у балкона,
Как снегири в кустах звенят.

Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

1901

* * *

Мил мне жемчуг нежный, чистый дар морей!
В лоне океана, в раковине тесной,
Рос он одиноко, как цветок безвестный,
На обломках мшистых мертвых кораблей.

Бурею весенней выброшен со дна,
Он лежал в прибое на прибрежье диком,
Где носились чайки над водою с криком,
Где его качала шумная волна...

Мил мне жемчуг нежный на груди твоей!
Сладко упиваясь юной красотою,
В светлом божьем мире я брожу мечтою —
В небе, в блеске солнца, в тишине морей,

С перлами морскими под водой цвету,
Рассыпаюсь в рифах влагой голубою, —
И одно есть счастье: разделить с тобою
Эту радость жизни, эту красоту!

1901

* * *

Дымится поле, рассвет белеет,
В степи туманной кричат орлы,
И дико-звонок их плач голодный
Среди холодной плывущей мглы.

В росе их крылья, в росе бурьяны,
Благоухают поля со сна...
Зарею сладок твой бодрый холод,
Твой томный голод, — твой зов, весна!

Ты победила, — вся степь дымится,
Над степью властно кричат орлы,
И тучи жарким горят пожаром,
И солнце шаром встает из мглы!

1901

* * *

Гроза прошла над лесом стороною,
Был теплый дождь, в траве стоит вода...
Иду один тропинкою лесною,
И в синеве вечерней надо мною
Слезою светлой искрится звезда.

Иду — и вспоминается мерцанье
Мне звезд иных... глубокий мрак ресниц,
И ночь, и тучи жаркое дыханье,
И молодой грозы благоуханье,
И трепет замирающих зарниц...

Все пронеслось, как бурный вихрь весною,
И все в душе я сохраню, любя...
Слезою светлой блещет надо мною
Звезда весны за чащей кружевною...
Как я любил тебя!

1901

В СТАРОМ ГОРОДЕ

С темной башни колокол уныло
Возвещает, что закат угас.
Вот и снова город ночь сокрыла
В мягкий сумрак от усталых глаз.

И нисходит кроткий час покоя
На дела людские. В вышине
Грустно светят звезды. Все земное
Смерть, как страж, обходит в тишине.

Улицей бредет она пустынной,
Смотрит в окна, где чернеет тьма...
Всюду глухо. С важностью старинной
В переулках высятся дома.

Там в садах платаны зацветают,
Нежно веет раннею весной,
А на окнах девушки мечтают,
Упиваясь свежестью ночной,

И в молчаньи только им не страшен
Близкой смерти медленный дозор,
Сонный город, думы черных башен
И часов задумчивый укор.

1901

* * *

Облака, как призраки развалин,
Встали на заре из-за долин.
Теплый вечер темен и печален,
В темном доме я совсем один.

Слабым звоном люстра отвечает
На шаги по комнате пустой...
А вдали заря зарю встречает,
Ночь зовет бессмертной красотой.

1901

ЭЛЕГИЯ

Стояли ночи северного мая,
И реял в доме бледный полусвет.
Я лег уснуть, но, тишине внимая,
Все вспоминал о грезах прежних лет.

Я вновь грустил, как в юности далекой,
И слышал я, как ты вошла в мой дом, —
Неуловимый призрак, одинокий
В старинном зале, низком и пустом.

Я различал за шелестом одежды
Твои шаги в глубокой тишине —
И сладкие, забытые надежды,
Мгновенные, стеснили сердце мне.

Я уловил из окон свежесть мая,
Глядел во тьму с тревогой прежних лет...
И призрак твой и тишина немая
Сливались в грустный, бледный полусвет.

1901

НА МОНАСТЫРСКОМ КЛАДБИЩЕ

Ударил колокол — и дрогнул сон гробниц,
И голубей испуганная стая
Вдруг поднялась с карнизов и бойниц
И закружилась, крыльями блистая,
Над мшистою стеной монастыря...

О, ранний благовест и майская заря!
Как этот звон, могучий и тяжелый,
Сливается с открытой и веселой
Равниной зеленеющих полей!
Ударил колокол — и стала ночь светлей,
И позабыты старые гробницы,
И кельи тесные, и страхи темноты, —
Душа, затрепетав, как крылья вольной птицы,
Коснулась солнечной поющей высоты!

1901

НОЧЬ

Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного. Вдали
Я вижу ночь: пески среди молчанья
И звездный свет над сумраком земли.

Как письмена, мерцают в тверди синей
Плеяды, Вега, Марс и Орион.
Люблю я их теченье над пустыней
И тайный смысл их царственных имен!

Как ныне я, мирьяды глаз следили
Их древний путь. И в глубине веков
Все, для кого они во тьме светили,
Исчезли в ней, как след среди песков.

Их было много, нежных и любивших,
И девушек, и юношей, и жен,
Ночей и звезд, прозрачно серебривших
Евфрат и Нил, Мемфис и Вавилон!

Вот снова ночь. Над бледной сталью Понта
Юпитер озаряет небеса,
И в зеркале воды, до горизонта,
Столпом стеклянным светит полоса.

Прибрежья, где бродили тавро-скифы,
Уже не те, — лишь море в летний штиль
Все так же сыплет ласково на рифы
Лазурно-фосфорическую пыль.

Но есть одно, что вечной красотою
Связует нас с отжившими. Была
Такая ж ночь — и к тихому прибою
Со мной на берег девушка пришла.

И не забыть мне этой ночи звездной,
Когда весь мир любил я для одной!
Пусть я живу мечтою бесполезной,
Туманной и обманчивой мечтой, —

Ищу я в этом мире сочетанья,
Прекрасного и тайного, как сон.
Люблю ее за счастие слиянья
В одной любви с любовью всех времен!

1901

* * *

Зарницы лик, как сновиденье,
Блеснул — и в темноте исчез.
Но увидал я на мгновенье
Всю даль и глубину небес.

Там в горнем свете встали горы
Из розоватых облаков,
Там град и райские соборы —
И снова черный пал покров.

Вот задрожал и вспыхнул снова —
И снова блещущий восторг,
Вновь мрак томления земного
Господь десницею расторг.

Не так же ль в радости случайной
Мечта взмахнет порой крылом —
И вдруг блеснет небесной тайной
Все потонувшее в былом?

1901

* * *

Спокойный взор, подобный взору лани,
И все, что в нем так нежно я любил,
Я до сих пор в печали не забыл,
Но образ твой теперь уже в тумане.

А будут дни — угаснет и печаль,
И засинеет сон воспоминанья,
Где нет уже ни счастья, ни страданья,
А только всепрощающая даль.

1901

* * *

Высоко наш флаг трепещет,
Гордо вздулся парус полный,
Встал, огромный и косой;

А навстречу зыбью плещет,
И бегут — змеятся волны
Быстрой, гибкой полосой.

Изумруд горит, сверкая,
В ней, как в раковине тесной,
Медью светит на борта;

А кругом вода морская
Так тяжка и полновесна,
Точно ртутью налита.

Ходит зыбкими буграми,
Ходит мощно и упруго,
Высоко возносит челн —

И бегущими горами
Принимают друг от друга
Нас крутые гребни волн!

1901

УТРО

Светит в горы небо голубое,
Молодое утро сходит с гор.
Далеко внизу — кайма прибоя,
А за ней — сияющий простор.

С высоты к востоку смотрят горы,
Где за нежно-млечной синевой
Тают в море белые узоры
Отдаленной цепи снеговой.

И в дали, таинственной и зыбкой,
Из-за гор восходит солнца свет —
Точно горы светлою улыбкой
Отвечают братьям на привет.

1901

ВЕСНЯНКА

(Отрывок)

Перед грозой, в Петровки, жаркой ночью,
Среди лесного ропота и шума,
Спешил я, спотыкаясь на коряги
И путаясь меж елок, за Веснянкой.
Она неслась стрелой среди деревьев
И, белая, мелькала в темноте,
Когда зарницу ветром раздувало,
А у меня уж запеклись уста
И сердце трепетало, точно голубь.
«Постой!» — хотел я крикнуть — и не мог.

Мы долго с ней бежали по болоту,
Вдоль озера, вдоль отмели, заросшей

Купавами, травой и камышами,
И наконец я выбился из сил.
Хочу сказать: «Остановись, не бойся!» —
Она на миг оглянется — и в путь!
А между тем в лесу поднялся ветер,
Деревья недовольно зароптали,
Задвигали мохнатой хвоей ели,
И звезды замелькали из-за них.
Кричу за ней: «Остановись, послушай!
Я все равно до света не отстану,
Ты понапрасну мучишься. . .» Не слышит!

Вдруг молния всю чащу озарила
Таинственным и бледно-синим светом. . .
«Стой! — крикнул я. — Лишь слово!
Я не трону. . .»
(Она остановилась на мгновенье.)
«Ответь, — вскричал я, — кто ты? И зачем
Ты здесь со мной встречалась вечерами,
Ждала меня над заводью темневшей,
Где сумрачно и тускло рдели воды?
Зачем со мной ты слушала, грустя,
Далеких песен радость молодую?
Зачем потом, когда они смолкали
И только комары звенели сонно
Да нежно пахло сонною водой,
Ты разбирала ласково мне кудри,
А я глядел с твоих колен в глаза?
Зачем во тьме, когда из тихой рощи
Гремели соловьи, ты наклонялась
К моей щеке горячею щекой
И целовала сладко, осторожно,
А после все томительней и крепче?
Скажи, зачем? . .» Она лицо руками
Закрыла вдруг и кинулась вперед.

И долго мы, как звери за добычей,
Опять бежали в роще. Шумный ливень
По темным чащам с громом бушевал,
Даль раскрывали молнии, и ярко
Белело платье девичье. . . Но вдруг

Оно исчезло, точно провалилось.
Я выскочил с разбега на опушку,
Упал в овес, запутанный и мокрый,
И зарыдал, забился...

1901

* * *

Пока я шел, я был так мал!
Я сам себе таким казался,
Когда хребет далеких скал
Со мною рос и возвышался.

Но на предельной их черте
Я перерос их восхожденье.
Один, в пустынной высоте,
Я чую высших сил томленье.

Земля — подножие мое.
Ее громада поднимает
Меня в иное бытие,
И душу радость обнимает.

Но бездны страх — он не исчез,
Он набегает издалека...
Не потому ль, что одиноко
Я заглянул в лицо небес?

1901

* * *

Из тесной пропасти ущелья
Нам небо кажется синей.
Привет тебе, немая келья
И радость одиноких дней!

Звучней и песни и рыданья
Гремят под сводами тюрьмы.
Привет вам, гордые страданья,
Среди ее холодной тьмы!

Из рудников, из черной бездны
Нам звезды видны даже днем.
Гляди смелее в сумрак звездный —
Предвечный свет таится в нем!

1901

* * *

Любил он ночи темные в шатре,
Степных кобыл заливчатое ржанье,
И перед битвой волчье завыванье,
И коршунов на сумрачном бугре.

Страсть буйной мощи силясь утолить,
Он за врагом скакал, как исступленный,
Чтоб дерзостью погони опьяненной,
Горячей кровью землю напоить.

Стрелою скиф насквозь его пробил,
И там, где смерть ему закрыла очи,
Восстал курган — и темный ветер ночи
Дождем холодных слез его кропил.

Прошли века, но слава древней были
Жила в веках... Нет смерти для того,
Кто любит жизнь, и песни сохранили
Далекое наследие его.

Они поют печаль воспоминаний,
Они бессмертье прошлого поют
И жизни, отошедшей в мир преданий,
Свой братский зов и голос подают.

1901

* * *

Это было глухое, тяжелое время.
Дни в разлуке текли, я, как мертвый, блуждал;
Я коня на закате седлал
И в безлюдном дворе ставил ногу на стремя.

На горе меня темное поле встречало.
В темноту, на восток, направлял я коня —
И пустынная ночь окружала меня
И, склонивши колосья, молчала.

И, молчанью внимая, я тихо склонялся
Головой на луку. Я без мысли глядел
На дорожную пыль и душой холодел,
И в холодной тоске забывался.

1901

* * *

Моя печаль теперь спокойна,
И с каждым годом все ясней
Я вижу даль, где прежде знойно
Синела дымка летних дней...

Так в тишине приморской виллы
Слышнее осенью прибой,
Подобный голосу Сибиллы,
Бесстрастной, мудрой и слепой.

Так на заре в степи широкой
Слышнее колокол вдали,
Спокойный, вещий и далекий
От мелких горестей земли.

1901

* * *

Светло, как днем, и тень за нами бродит
В нагих кустах. На серебре травы
Луна с небес таинственно обводит
Сияние вкруг темной головы.

Остановясь, ловлю твой взор прощальный,
Но в сердце холод мертвенный таю —
И бледный лик, загадочно-печальный,
Под бледною луной не узнаю.

1901

ОТРЫВОК

В окно я вижу груды облаков,
Холодных, белоснежных, как зимою,
И яркость неба влажно-голубого.
Осенний полдень светел, и на север
Уходят тучи. Клены золотые
И белые березки у балкона
Сквозят на небе редкою листвой,
И хрусталем на них сверкают льдинки.
Они, качаясь, тают, а за домом
Бушует ветер... Двери на балконе
Уже давно заклеены к зиме,
Двойные рамы, топленные печи —
Все охраняет ветхий дом от стужи,
А пó саду пустому кружит ветер
И, листья подметая по аллеям,
Гудит в березах старых... Светел день,
Но холодно, — до снега недалёко.

Я часто вспоминаю осень юга...
Теперь на Черном море непрерывно
Бушуют бури: тусклый блеск от солнца,
Скалистый берег, бешеный прибой
И по волнам сверкающая пена...
Ты помнишь этот берег, окаймленный
Ее широкой снежною грядой?
Бывало, мы сбежим к воде с обрыва
И жадно ловим ветер. Вольно веет
Он бодростью и свежестью морской;
Срывая брызги с бурного прибоя,
Он влажной пылью воздух наполняет
И снежных чаек носит над волнами.
Мы в шуме волн кричим ему навстречу,
Он валит с ног и заглушает голос,
А нам легко и весело, как птицам...

Все это сном мне кажется теперь.

1901

* * *

Морозное дыхание метели
Еще свежо, но улеглась метель.
Белеет снега мшистая постель,
В сугробах стынут траурные ели.

Ночное небо низко и черно, —
Лишь в глубине, где Млечный Путь
белеет,
Сквозит его таинственное дно
И холодом созвездий пламенеет.

Обрывки туч порой темнеют в нем...
Но стынет ночь. И низко над землею
Усталый вихрь шипящею змеею
Скользит и жжет своим сухим огнем.

1901

КУСТАРНИК

Жесткой, черной листвой шелестит и трепещет
кустарник,
Точно в снежную даль убегает в испуге.
В белом поле стога, косогор и забытый овчарник
Тонут в белом дыму разгулявшейся вьюги.

Дымный ветер кружит и несет в небе ворона боком,
Конский след на бегу порошит-заметает...
Вон прохожий вдали. Истомлен на пути одиноком,
Мертвым шагом он мерно и тупо шагает.

«Добрый путь, человек! Далеко ль до села,
до ночлега?»
Он не слышит, идет, только голову клонит...
А куда и спешить против холода, ветра и снега?
Родились мы в снегу, — вьюга нас и схоронит.

Занесет равнодушно, как стог, как забытый овчарник...
Хорошо ей у нас на просторе великом!
Бесприютная жизнь, одинокий под бурей кустарник,
Не тебе одолеть в поле темном и диком!

1901

* * *

Багряная печальная луна
Висит вдали, но степь еще темна.
Луна во тьму свой теплый отблеск сеет,
И над болотом красный сумрак реет.
Уж поздно — и какая тишина!

Мне кажется, луна оцепенеет:
Она как будто выросла со дна
И допотопной розою краснеет.

Но меркнут звезды. Даль озарена.
Равнина вод на горизонте млеет,
И в ней луна столбом отражена.
Склонив лицо прозрачное, светлеет
И грустно в воду смотрится она.

Поет комар. Теплом и гнилью веет.

1902

* * *

Перед закатом набежало
Над лесом облако — и вдруг
На взгорье радуга упала
И засверкало все вокруг.

Стеклянный, редкий и ядреный,
С веселым шорохом спеша,
Промчался дождь, и лес зеленый
Затих, прохладою дыша.

Вот дождь! Уж это не впервые:
Прольется — и уйдет из глаз...
Как эти ливни золотые,
Пугая, радовали нас!

Едва лишь добежим до чащи —
Все стихнет... О, росистый куст!
О, взор счастливый и блестящий
И холодок покорных уст!

1902

СМЕРТЬ

Спокойно на погосте под луною...
Крестов объятья, камни и сирень...
Но вот наш склеп, — под мраморной стеною,
Как темный призрак, вытянулась тень.

И жутко мне. И мой двойник могильный
Как будто ждет чего-то при луне...
Но я иду — и тень, как раб бессильный,
Опять ползет, опять покорна мне!

1902

ЛЕСНАЯ ДОРОГА

В березовом лесу, где распевают птицы,
Где в шелковой траве сквозь тень лучи горят,
Темнеют холмики — могил забытых ряд,
А под березами, как юные черницы,
Смиренно елочки зеленые стоят.

Был здесь когда-то скит, как говорят преданья,
И десять девственниц, отрекшись от земли,
В нем приняли обет святого созерцанья,
Держали строгий пост и, как цветы, цвели
Под пенье божьих птиц и странников сказанья.

Был здесь дремучий бор, в народе говорят,
Был долгий стан татар, в лесах кипели битвы;
Потом был этот край спокоен и богат,
И древний скудный скит и подвиги молитвы
Забылись, точно сон, уж много лет назад.

Немало было снов, — зачем нам помнить их?
И вот опять весна. В лесу все зеленеет,
Лес сенокоса ждет, а небосклон синеет
Меж белых облаков, среди вершин лесных,
И на глазах трава в полдневном зное млеет.

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,
Но весело бродить и знать, что все проходит,
Меж тем как счастье жить вовеки не умрет,
Покуда над землей заря зарю выводит
И молодая жизнь родится в свой черед.

Бежит зеленый лес, поют и свищут птицы,
А вон и озеро, песчаный, белый скат...
Пошел! И бубенцы играют и гремят,
В колесах, как лучи, блестят на солнце спицы,
И кружева теней по лошадям скользят...

1902

* * *

Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена
И небо меж снастей синеет в вышине,
Люблю твой бледный лик, печальная Селена,
Твой безнадежный взор, сопутствующий мне.

Люблю под шорох волн рыбацкие напевы,
И свежесть от воды — ночные вздохи волн,
И созданный мечтой манящий образ девы,
И мой бесцельный путь, мой одинокий челн.

1902

* * *

Если б вы и сошлись, если б вы и смирилися, —
Уж не той она будет, не той!
Кто вернет тот закат, как навек вы простилися,
Темный взор, засиявший слезой?

Дни бегут — и теперь от былого осталися
Только думы о том, чего нет,
Лишь цветы, что цвели в день, когда вы венчалися,
Да поблекший портрет!

1902

* * *

Чашу с темным вином подала мне богиня печали.
Тихо выпив вино, я в смертельной истоме поник.
И сказала бесстрастно, с холодной улыбкой богиня:
«Сладок яд мой хмельной. Это лозы с могилы любви».

1902

* * *

Как все спокойно и как все открыто!
Как на земле стало тихо и бедно!
Сад осыпается, — все в нем забыто,
Небо велико и холодно-бледно...

Небо далекое, не ты ли, немое,
Меня пугаешь своим простором?
Здесь, в этой бедности, где все родное,
Встречу я осень радостным взором.

Еще рассеян огонь листопада,
И редкие краски ласково-ярки;
Еще синицы свищут из сада,
И как им тихо в забытом парке!

И только ночью, когда бушует
Осенний ветер, все чуждо снова...
И одинокое сердце тоскует:
О, если бы близость сердца родного!

1902

БРОДЯГИ

На позабытом тракте к Оренбургу,
В бесплодной и холмистой котловине
Большой, глухой дороги на восток,
Стоит в лугу холщовая кибитка
И бродит кляча в путах. Ни души
Нет на лугу, — цыган в кибитке дремлет,
И девочка-подросток у дороги
Сидит себе одна и равнодушно,
С привычной скукой, смотрит на закат:
На солнце, уходящее за пашню,
На блеск лучей над темным косогором.
Наморщив лоб от ветра, вся в лохмотьях,
Она следит в безлюдье за холодным,
Печальным солнцем, тенью от холма
И алой пылью, веющей с дороги
Из-под копыт кобылы, — то молчит,
То будто грезит, — что-то напевает...
Какая глушь! Какая скудость жизни!
Какие заунывные напевы!

Вот вечереет, солнце в тучку село,
Темнеет в котловине, ветер дует,
И ночь идет... Пошли господь бродягам
Не думать днем и не слыхать, как ночью
Шатается в сухом бурьяне ветер
И что-то шепчет, словно в забытьи!
Спи под кибиткой, девочка! Проснешься —
Буди отца больного, запрягай —
И снова в путь... А для чего, — кто скажет?
Жизнь, как могила в поле, молчалива.

1902

* * *

Крест в долине при дороге,
А на нем, на ржавых копьях
У подножия распятья,
Из степных цветов венок...
Как был ясен южный вечер!
Как любил я вечерами
Уходить в простор долины,
К одинокому кресту!

Тяжело в те дни мне было.
Я был молод, я навеки
С тем, кому я отдал душу,
Расставался в эти дни.
Чья же грусть мою смиряла?
Кто, задумчивый и кроткий,
Сплел в долине при дороге
Из степных цветов венок?

За широкою долиной,
В балках, даль полей синела,
Южный августовский вечер
Был спокоен, тих и ясен,
А в долине кто-то пел.
И звала меня, томила
Даль полей, что поздним летом
Так прекрасна и бесстрастна,
Так безлюдна и грустна.

1902

ЭПИТАФИЯ

Я девушкой, невестой умерла.
Он говорил, что я была прекрасна.
Но о любви я лишь мечтала страстно, —
Я краткими надеждами жила.

В апрельский день я от людей ушла,
Ушла навек покорно и безгласно —

И все ж была я в жизни не напрасно:
Я для его любви не умерла.

Здесь, в тишине кладбищенской аллеи,
Где только ветер веет в полусне,
Все говорит о счастье и весне.

Сонет любви на старом мавзолее
Звучит бессмертной грустью обо мне,
А небеса синеют вдоль аллеи.

1902

* * *

Широко меж вершин дубравы
Струилась синяя река;
Благоухая, сохли травы,
Дымясь, курились облака.

Дымясь, вставали из-за леса
На склон небес — и вот одно
Могучим обликом Зевеса
Воздвигло снежное руно...

Но тает призрак величавый —
И снова светозарный сон,
И снова меж вершин дубравы —
Лазури пламенный затон.

1902

ЗИМНИЙ ДЕНЬ В ОБЕРЛАНДЕ

Лазурным пламенем сияют небеса...
Как ясен зимний день, как восхищают взоры
В безбрежной высоте изваянные горы —
Титанов снеговых полярная краса!

На скатах их, как сеть, чернеются леса
И белые поля сквозят в ее узоры,

А выше, точно рать, бредет на косогоры
Темно-зеленых пихт и елей полоса.

Зовет их горний мир, зовут снегов пустыни,
И тянет к ним уйти — быть вольным, как дикарь,
И целый день дышать морозом на вершине.

Уйти и чувствовать, что ты — пигмей и царь,
Что над тобой, как храм, воздвигся купол синий
И блещет Зильбергорн, как ледяной алтарь!

1902

КОНДОР

Громады гор, зазубренные скалы
Из океана высятся грядой.
Под ними берег, дикий и пустой,
Над ними кондор, тяжкий и усталый.

Померк закат. В ущелья и провалы
Нисходит ночь. Гонимый темнотой,
Уродливо-плечистый и худой,
Он медленно спускается на скалы.

И долгий крик, звенящий крик тоски,
Вдруг раздается жалобно и властно
И замирает в небе. Но бесстрастно

Синеет море. Скалы и пески
Скрывает ночь — и веет на вершине
Дыханьем смерти, холодом пустыни.

1902

НА ОЗЕРЕ

(Отрывок)

На озере, среди лесов зеленых,
Кувшинки белые как звезды расцвели.
В Петровки, в жаркий день, когда в бору сосновом
Так сухо и тепло от солнца и песков,

Я прихожу на луг, под тень ольхи сребристой,
Где пахнет мятою и теплою водой,
Где реют радужно-стеклянные стрекозы
И блещет озеро среди стволов берез.

На озере, в веселый летний полдень,
Я слышу женский смех, далекий крик и плеск,
В бору за озером аукается кто-то —
И сладко мне дремать и слушать в полусне...
Люблю я молодых, счастливых и беспечных,
Люблю зеленый лес и долгий летний день,
Все голоса его меня зовут, волнуют...
Но я заката жду...

Закроются на озере кувшинки...
Как ночь в лесу темна, спокойна и тепла!
Кузнечики в траве чуть шепчутся. Сквозь ветви
Белеет озеро, — там звезды в глубине...
Стоишь и слушаешь — и кажется, что звезды
Глядят из темных вод, и светляки в кустах
Для тех, кто ждет любви, затеплились недвижно...
И вот она идет, — неслышно и легко.

Таинственно с песчаного прибрежья
Она сойдет к воде, одежды тихо сняв, —
И ласковым теплом вода ее обнимет,
И закачается у берега звезда.
Как жутко-хорошо в ночном подводном небе!
Какая глубина!..
Прохладны и легки одежды после влаги,
Песок еще хранит полдневное тепло...

1902

ЗАПУСТЕНИЕ

Домой я шел по скату вдоль Оки,
По перелескам, берегом нагорным,
Любуясь сталью вьющейся реки
И горизонтом низким и просторным.

Был теплый, тихий, серенький денек,
Среди берез желтел осинник редкий,
И даль лугов за их прозрачной сеткой
Синела чуть заметно — как намек.
Уже давно в лесу замолкли птицы,
Свистели и шуршали лишь синицы.

Я уставал, кругом все лес пестрел,
Но вот на перевале, за лощиной,
Фруктовый сад листвою закраснел,
И глянул флигель серою руиной.
Глеб отворил мне двери на балкон,
Поговорил со мною в позе чинной,
Принес мне самовар — и по гостиной
Полился нежный и печальный стон.
Я в кресло сел, к окну, и, отдыхая,
Следил, как замолкал он, потухая.

В тиши звенел он чистым серебром,
А я глядел на клены у балкона,
На вишенник, красневший под бугром...
Вдали синели тучки небосклона,
И умирал спокойный серый день,
Меж тем как в доме, тихом как могила,
Неслышно одиночество бродило
И реяла задумчивая тень.
Пел самовар, а комната беззвучно
Мне говорила: «Пусто, брат, и скучно!»

В соломе, возле печки, на полу,
Лежала груда яблок; паутины
Под образом качалися в углу,
А у стены темнели клавесины.
Я тронул их — и горестно в тиши
Раздался звук. Дрожащий, романтичный,
Он жалок был, но я душой привычной
В нем уловил напев родной души:
На этот лад, исполненный печали,
Когда-то наши бабушки певали.

Чтоб мрак спугнуть, я две свечи зажег,
И весело огни их заблестели,

И побежали тени в потолок,
А стекла окон сразу посинели...
Но отчего мой домик при огне
Стал и бедней и меньше? О, я знаю —
Он слишком стар... Пора родному краю
Сменить хозяев в нашей стороне.
Нам жутко здесь. Мы все в тоске, в тревоге...
Пора свести последние итоги.

Печален долгий вечер в октябре!
Любил я осень позднюю в России.
Любил лесок багряный на горе,
Простор полей и сумерки глухие,
Любил стальную, серую Оку,
Когда она, теряясь лентой длинной
В дали лугов, широкой и пустынной,
Мне навевала русскую тоску...
Но дни идут, наскучило ненастье —
И сердце жаждет блеска дня и счастья.

Томит меня немая тишина.
Томит гнезда родного запустенье.
Я вырос здесь. Но смотрит из окна
Заглохший сад. Над домом реет тленье,
И скупо в нем мерцает огонек.
Уж свечи нагорели и темнеют,
И комнаты в молчаньи цепенеют,
А ночь долга и новый день далек.
Часы стучат, и старый дом беззвучно
Мне говорит: «Да, без хозяев скучно!

Мне на покой давно, давно пора...
Поля, леса — все глохнет без заботы...
Я жду веселых звуков топора,
Жду разрушенья дерзостной работы,
Могучих рук и смелых голосов!
Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе,
Вновь расцвела из праха на могиле,
Я изнемог, и мертвый стук часов
В молчании осенней долгой ночи
Мне самому внимать нет больше мочи!»

КОЛЬЦО

В белом песке золотое блеснуло кольцо.
Я задремал над Днепром у широкого плеса,
Знойною ласкою ветер повеял в лицо,
Легкой прохладой и запахом свежего теса...
Ярко в воде золотое блеснуло кольцо.

Как его вымыли волны на отмели белой! —
Точно к венчанию... Искрился солнечный блеск,
Видел я плахты, сорочки и смуглое тело,
Слышал я говор, веселые крики и плеск...
Жадной толпою сошлись они к отмели белой!

Жадно дыша, одевались они на песке,
Лоснились косы и карие очи смеялись,
С звонкими песнями скрылись они вдалеке,
Звонко о берег прозрачные волны плескались...
Чье-то кольцо золотится в горячем песке.

О, красота, тишина и раздолье Днепра!
Помню, как ветер в лугах серебрил верболозы,
Помню, как реяла дальних миражей игра...

ПЕРЕД БУРЕЙ

Тьма затопляет лунный блеск,
За тучу входит месяц полный,
Холодным ветром дышат волны
И все растет их шумный плеск.

Вот на мгновенье расступился
Зловещий мрак и, точно ртуть,
По гребням волн засеребрился
Дрожащий отблеск — лунный путь.

Но как за ним сгустились тучи!
Как черный небосклон велик!..
О ночь! Сокрой во тьме свой лик,
Свой взор тревожный и могучий!

ТРОПАМИ ПОТАЕННЫМИ

Тропами потаенными, глухими,
В лесные чащи сумерки идут.
Засыпанные листьями сухими,
Леса молчат — осенней ночи ждут.

Вот крикнул сыч в пустынном буераке...
Вот темный лист свалился, чуть шурша...
Ночь близится: уж реет в полумраке
Ее немая, скорбная душа.

СТИХОТВОРЕНИЯ
1903—1911 годов

СЕВЕРНАЯ БЕРЕЗА

Над озером, над заводью лесной —
Нарядная зеленая береза...
«О девушки! Как холодно весной:
Я вся дрожу от ветра и мороза!»

То дождь, то град, то снег, как белый пух,
То солнце, блеск, лазурь и водопады...
«О девушки! Как весел лес и луг!
Как радостны весенние наряды!»

Опять, опять нахмурилось, опять
Мелькает снег и бор гудит сурово...
«Я вся дрожу. Но только б не измять
Зеленых лент! Ведь солнце будет снова».

15 I 1903

МОРОЗ

Так ярко звезд горит узор,
Так ясно Млечный Путь струится,
Что занесенный снегом двор
Весь и блестит и фосфорится.

Свет серебристо-голубой,
Свет от созвездий Ориона,
Как в сказке, льется над тобой
На снег морозный с небосклона.

И фосфором дымится снег,
И видно, как мерцает нежно
Твой ледяной душистый мех,
На плечи кинутый небрежно.

Как серьги длинные блестят,
И потемневшие зеницы
С восторгом жадности глядят
Сквозь серебристые ресницы.

21 VI 1903

* * *

В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины,
Струится из окна веселый летний свет,
Хрустальным золотом ложась на клавесины,
На ветхие ковры и выцветший паркет.

Вкруг дома глушь и дичь. Там клены и осины,
Приюты горлинок, шиповник, бересклет...
А в доме — рухлядь, тлен: повсюду паутины,
Все двери заперты... И так уж много лет.

В глубокой тишине, таинственно сверкая,
Как мелкий перламутр, беззвучно моль плывет.
По стеклам радужным, как бархатка сухая,
Тревожно бабочка лиловая снует.

Но фортки нет в окне, и рама в нем — глухая...
Тут даже моль недолго наживет!

29 VII 1903

* * *

На окне, серебряном от инея,
За ночь хризантемы расцвели.
В верхних стеклах — небо ярко-синее
И застреха в снеговой пыли.

Всходит солнце, бодрое от холода,
Золотится отблеском окно.
Утро тихо, радостно и молодо.
Белым снегом все запушено.

И все утро яркие и чистые
Буду видеть краски в вышине,
И до полдня будут серебристые
Хризантемы на моем окне.

Август 1903

ПОСЛЕ БИТВЫ

Воткнув копье, он сбросил шлем и лег.
Курган был жесткий, выбитый. Кольчуга
Колола грудь, а спину полдень жег...
Осенней сушью жарко дуло с юга.

И умер он. Окостенел, застыл,
Припав к земле тяжелой головою.
И ветер волосами шевелил,
Как ковылем, как мертвою травою.

И муравьи закопошились в них...
Но равнодушно все вокруг молчало,
И далеко среди полей нагих
Копье, в курган воткнутое, торчало.

31 VIII 1903

* * *

Обрыв Яйлы. Как руки фурий,
Торчит над бездною из скал
Колючий, искривленный бурей,
Сухой и звонкий астрагал.

И на заре седой орленок
Шипит в гнезде, как василиск,
Завидев за морем спросонок
В тумане сизом красный диск.

1903

* * *

Старик у хаты веял, подкидывал лопату,
Как раз к святому Спасу покончив с молотьбой.
Старуха в черной плахте белила мелом хату
И обводила окна каймою голубой.

А солнце, розовея, в степную пыль садилось —
И тени ног столбами ложились на гумно,
А хата молодела — зарделась, застыдилась —
И празднично блестело протертое окно.

1903

* * *

Уж подсыхает хмель на тыне.
За хуторами, на бакчах,
В нежарких солнечных лучах
Краснеют бронзовые дыни.

Уж хлеб свезен, и вдалеке,
Над старою степною хатой,
Сверкает золотой заплатой
Крыло на сером ветряке.

1903

КОВСЕРЬ

Мы дали тебе Ковсерь.
Коран

Здесь царство снов. На сотни верст безлюдны
Солончаков нагие берега.
Но воды в них — небесно-изумрудны,
А шелк песков белее, чем снега.

В шелках песков лишь сизые полыни
Растит аллах для кочевых отар,
Но небеса здесь несказанно сини,
И солнце в них — как адский огнь, Сакар.

И в знойный час, когда мираж зеркальный
Сольет весь мир в один великий сон,
В безбрежный блеск, за грань земли печальной,
В сады Джиннат уносит душу он.

А там течет, там льется за туманом
Река всех рек, лазурная Ковсерь,
И всей земле, всем племенам и странам
Сулит покой. Терпи, молись — и верь.

1903

* * *

Там, на припеке, спят рыбацкие ковши;
Там низко над водой склоняются кистями
Темно-зеленые густые камыши;
Полдневный ветерок змеистыми струями

Порой зашелестит в их потайной глуши,
Да чайка вдруг блеснет сребристыми крылами
С плаксивым возгласом тоскующей души —
И снова плавни спят, сияя зеркалами.

Над тонким их стеклом, где тонет небосвод,
Нередко облако восходит и глядится
Блистающим столбом в зеркальный сон болот —

И как светло тогда в бездонной чаше вод!
Как детски верится, что в бездне их таится
Какой-то дивный мир, что только в детстве снится!

1903

СКАЗКА

...И снилось мне, что мы, как в сказке,
Шли вдоль пустынных берегов
Над диким синим лукоморьем,
В глухом бору, среди песков.

Был летний светозарый полдень,
Был жаркий день, и озарен
Весь лес был солнцем, и от солнца
Веселым блеском напоен.

Узорами ложились тени
На теплый розовый песок,
И синий небосклон над бором
Был чист и радостно-высок.

Играл зеркальный отблеск моря
В вершинах сосен, и текла
Вдоль по коре, сухой и жесткой,
Смола, прозрачнее стекла...

Мне снилось северное море,
Лесов пустынные края...
Мне снилась даль, мне снилась сказка —
Мне снилась молодость моя.

В ГОРАХ

Катится диском золотым
Луна в провалы черной тучи,
И тает в ней, и льет сквозь дым
Свой блеск на каменные кручи.

Но погляди на небосклон:
Луна стоит, а дым мелькает...
Не Время в вечность убегает,
А нашей жизни бледный сон!

ЖАСМИН

Цветет жасмин. Зеленой чащей
Иду над Тереком с утра.
Вдали, меж гор, — пустой, блестящий
И четкий конус серебра.

Река шумит, вся в искрах света,
Жасмином пахнет жаркий лес.
А там, вверху, — зима и лето:
Январский снег и синь небес.

Лес замирает, млеет в зное;
Но тем пышней цветет жасмин.
В лазури яркой — неземное
Великолепие вершин..

Июнь 1904

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Свой дикий чум среди снегов и льда
Воздвигла Смерть. Над чумом — ночь полгода.
И бледная Полярная Звезда
Горит недвижно в бездне небосвода.

Вглядись в туманный призрак. Это Смерть.
Она сидит близ чума, устремила
Незрячий взор в полуночную твердь —
И навсегда Звезда над ней застыла.

1904

КОСОГОР

Косогор над разлужьем и пашни кругом,
    Потускневший закат, полумрак...
Далеко за извалами крест над холмом —
    Неподвижный ветряк.

Как печальна заря! И как долго она
    Тлеет в сонном просторе равнин!
Вот чуть внятная девичья песня слышна...
Вот заплакала лунь... И опять тишина...
    Ночь, безмолвная ночь. Я один.

Я один, а вокруг темнота и поля,
    И ни звука в просторе их нет...
Точно проклят тот край, тот народ, где земля
    Так пустынна уж тысячу лет!

ОКЕАНИДЫ

В полдневный зной, когда на щебень,
На валуны прибрежных скал,
Кипя, встает за гребнем гребень,
Крутясь, идет за валом вал, –

Когда изгиб прибоя блещет
Зеркально-вогнутой грядой
И в нем сияет и трепещет
От гребня отблеск золотой, —

Как весел ты, о буйный хохот,
Звенящий смех Океанид,
Под этот влажный шум и грохот
Летящих в пене на гранит!

Как звучно море под скалами
Дробит на солнце зеркала
И в пене, вместе с зеркалами,
Клубит их белые тела!

ПОД ВЕЧЕР

Угрюмо шмель гудит, толкаясь по стеклу...
В окно зарница глянула тревожно...
Притихший соловей в сирени на валу
Выводит трели осторожно.

Гром, проворчав в саду, скатился за гумно;
Но воздух меркнет, небо потухает...
А тополь тянется в открытое окно
И ладаном благоухает.

КЕЛЬЯ

День распогодился с закатом.
Сквозь стекла в старый кабинет
Льет солнце золотистый свет;
Широким палевым квадратом
Окно рисует на стене,
А в нем бессильно, как во сне,
Скользит трепещущим узором
Тень от березы над забором...
Как грустно на закате мне!

Зачем ты, солнце, на прощанье,
В своем сияньи золотом,
Вошло в мой одинокий дом?
Он пуст, в нем вечное молчанье!
Я был спокоен за трудом,
Я позабыл твое сиянье:
Зачем же думы о былом
И это грустное веселье
В давно безлюдной, тихой келье?

СТАТУЯ РАБЫНИ-ХРИСТИАНКИ

Не скрыть от дерзких взоров наготы,
Но навсегда я очи опустила:
Не жаль земной, мгновенной красоты, —
Я красоту небесную сокрыла.

ПРИЗРАКИ

Нет, мертвые не умерли для нас!
    Есть старое шотландское преданье,
Что тени их, незримые для глаз,
    В полночный час к нам ходят на свиданье,

Что пыльных арф, висящих на стенах,
    Таинственно касаются их руки
И пробуждают в дремлющих струнах
    Печальные и сладостные звуки.

Мы сказками предания зовем,
    Мы глухи днем, мы дня не понимаем;
Но в сумраке мы сказками живем
    И тишине доверчиво внимаем.

Мы в призраки не верим; но и нас
    Томит любовь, томит тоска разлуки...
Я им внимал, я слышал их не раз,
    Те грустные и сладостные звуки!

В МОСКВЕ

Здесь, в старых переулках за Арбатом,
Совсем особый город... Вот и март.
И холодно и низко в мезонине,
Немало крыс, но по ночам — чудесно.
Днем — ростепель, капели, греет солнце,
А ночью подморозит, станет чисто,
Светло — и так похоже на Москву,
Старинную, далекую. Усядусь,
Огня не зажигая, возле окон,
Облитых лунным светом, и смотрю
На сад, на звезды редкие... Как нежно
Весной ночное небо! Как спокойна
Луна весною! Теплятся, как свечи,
Кресты на древней церковке. Сквозь ветви
В глубоком небе ласково сияют,
Как золотые кованые шлемы,
Головки мелких куполов...

ЧУЖАЯ

Ты чужая, но любишь,
  Любишь только меня.
Ты меня не забудешь
  До последнего дня.

Ты покорно и скромно
  Шла за ним от венца.
Но лицо ты склонила —
  Он не видел лица.

Ты с ним женщиной стала,
  Но не девушка ль ты?
Сколько в каждом движеньи
  Простоты, красоты!

Будут снова измены...
  Но один только раз
Так застенчиво светит
  Нежность любящих глаз.

Ты и скрыть не умеешь,
  Что ему ты чужда...
Ты меня не забудешь
  Никогда, никогда!

НЕВОЛЬНИК

Песок, сребристый и горячий,
Вожу я к морю на волах,
Чтоб усыпать дорожки к даче,
Как снег белеющей в скалах.

И скучно мне. Все то же, то же:
Волы, скрипучий трудный путь,
Иссохшее речное ложе,
Песок, сверкающий как ртуть.

И клонит голову дремота.
И мнится, что уж много лет

Я вижу кожу бегемота —
Горы морщинистый хребет,

И моря синий треугольник,
И к морю длинный след колес...
Я покорился. Я, невольник,
Живу лишь сонным ядом грез.

МИСТИКУ

В холодный зал, луною освещенный,
Ребенком я вошел.
Тенями рам старинных испещренный,
Блестел вощеный пол.

Как в алтаре, высоки окна были,
А там, в саду, — луна,
И белый снег, и в пудре снежной пыли —
Столетняя сосна.

И в страхе я в дверях остановился:
Как в алтаре,
По залу ладан сумрака дымился,
Сквозя на серебре.

Но взгляд упал на небо: небо ясно,
Луна чиста, светла —
И страх исчез... Как часто, как напрасно
Детей пугает мгла!

Теперь давно мистического храма
Мне жалок темный бред:
Когда идешь над бездной — надо прямо
Смотреть в лазурь и свет.

ДЕТСТВО

Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!

Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок — как шелк... Прильну к сосне корявой
И чувствую: мне только десять лет,
А ствол — гигант, тяжелый, величавый.

Кора груба, морщиниста, красна,
Но так тепла, так солнцем вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного света.

НА ОБВАЛЕ

Печальный берег! Сизые твердыни
Гранитных стен до облака встают,
А ниже — хаос каменной пустыни,
Лавина щебня, дьявола приют.

Но нищета смиренна. Одиноко.
Она ушла на берег — и к скале
Прилипла сакля... Верный раб Пророка
Довольствуется малым на земле.

И вот — жилье. Над хижиной убогой
Дымок синеет... Прыгает коза...
И со скалы, нависшей над дорогой,
Блестят агатом детские глаза.

ПАХАРЬ

Легко и бледно небо голубое,
Поля в весенней дымке. Влажный пар
Взрезаю я — и лезут на подвои
Пласты земли, бесценный божий дар.

По борозде спеша за сошниками,
Я оставляю мягкие следы, —
Так хорошо разутыми ногами
Ступать на бархат теплой борозды!

В лилово-синем море чернозема
Затерян я. И далеко за мной,
Где тусклый блеск лежит на кровле дома,
Струится первый зной.

РЕЧКА

Светло, легко и своенравно
Она блестит среди болот
И к старым мельницам так плавно
Несет стекло весенних вод.

Несет — и знать себе не хочет,
Что там, над омутом в лесу,
Безумно Водяной грохочет,
Стремглав летя по колесу, —

Пылит на мельницах помолом,
Трясет и жернов и привод —
И, падая, в бреду тяжелом
Кружит седой водоворот.

ДОННИК

Брат, в запыленных сапогах,
Швырнул ко мне на подоконник
Цветок, растущий на парах,
Цветок засу́хи — желтый донник.

Я встал от книг и в степь пошел...
Ну да, все поле — золотое,
И отовсюду точки пчел
Плывут в сухом вечернем зное.

Толчется сеткой мошкара,
Шафранный свет над полем реет —
И, значит, завтра вновь жара
И вновь сухмень. А хлеб уж зреет.

Да, зреет и грозит нуждой,
Быть может, голодом... И все же
Мне этот донник золотой
На миг всего, всего дороже!

РОЗЫ

Блистая, облака лепились
В лазури пламенного дня.
Две розы под окном раскрылись —
Две чаши, полные огня.

В окно, в прохладный сумрак дома,
Глядел зеленый знойный сад,
И сена душная истома
Струила сладкий аромат.

Порою, звучный и тяжелый,
Высоко в небе грохотал
Громовый гул... Но пели пчелы,
Звенели мухи — день сиял.

Порою шумно пробегали
Потоки ливней голубых...
Но солнце и лазурь мигали
В зеркально-зыбком блеске их —

И день сиял, и млели розы,
Головки томные клоня,
И улыбалися сквозь слезы
Очами, полными огня.

У ШАЛАША

Распали костер, сумей
Разозлить его блестящих,
Убегающих, свистящих,
Золотых и синих змей!

Ночь из тьмы пустого сада
Дышит холодом прудов,
Прелых листьев и плодов —
Ароматом листопада.

Здесь же яркий зной и свет.
Тени пляшут по аллеям,
И бегущим жарким змеям,
Их затеям — счета нет!

ГОРЕ

Меркнет свет в небесах.
Скачет князь мелколесьем, по топям, где сохнет осока.
Реют сумерки в черных еловых лесах,
А по елкам мелькает, сверкает — сорока.

Станет князь, поглядит:
Нет сороки! Но сердце недоброе чует.
Снова скачет — и снова сорока летит,
Перелесьем кочует.

Болен сын... Верно, хуже ему...
Погубили дитя перехожие старцы калики!
Ночь подходит... И что-то теперь в терему?
Скачет князь — и все слышит он женские крики.

А в лесу все темней,
А уж конь устает... Поспешай, — недалеко!
Вон и терем... Но что это? Сколько огней!
— Нагадала сорока.

С ОСТРОГОЙ

Костер трещит. В фелюке свет и жар.
В воде стоят и серебрятся щуки,
Белеет дно... Бери трезубец в руки
И не спеши. Удар! Еще удар!

Но поздно. Страсть — как сладостный кошмар,
Но сил уж нет, противны кровь и муки...
Гаси, гаси — вали с борта фелюки
Костер в Лиман... И чад, и дым, и пар!

Теперь легко, прохладно. Выступают
Туманные созвездья в полутьме.
Волна качает, рыбы засыпают...
И вверх лицом ложусь я на корме.

Плыть — до зари, но в море путь не скучен.
Я задремлю под ровный стук уключин.

ДЮНЫ

За сизыми дюнами — северный тусклый туман.
За сизыми дюнами — серая даль океана.
На зыби холодной, у берега — черный баклан,
На зыби маячит высокая шейка баклана.

За сизыми дюнами — север. Вдали иногда
Проходят, как тени, норвежские старые шхуны —
И снова все пусто. Холодное небо, вода,
Туман синеватый и дюны.

ДАГЕСТАН

Насторожись, стань крепче в стремена.
В ущелье мрак, шумящие каскады.
И до небес скалистые громады
Встают в конце ущелья — как стена.

Над их челом — далеких звезд алмазы.
А на груди, в зловещей темноте,
Лежит аул: дракон тысячеглазый
Гнездится в высоте.

ХАЯ-БАШ

(Мертвая голова)

Ночь идет — молись, слуга Пророка.
Ночь идет — и Хая-Баш встает.
Ветер с гор, он крепнет — и широко,
Как сааз, туманный бор поет.

Ты уже высоко, — от аула
Ты уже далеко. А в бору
Зимней стужей с Хая-Баш пахнуло,
Задымились сосны на ветру.

Вас у перевала только двое —
Ты да конь. А бор померк, дымит.
Звонкий ветер в крепкой синей хвое
Все звончей и сумрачней шумит.

Где ты заночуешь? Зябнет тело,
Зябнет сердце... Конь не пил с утра...
Видишь ли сквозь сосны? Побелела
Хая-Баш, гранитная гора.

Там нависло небо низко, низко,
Там снега и зимняя тоска...
А уж если своды неба близко —
Значит, смерть близка.

ПЕСНЯ

Я — простая девка на баштане,
Он — рыбак, веселый человек.
Тонет белый парус на Лимане,
Много видел он морей и рек.

Говорят, гречанки на Босфоре
Хороши... А я черна, худа.

Утопает белый парус в море —
Может, не вернется никогда!

Буду ждать в погоду, в непогоду...
Не дождусь — с баштана разочтусь,
Выйду к морю, брошу перстень в воду
И косою черной удавлюсь.

ОДИНОЧЕСТВО

И ветер, и дождик, и мгла
  Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
  До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.

Вчера ты была у меня,
  Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
  Ты мне стала казаться женой...
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один — без жены...

Сегодня идут без конца
  Те же тучи — гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
  Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:
  «Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
  Разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

ПЕЧАЛЬ

На диких ска́лах, среди развалин —
Рать кипарисов. Она гудит
Под ветром с моря. Угрюм, печален
Пустынный остров, нагой гранит.

Уж берег темен — заходят тучи.
Как крылья чаек, среди камней
Мелькает пена. Прибой все круче,
Порывы ветра все холодней.

И кто-то скорбный, в одежде темной,
Стоит над морем... Вдали — печаль
И сумрак ночи...

КАМЕННАЯ БАБА

От зноя травы сухи и мертвы.
Степь — без границ, но даль синеет слабо.
Вот остов лошадиной головы.
Вот снова — Каменная Баба.

Как сонны эти плоские черты!
Как первобытно-грубо это тело!
Но я стою, боюсь тебя... А ты
Мне улыбаешься несмело.

О, дикое исчадье древней тьмы!
Не ты ль когда-то было громовержцем?
— Не бог, не бог нас создал. Это мы
Богов творили рабским сердцем.

САПСАН

В полях, далеко от усадьбы,
Зимует просяной омет.
Там табунятся волчьи свадьбы,
Там клочья шерсти и помет.

Воловьи ребра у дороги
Торчат в снегу — и спал на них
Сапсан, стервятник космоногий,
Готовый взвиться каждый миг.

Я застрелил его. А это
Грозит бедой. И вот ко мне
Стал гость ходить. Он до рассвета
Вкруг дома бродит при луне.
Я не видал его. Я слышал
Лишь хруст шагов. Но спать невмочь.
На третью ночь я в поле вышел...
О, как была печальна ночь!

Когтистый след в снегу глубоком
В глухие степи вел с гумна.
На небе мглистом и высоком
Плыла холодная луна.
За валом, над привадой в яме,
Серо́ маячила ветла.
Даль над пустынными полями
Была таинственно-светла.

Облитый этим странным светом,
Подавлен мертвой тишиной,
Я стал — и бледным силуэтом
Упала тень моя за мной.
По небесам, в туманной мути,
Сияя, лунный лик нырял
И серебристым блеском ртути
Слюду по насту озарял.

Кто был он, этот полуночный
Незримый гость? Откуда он
Ко мне приходит в час урочный
Через сугробы под балкон?
Иль он узнал, что я тоскую,
Что я один? Что в дом ко мне
Лишь снег да небо в ночь немую
Глядят из сада при луне?

Быть может, он сегодня слышал,
Как я, покинув кабинет,

По темной спальне в залу вышел,
Где в сумраке мерцал паркет,
Где в окнах небеса синели,
А в этой сини четко встал
Черно-зеленый конус ели
И острый Сириус блистал?

Теперь луна была в зените,
На небе плыл густой туман...
Я ждал его, — я шел к раките
По насту снеговых полян;
И если б враг мой от привады
Внезапно прянул на сугроб,
Я б из винтовки без пощады
Пробил его широкий лоб.

Но он не шел. Луна скрывалась,
Луна сияла сквозь туман,
Бежала мгла... И мне казалось,
Что на снегу сидит Сапсан.
Морозный иней, как алмазы,
Сверкал на нем, а он дремал,
Седой, зобастый, круглоглазый,
И в крылья голову вжимал.

И был он страшен, непонятен,
Таинственен, как этот бег
Туманной мглы и светлых пятен,
Порою озарявших снег, —
Как воплотившаяся сила
Той Воли, что в полночный час
Нас страхом всех соединила —
И сделала врагами нас.

9 I 1905

РУССКАЯ ВЕСНА

Скучно в лощинах березам, —
Туманная муть на полях.
Конским размокшим навозом
В тумане чернеется шлях.

В сонной степной деревушке
Пахучие хлебы пекут.
Медленно две побирушки
По деревушке бредут.

Там, среди улицы, лужи,
Зола и весенняя грязь,
В избах угар, а снаружи
Завалинки тлеют, дымясь.

Жмурясь, сидит у амбара
Овчарка на ржавой цепи.
В избах — темно от угара,
Туманно и тихо — в степи.

Только петух беззаботно
Весну воспевает весь день.
В поле тепло и дремотно,
А в сердце счастливая лень.

10 I 1905

ПОРТРЕТ

Погост, часовенка над склепом,
Венки, лампадки, образа
И в раме, перевитой крепом, —
Большие ясные глаза.

Сквозь пыль на стеклах жарким светом
Внутри часовенка горит.
«Зачем я в склепе, в полдень, летом?» —
Незримый кто-то говорит.

Кокетливо-проста прическа
И пелеринка на плечах...
А тут повсюду — капли воска
И банты крепа на свечах,

Венки, лампадки, пахнет тленьем...
И только этот милый взор
Глядит с веселым изумленьем
На этот погребальный вздор.

Март 1905 (?)

* * *

Старик сидел, покорно и уныло
Поднявши брови, в кресле у окна.
На столике, где чашка чаю стыла,
Сигара нагоревшая струила
Полоски голубого волокна.

Был зимний день, и на лицо худое,
Сквозь этот легкий и душистый дым,
Смотрело солнце вечно молодое,
Но уж его сиянье золотое
На запад шло по комнатам пустым.

Часы в углу своею четкой мерой
Отмеривали время... На закат
Смотрел старик с беспомощною верой...
Рос на сигаре пепел серый,
Струился сладковатый аромат.

1905

* * *

В лесу, в горе родник, живой и звонкий,
Над родником старинный голубец
С лубочной почерневшею иконкой,
А в роднике березовый корец.

Я не люблю, о Русь, твоей несмелой,
Тысячелетней, рабской нищеты.
Но этот крест, но этот ковшик белый...
Смиренные, родимые черты!

1905

* * *

Мы встретились случайно, на углу.
Я быстро шел — и вдруг как свет зарницы
Вечернюю прорезал полумглу
Сквозь черные лучистые ресницы.

На ней был креп, — прозрачный легкий газ
Весенний ветер взвеял на мгновенье,
Но на лице и в ярком свете глаз
Я уловил былое оживленье.

И ласково кивнула мне она,
Слегка лицо от ветра наклонила
И скрылась за углом... Была весна...
Она меня простила — и забыла.

1905

* * *

Густой зеленый ельник у дороги,
Глубокие пушистые снега.
В них шел олень, могучий, тонконогий,
К спине откинув тяжкие рога.

Вот след его. Здесь натоптал тропинок,
Здесь елку гнул и белым зубом скреб —
И много хвойных крестиков, остинок
Осыпалось с макушки на сугроб.

Вот снова след, размеренный и редкий,
И вдруг — прыжок! И далеко в лугу
Теряется собачий гон — и ветки,
Обитые рогами на бегу...

О, как легко он уходил долиной!
Как бешено, в избытке свежих сил,
В стремительности радостно-звериной
Он красоту от смерти уносил!

1905

* * *

Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темном:
В черном узоре ветвей — месяца рог золотой.

Слышу: поют петухи. Узнаю по напевам печальным
Поздний, таинственный час. Выйду на снег,
на крыльцо.

Замерло все и застыло, лучатся жестокие звезды,
Но до костей я готов в легком промерзнуть меху,

Только бы видеть тебя, умирающий в золоте месяц,
Золотом блещущий снег, легкие тени берез

И самоцветы небес: янтарно-зеленый Юпитер,
Сириус, дерзкий сапфир, синим горящий огнем,

Альдебарана рубин, алмазную цепь Ориона
И уходящий в моря призрак сребристый — Арго.

1905

* * *

Все море — как жемчужное зерцало,
Сирень с отливом млечно-золотым.
В дожде закатном радуга сияла.
Теперь душист над саклей тонкий дым!

Вон чайка села в бухточке скалистой,
Как поплавок. Взлетает иногда —
И видно, как струею серебристой
Сбегает с лапок розовых вода.

У берегов в воде застыли скалы,
Под ними светит жидкий изумруд,
А там, вдали, и жемчуг и опалы
По золотистым яхонтам текут.

1905

ОГОНЬ НА МАЧТЕ

И сладостно и грустно видеть ночью
На корабле далеком в темном море
В ночь уходящий топовый огонь.
Когда все спит на даче и сквозь сумрак
Одни лишь звезды светятся, я часто
Сижу на старой каменной скамейке,
Над скалами обрыва. Ночь тепла
И так темно, так тихо все, как будто
Нет ни земли, ни неба — только мягкий
Глубокий мрак. И вот вдали, во мраке,
Идет огонь — как свечечка. Ни звука
Не слышно на прибрежье, — лишь сверчки
Звенят в горе чуть уловимым звоном,
Будя в душе задумчивую нежность,
А он уходит в ночь и одиноко
Висит на горизонте, в темной бездне
Меж небом и землею... Пойте, пойте,
Сверчки, мои товарищи ночные,
Баюкайте мою ночную грусть!

1905

СТАМБУЛ

Облезлые худые кобели
С печальными, молящими глазами —
Потомки тех, что из степей пришли
За пыльными скрипучими возами.

Был победитель славен и богат
И затопил он шумною ордою
Твои дворцы, твои сады, Царьград,
И предался, как сытый лев, покою.

Но дни летят, летят быстрее птиц!
И вот уже в Скутари на погосте
Чернеет лес, и тысячи гробниц
Белеют в кипарисах, точно кости.

И прах веков упал на прах святынь,
На славный город, ныне полудикий,
И вой собак звучит тоской пустынь
Под византийской ветхой базиликой.

И пуст Сераль, и смолк его фонтан,
И высохли столетние деревья...
Стамбул, Стамбул! Последний мертвый стан
Последнего великого кочевья!

1905

ГРОБНИЦА САФИИ

Горный ключ по скатам и оврагам,
Полусонный, убегает вниз.
Как чернец, над белым саркофагом
В синем небе замер кипарис.

Нежные, как девушки, мимозы
Льют под ним узор своих ветвей,
И цветут, благоухают розы
На кустах, где плачет соловей.

Ниже — дикий берег и туманный,
Еле уловимый горизонт:
Там простор воздушный и безгранный,
Голубая бездна — Геллеспонт.

Мир тебе, о юная! Смиренно
Я целую белое тюрбе:
Пять веков бессмертна и нетленна
На Востоке память о тебе.

Счастлив тот, кто жизнью мир пленяет.
Но стократ счастливей тот, чей прах
Веру в жизнь бессмертную вселяет
И цветет легендами в веках!

ЗЕЛЕНЫЙ СТЯГ

Ты почиешь в ларце, в драгоценном ковчеге,
Ветхий деньми, Эски,
Ты, сзывавший на брань и святые набеги
Чрез моря и пески.

Ты уснул, но твой сон — золотые виденья.
Ты сквозь сорок шелков
Дышишь запахом роз и дыханием тленья —
Ароматом веков.

Ты покоишься в мире, о слава Востока!
Но сердца покорил
Ты навек. Не тебя ль над главою Пророка
Воздвигал Гавриил?

И не ты ли царишь над Востоком доныне?
Развернися, восстань —
И восстанет Ислам, как самумы пустыни,
На священную брань!

Проклят тот, кто велений Корана не слышит.
Проклят тот, кто угас
Для молитвы и битв, — кто для жизни не дышит,
Как бесплодный Геджас.

Ангел Смерти сойдет в гробовые пещеры,
Ангел Смерти сквозь тьму
Вопрошает у мертвых их символы веры:
Что́ мы скажем ему?

ЗА ИЗМЕНУ

Вспомни тех, что покинули страну
свою ради страха смерти.

Коран

Их господь истребил за измену несчастной отчизне,
Он костями их тел, черепами усеял поля.
Воскресил их Пророк: он просил им у господа жизни.
Но позора земли никогда не прощает Земля.

Две легенды о них прочитал я в легендах Востока.
Милосерда одна: воскрешенные пали в бою.
Но другая жестока: до гроба, по слову Пророка,
Воскрешенные жили в пустынном и диком краю.

В день восстанья из мертвых одежды их черными стали,
В знак того, что на них — замогильного тления след,
И до гроба их лица, склоненные долу в печали,
Сохранили свинцовый, холодный, безжизненный цвет.

АЙЯ-СОФИЯ

Светильники горели, непонятный
Звучал язык — Великий Шейх читал
Святой Коран, — и купол необъятный
В угрюмом мраке пропадал.

Кривую саблю вскинув над толпою,
Шейх поднял лик, закрыл глаза — и страх
Царил в толпе, и мертвою, слепою
Она лежала на коврах...

А утром храм был светел. Все молчало
В смиренной и священной тишине,
И солнце ярко купол озаряло
В непостижимой вышине.

И голуби в нем, рея, ворковали,
И с вышины, из каждого окна,
Простор небес и воздух сладко звали
К тебе, Любовь, к тебе, Весна!

К ВОСТОКУ

Вот и скрылись, позабылись снежных гор чалмы.
Зной пустыни, путь к востоку, мертвые холмы.

Каменистый, красно-серый, мутный океан
На восток уходит, в знойный, в голубой туман.

И все жарче, шире веет из степей теплынь,
И все суше, слаще пахнет горькая полынь.

И холмы все безнадежней. Глина, роговик...
День тут светел, бесконечен, вечер синь и дик.

И едва стемнеет, смеркнет, где-то между скал,
Как дитя, как джин пустыни, плачется шакал,

И на мягких крыльях совки трепетно парят,
И на тусклом небе звезды сумрачно горят.

МУДРЫМ

Герой — как вихрь, срывающий палатки,
Герой врагу безумный дал отпор,
Но сам погиб — сгорел в неравной схватке,
Как искрометный метеор.

А трус — живет. Он тоже месть лелеет,
Он точит меткий дротик, но тайком.
О да, он — мудр! Но сердце в нем чуть тлеет:
Как огонек под кизяком.

ЗЕЙНАБ

Зéйнаб, свежесть очей! Ты — арабский кувшин:
Чем душнее в палатках пустыни,
Чем стремительней дует палящий хамсин,
Тем вода холоднее в кувшине.

Зéйнаб, свежесть очей! Ты строга и горда:
Чем безумнее любишь — тем строже.
Но сладка, о, сладка ледяная вода,
А для путника — жизни дороже!

* * *

Огромный, красный, старый пароход
У мола стал, вернувшись из Сиднея.
Белеет мол, и, радостно синея,
Безоблачный сияет небосвод.

В тиши, в тепле, на солнце, в изумрудной
Сквозной воде, склонясь на левый борт,
Гигант уснул. И спит пахучий порт,
Спят грузчики. Белеет мол безлюдный.

В воде прозрачной виден узкий киль,
Весь в ракушках. Их слой зелено-ржавый
Нарос давно... У Суматры, у Явы,
В Великом океане... в зной и штиль.

Мальчишка негр в турецкой грязной феске
Висит в бадье, по борту, красит бак —
И от воды на свежий красный лак
Зеркальные восходят арабески.

И лак блестит под черною рукой,
Слепит глаза... И мальчик-обезьяна
Сквозь сон поет... Простой напев Судана
Звучит в тиши всем чуждою тоской.

1906

* * *

Геймдаль искал родник божественный.
Геймдаль, ты мудрости алкал —
И вот настал твой час торжественный
В лесах, среди гранитных скал.

Они молчат, леса полночные,
Ручьи, журча, едва текут,
И звезды поздние, восточные
Их вещий говор стерегут.

И шлем ты снял — и холод счастия
По волосам твоим прошел:
Миг обрученья, миг причастия,
Как смерть, был сладок и тяжел.

Теперь ты мудр. Ты жаждешь знания —
И все забыл. Велик и прост,
Ты слышишь мхов произрастание
И дрожь земли при свете звезд.

1906

* * *

«Мимо острова в полночь фрегат проходил:
Слева месяц над морем светил,
Справа остров темнел — пропадали вдали
Дюны скудной родимой земли.

Старый дом рыбака голубою стеной
Там мерцал над кипящей волной.
Но в заветном окне не видал я огня:
Ты забыла, забыла меня!» —

«Мимо острова в полночь фрегат проходил:
Поздний месяц над морем светил,
Золотая текла по волнам полоса
И как в сказке неслись паруса.

Лебединою грудью белели они,
И мерцали на мачтах огни.
Но в светлице своей не зажгла я огня:
Ты забудешь, забудешь меня!»

1906

ЧИБИСЫ

Заплакали чибисы, тонко и ярко
Весенняя светится синь,
Обвяла дорога, где солнце — там жарко,
Сереет и сохнет полынь.

На серых полях — голубые озера,
    На пашнях — лиловая грязь.
И чибисы плачут — от света, простора,
    От счастья — плакать, смеясь.

13 IV 1906

* * *

Растет, растет могильная трава,
Зеленая, веселая, живая,
Омыла плиты влага дождевая
И мох покрыл ненужные слова.

По вечерам заплакала сова,
К моей душе забывчивой взывая,
И старый склеп, руина гробовая,
Таит укор... Но ты, земля, права!

Как нежны на алеющем закате
Кремли далеких синих облаков!
Как вырезаны крылья ветряков
За темною долиною на скате!

Земля, земля! Весенний сладкий зов!
Ужель есть счастье даже и в утрате?

1906

КУПАЛЬЩИЦА

Смугла, ланиты побледнели,
И потемнел лучистый взгляд.
На молодом холодном теле
Струится шелковый наряд.

Залив опаловою гладью
В дали сияющей разлит.
И легкий ветер смольной прядью
Ее волос чуть шевелит.

И млеет знойно-голубое
Подобье гор — далекий Крым.
И горяча тропа на зное
По виноградникам сухим.

1906

* * *

Люблю цветные стекла окон
И сумрак от столетних лип,
Звенящей люстры серый кокон
И половиц прогнивших скрип.

Люблю неясный винный запах
Из шифоньерок и от книг
В стеклянных невысоких шкапах,
Где рядом Сю и Патерик.

Люблю их синие странички,
Их четкий шрифт, простой набор,
И серебро икон в божничке,
И в горке матовый фарфор,

И вас, и вас, дагерротипы,
Черты давно поблекших лиц,
И сумрак от столетней липы,
И скрип прогнивших половиц.

1906

ПЕТРОВ ДЕНЬ

Девушки-русалочки,
Нынче наш последний день!
Свет за лесом занимается,
Побледнели небеса,
Собираются с дубинами
Мужики из деревень
На опушку, к морю сизому
Холодного овса...

Мы из речки — на долину,
Из долины — по отвесу,
По березовому лесу —
На равнину,
На восток, на ранний свет,
На серебряный рассвет,
На овсы,
Вдоль по жемчугу
По сизому росы!

Девушки-русалочки,
Звонко стало по лугам.
Забелела речка в сумраке,
В алеющем пару,
Пнями пахнет лес березовый
По откосам, берегам, —
Густ и зелен он, кудрявый,
Поутру...

Поутру вода тепла,
Холодна трава седая,
Вся медовая, густая,
Да идут на нас с дрекольем из села.
Что ж! Мы стаей на откосы,
На опушку — из берез,
На бегу растреплем косы,
Упадем с разбега в росы
И до слез
Щекотать друг друга будем,
Хохотать и, на́зло людям,
Мять овес!

Девушки-русалочки,
Стойте, поглядите на рассвет:
Бел-восток алеет, ширится, —
Широко зарей в полях,
Ни души-то нету, милые,
Только ранний алый свет
Да холодный крупный жемчуг
На стеблях...

Мы, нагие,
Всем чужие,
На опушке, на поляне,
Бледны, пó пояс в пару, —
Нам пора, сестрицы, к няне,
Ко двору!
Жарко в небе солнце божье
На Петров играет день,
До Ильи сулит бездождье,
Пыль, сухмень —
Будут знойные зарницы
Зáрить хлеб,
Будет омут наш, сестрицы,
Темен, слеп!

1906

ВАЛЬС

Похолодели лепестки
Раскрытых губ, по-детски влажных, —
И зал плывет, плывет в протяжных
Напевах счастья и тоски.

Сиянье люстр и зыбь зеркал
Слились в один мираж хрустальный —
И веет, веет ветер бальный
Теплом душистых опахал.

1906

* * *

Ограда, крест, зеленая могила,
Роса, простор и тишина полей. . .
— Благоухай, звенящее кадило,
Дыханием рубиновых углей!

Сегодня год. Последние напевы,
Последний вздох, последний фимиам. . .
— Цветите, зрейте, новые посевы,
Для нóвых жатв! Придет черед и вам.

1906

ДЖОРДАНО БРУНО

«Ковчег под предводительством осла —
Вот мир людей. Живите во Вселенной.
Земля — вертеп обмана, лжи и зла.
Живите красотою неизменной.

Ты, мать-земля, душе моей близка —
И далека. Люблю я смех и радость,
Но в радости моей — всегда тоска,
В тоске всегда — таинственная сладость!»

И вот он посох странника берет:
Простите, келий сумрачные своды!
Его душа, всем чуждая, живет
Теперь одним: дыханием свободы.

«Вы все рабы. Царь вашей веры — Зверь:
Я свергну трон слепой и мрачной веры.
Вы в капище: я распахну вам дверь
На блеск и свет, в лазурь и бездну Сферы

Ни бездне бездн, ни жизни грани нет.
Мы остановим солнце Птоломея —
И вихрь миров, несметный сонм планет,
Пред нами развернется, пламенея!»

И он дерзнул на все — вплоть до небес.
Но разрушенье — жажда созиданья,
И, разрушая, жаждал он чудес —
Божественной гармонии Созданья.

Глаза сияют, дерзкая мечта
В мир откровений радостных уносит.
Лишь в истине — и цель и красота.
Но тем сильнее сердце жизни просит.

«Ты, девочка! ты, с ангельским лицом,
Поющая над старой звонкой лютней!
Я мог твоим быть другом и отцом...
Но я один. Нет в мире бесприютней!

Высоко нес я стяг своей любви.
Но есть другие радости, другие:
Оледенив желания свои,
Я только твой, познание — софия!»

И вот опять он странник. И опять
Глядит он вдаль. Глаза блестят, но строго
Его лицо. Враги, вам не понять,
Что бог есть Свет. И он умрет за бога.

«Мир — бездна бездн. И каждый атом в нем
Проникнут богом — жизнью, красотою.
Живя и умирая, мы живем
Единою, всемирною Душою.

Ты, с лютнею! Мечты твоих очей
Не эту ль Жизнь и Радость отражали?
Ты, солнце! вы, созвездия ночей!
Вы только этой Радостью дышали».

И маленький тревожный человек
С блестящим взглядом, ярким и холодным,
Идет в огонь. «*Умерший в рабский век*
Бессмертием венчается — в свободном!

Я умираю — ибо так хочу.
Развей, палач, развей мой прах, презренный!
Привет Вселенной, Солнцу! Палачу! —
Он мысль мою развеет по Вселенной!»

САТУРН

Рассеянные огненные зерна
Произрастают в мире без конца.
При виде звезд душа на миг покорна:
Непостижим и вечен труд творца.

Но к полночи восходит на востоке
Мертвец Сатурн — и блещет, как свинец...
Воистину зловещи и жестоки
Твои дела, творец!

ПУГАЧ

Он сел в глуши, в шатре столетней ели.
На яркий свет, сквозь ветви и сучки,
С безумным удивлением глядели
Сверкающие золотом зрачки.

Я выстрелил. Он вздрогнул — и бесшумно
Сорвался вниз, на мох корней витых.
Но и во мху блестят, глядят безумно
Круги зрачков лучисто-золотых.

Раскинулись изломанные крылья,
Но хищный взгляд все так же дик и зол.
И сталь когтей с отчаяньем бессилья
Вонзается в ружейный скользкий ствол.

ПУГАЛО

На за́дворках, за ригами
Богатых мужиков,
Стоит оно, роди́мое,
Одиннадцать веков.

Под шапкою лохматою —
Дубинка-голова.
Крестом по ветру треплются
Пустые рукава.

Старновкой — чистым золотом! —
Набит его чекмень,
На зависть на великую
Соседних деревень...

Он, огород-то, выпахан, —
Уж есть и лебеда,
И глинка означается, —
Да это не беда!

Не много дел и пугалу...
Да разве огород
Такое уж сокровище? —
Пугался бы народ!

1907

РЫБАЛКА

Вода за холодные серые дни в октябре
На отмелях спала — прозрачная стала и чистая.
В песке обнаженном оттиснулась лапка лучистая:
Рыбалка сидела на утренней ранней заре.

В болоте лесном, под высоким коричневым шпажником,
Где цепкая тина с листвою купав сплетена,
Все лето жила, тосковала о дру́жке она,
О дру́жке, убитой заезжим охотником-бражником.

Зарею она улетела на дальний Дунай —
И горе забудет. Но жизнь дорожит и рыбалкою:
Ей надо помучить кого-нибудь песенкой жалкою —
И Груня жалкует, поет... Вспоминай, вспоминай!

1907

НОВЫЙ ХРАМ

По алтарям, пустым и белым,
Весенний ветер дул на нас,
И кто-то сверху капал мелом
На золотой иконостас.

И звучный гул бродил в колоннах,
Среди лесов. И по лесам
Мы шли в широких балахонах,
С кистями, в купол, к небесам.

И часто, вместе с малярами,
Там пели песни. И Христа,
Что слушал нас в веселом храме,
Мы написали неспроста.

Нам все казалось, что под эти
Простые песни вспомнит он
Порог на солнце в Назарете,
Верстак и кубовый хитон.

1907

НА ПЛЮЩИХЕ

Пол навощен, блестит паркетом.
Столовая озарена
Полуденным горячим светом.
Спит кот на солнце у окна;
Мурлыкает и томно щурит
Янтарь зрачков, как леопард,
А бабушка — в качалке, курит
И думает: «Итак, уж март!
А там и праздники, и лето,
И снова осень...» Вдруг в окно
Влетело что-то, вдоль буфета
Мелькнуло светлое пятно,
Зажглось, блеснув, в паркетном воске —
И вновь исчезло... Что за шут?
А! это улицей подростки,
Как солнце, зеркало несут.
И снова думы: «Оглянуться
Не успеваешь — года нет...»
А в окна, сквозь гардины, льются
Столбы лучей, горячий свет,
И дым, ленивою куделью
Сливаясь с светлой полосой,
Синеет, тает... как за елью
В далекой просеке, весной.

1907

КОШКА

Кошка в крапиве за домом жила.
Дом обветшалый молчал, как могила.
Кошка в него по ночам приходила
И замирала напротив стола.

Стол обращен к образам — позабыли,
Стол как стоял, так остался. В углу
Каплями воск затвердел на полу —
Это горевшие свечи оплыли.

Помнишь? Лежит старичок-холостяк:
Кротко закрыты ресницы — и кротко
В черненький галстук воткнулась бородка...
Свечи пылают, дрожит нависающий мрак...

Темен теперь этот дом по ночам.
Кошка приходит и светит глазами.
Угол мерцает во тьме образами.
Ветер шумит по печам.

1907

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

На севере есть розовые мхи,
Есть серебристо-шелковые дюны...
Но темных сосен звонкие верхи
Поют, поют над морем, точно струны.

Послушай их. Стань, прислонись к сосне:
Сквозь грозный шум ты слышишь ли их нежность?
Но и она — в певучем полусне...
На севере отрадна безнадежность.

1907

ХРАМ СОЛНЦА

Шесть золотистых мраморных колонн,
Безбрежная зеленая долина,
Ливан в снегу и неба синий склон.

Я видел Нил и Сфинкса-исполина,
Я видел пирамиды: ты сильней,
Прекрасней, допотопная руина!

Там глыбы желто-пепельных камней,
Забытые могилы в океане
Нагих песков. Здесь радость юных дней.

Патриархально-царственные ткани —
Снегов и скал продольные ряды —
Лежат, как пестрый талес на Ливане.

Под ним луга, зеленые сады
И сладостный, как горная прохлада,
Шум быстрой малахитовой воды.

Под ним стоянка первого номада.
И пусть она забвенна и пуста:
Бессмертным солнцем светит колоннада.

В блаженный мир ведут ее врата.

6 V 1907
Баальбек

С КОРАБЛЯ

Для жизни жизнь! Вон пенные буруны
У сизых каменистых берегов.
Вон красный киль давно разбитой шкуны...
Но кто жалеет мертвых рыбаков?

В сыром песке на солнце сохнут кости...
Но радость неба, свет и бирюза,
Еще свежей при утреннем норд-осте —
И блеск костей лишь радует глаза.

1907

ДИКАРЬ

Над стремью скал — чернеющий орел.
За стремью — синь, туманное поморье.
Он как во сне к своей добыче шел
На этом поднебесном плоскогорье.

С отвесных скал летели вниз кусты,
Но дерзость их безумца не страшила:
Ему хотелось большей высоты —
И бездна смерти бездну довершила.

Ты знаешь, как глубоко в синеву
Уходит гриф, ужаленный стрелою?
И он напряг тугую тетиву —
И зашумели крылья над скалою,

И потонул в бездонном небе гриф,
И кровь, звездой упавшую оттуда
На берега, на известковый риф,
Смыл океан волною изумруда.

1907

ОБВАЛ

В степи, с обрыва, на сто миль
Морская ширь открыта взорам.
Внизу, в стремнине — глина, пыль,
Щепа и кости с мелким сором.

Гудели ночью тополя,
В дремоте море бушевало —
Вдруг тяжко охнула земля,
Весь берег дрогнул от обвала!

Сегодня там стоят, глядят
И алой, белой павиликой
На солнце зонтики блестят
Над бездной пенистой и дикой.

Никто не знал, что здесь — погост,
Да и теперь — кому он нужен!
Весенний ветер свеж и прост,
Он только с молодостью дружен!

Внизу — щепа, гробы в пыли...
Да море берег косит, косит
Серпами волн — и от земли
Далеко сор ее уносит!

1907

* * *

В полях сухие стебли кукурузы,
Следы колес и блеклая ботва.
В холодном море — бледные медузы
И красная подводная трава.

Поля и осень. Море и нагие
Обрывы скал. Вот ночь, и мы идем
На темный берег. В море — летаргия
Во всем великом таинстве своем.

«Ты видишь воду?» — «Вижу только ртутный
Туманный блеск...» Ни неба, ни земли.
Лишь звездный блеск висит под нами — в мутной
Бездонно-фосфорической пыли.

1907

НА РЕЙДЕ

Люблю сухой, горячий блеск червонца,
Когда его уронят с корабля
И он, скользнув лучистой каплей солнца,
Прорежет волны у руля.

Склонясь с бортов, с невольною улыбкой
Все смотрят вниз. А он уже исчез.
Вверх по корме струится глянец зыбкий
От волн, от солнца и небес.

Как жар горят червонной медью гайки
Под серебристым тентом корабля.
И плавают на снежных крыльях чайки,
Косясь на волны у руля.

1907

БАЛАГУЛА

Балагула убегает и трясет меня.
Рыжий Айзик правит парой и сосет тютюн.
Алый мак во ржи мелькает — лепестки огня.
Золотятся, льются нити телеграфных струн.

«Айзик, Айзик, вы заснули!» — «Ха! А разве пан
Едет в город с интересом? Пан — поэт, артист!»
Правда, правда. Что́ мне этот грязный Аккерман?
Степь привольна, день прохладен, воздух сух и чист.

Был я сыном, братом, другом, мужем и отцом,
Был в довольстве... Все насмарку! Все не то, не то!
Заплачу за путь венчальным золотым кольцом,
А потом... Потом в таверну: вывезет лото!

1907

ДИЯ

Штиль в безгранично светлом Ак-Денизе.
Зацвел миндаль. В ауле тишина
И теплый блеск. В мечети на карнизе,
Воркуя, ходят, ходят турмана.

На скате, под обрывистым утесом
Журчит фонтан. Идут о́ттуда вниз
Уступы крыш по каменным откосам
И безграничный виден Ак-Дениз.

Она уж там. И весел и спокоен
Взгляд быстрых глаз. Легка, как горный джин.
Под шелковым бешметом детски строен
Высокий стан... Она нальет кувшин,

На камень сбросит красные папучи
И будет мыть, топтать в воде белье...
— Журчи, журчи, звени, родник певучий,
Она глядится в зеркало твое!

1907

ИЗ АНАТОЛИЙСКИХ ПЕСЕН

Девичья

Свежий ветер дует в сумерках
На скалистый островок.
Закачалась чайка серая
Под скалой, как поплавок.

Под крыло головку спрятала
И забылась в полусне.
Я бы тоже позабылася
На качающей волне!

Поздно ночью в саклю темную
Грусть и скуку принесешь.
Поздно ночью с милым встретишься,
Да и то когда заснешь!

Рыбацкая

Летом в море легкая вода,
Белые сухие паруса,
Иглами стальными в невода
Сыплется под баркою хамса.

Осенью невесел Трапезонд!
В море вьюга, холод и туман,
Ходит головами горизонт,
В пену зарывается бакан.

Тяжела студеная вода,
Буря в ночь осеннюю дерзка,
Да на волю гонит из гнезда
Лютая голодная тоска!

1907

ГРОБНИЦА РАХИЛИ

«И умерла, и схоронил Иаков
Ее в пути...» И на гробнице нет
Ни имени, ни надписей, ни знаков.

Ночной порой в ней светит слабый свет,
И купол гроба, выбеленный мелом,
Таинственною бледностью одет.

Я приближаюсь в сумраке несмело
И с трепетом целую мел и пыль
На этом камне выпуклом и белом...

Сладчайшее из слов земных! Рахиль!

1907

С ОБЕЗЬЯНОЙ

Ай, тяжела турецкая шарманка!
Бредет худой, согнувшийся хорват
По дачам утром. В юбке обезьянка
Бежит за ним, смешно поднявши зад.

И детское и старческое что-то
В ее глазах печальных. Как цыган,
Сожжен хорват. Пыль, солнце, зной, забота...
Далеко от Одессы на Фонтан!

Ограды дач еще в живом узоре —
В тени акаций. Солнце из-за дач
Глядит в листву. В аллеях блещет море...
День будет долог, светел и горяч.

И будет сонно, сонно. Черепицы
Стеклом светиться будут. Промелькнет
Велосипед бесшумным махом птицы,
Да прогремит в немецкой фуре лед.

Ай, хорошо напиться! Есть копейка,
А вон киоск: большой стакан воды
Даст с томною улыбкою еврейка...
Но путь далек... Сады, сады, сады...

Зверок устал, — взор старичка-ребенка
Томит тоской. Хорват от жажды пьян.
Но пьет зверок: лиловая ладонка
Хватает жадно пенистый стакан.

Поднявши брови, тянет обезьяна,
А он жует засохший белый хлеб
И медленно отходит в тень платана...
Ты далеко, Загреб!

1907

* * *

В столетнем мраке черной ели
Краснела темная заря,
И светляки в кустах горели
Зеленым дымом янтаря.

И ты играла в темной зале
С открытой дверью на балкон,
И пела грусть твоей рояли
Про невозвратный небосклон,

Что был над парком, — бледный, ровный,
Ночной, июньский, — там, где след
Души счастливой и любовной,
Души моих далеких лет.

1907

ПУСТОШЬ

Мир вам, в земле почившие! — За садом
Погост рабов, погост дворовых наших:
Две десятины пустоши, волнистой
От бугорков могильных. Ни креста,

Ни деревца. Местами уцелели
Лишь каменные плиты, да и то
Изъеденные временем, как оспой...
Теперь их скоро выберут — и будут
Выпахивать то пористые кости,
То суздальские черные иконки...

Мир вам, давно забытые! — Кто знает
Их имена простые? Жили — в страхе,
В безвестности — почили. Иногда
В селе ковали цепи, засекали,
На поселенье гнали. Но стихал
Однообразный бабий плач — и снова
Шли дни труда, покорности и страха...
Теперь от этой жизни уцелели
Лишь каменные плиты. А пройдет
Железный плуг — и пустошь всколосится
Густою рожью. Кости удобряют...

Мир вам, неотомщенные! — Свидетель
Великого и подлого, бессильный
Свидетель зверств, расстрелов, пыток, казней,
Я, чье чело отмечено навеки
Клеймом раба, невольника, холопа,
Я говорю почившим: «Спите, спите!
Не вы одни страдали: внуки ваших
Владык и повелителей испили
Не меньше вас из горькой чаши рабства!»

1907

ХУДОЖНИК

Хрустя по серой гальке, он прошел
Покатый сад, взглянул по водоемам,
Сел на скамью... За новым белым домом
Хребет Яйлы и близок и тяжел.

Томясь от зноя, грифельный журавль
Стоит в кусте. Опущена косица,

Нога — как трость... Он говорит: «Чтó, птица?
Недурно бы на Волгу, в Ярославль!»

Он, улыбаясь, думает о том,
Как будут выносить его — как сизы
На жарком солнце траурные ризы,
Как желт огонь, как бел на синем дом.

«С крыльца с кадилом сходит толстый поп,
Выводит хор... Журавль, пугаясь хора,
Защелкает, взовьется от забора —
И ну плясать и стукать клювом в гроб!»

В груди першит. С шоссе несется пыль,
Горячая, особенно сухая.
Он снял пенсне и думает, перхая:
«Да-с, водевиль... Все прочее есть гиль».

1908

САВАОФ

Я помню сумрак каменных аркад,
В средине свет — и красный блеск атласа
В сквозном узоре старых царских врат,
Под золотой стеной иконостаса.

Я помню купол грубо-голубой:
Там Саваоф с простертыми руками,
Над скудною и темною толпой,
Царил меж звезд, повитых облаками.

Был вечер, март, сияла синева
Из узких окон, в куполе пробитых,
Мертво звучали древние слова.

Весенний отблеск был на скользких плитах —
И грозная седая голова
Текла меж звезд, туманами повитых.

28 VII 1908

ПИЛИГРИМ

Стал на ковер, у якорных цепей,
Босой, седой, в коротеньком халате,
В большой чалме. Свежеет на закате,
Ночь впереди — и тело радо ей.

Стал и простер ладони в муть зыбей:
Как раб хранит заветный грош в заплате,
Хранит душа одну мечту — о плате
За труд земной, — и все скупей, скупей.

Орлиный клюв, глаза совы, но кротки
Теперь они: глядят туда, где синь
Святой страны, где слезы звезд — как чётки
На смуглой кисти Ангела Пустынь.

Открыто все: и сердце и ладони...
И блещут, блещут слезы в небосклоне.

1908

В АРХИПЕЛАГЕ

Осенний день в лиловой крупной зыби
Блистал, как медь. Эол и Посейдон
Вели в снастях певучий долгий стон,
И наш корабль нырял подобно рыбе.

Вдали был мыс. Высоко на изгибе,
Сквозя, вставал неровный ряд колонн.
Но песня рей меня клонила в сон —
Корабль нырял в лиловой крупной зыби.

Не все ль равно, что это старый храм,
Что на мысу — забытый портик Феба!
Запомнил я лишь ряд колонн да небо.

Дым облаков курился по горам,
Пустынный мыс был схож с ковригой хлеба.
Я жил во сне. Богов творил я сам.

12 VIII 1908

КАРАВАН

Звон на верблюдах, ровный, полусонный,
Звон бубенцов подобен роднику:
Течет, течет струею отдаленной,
Баюкая дорожную тоску.

Давно затих базар неугомонный.
Луна меж пальм сияет по песку.
Под этот звон, глухой и однотонный,
Вожак прилег на жесткую луку.

Вот потянуло ветром, и свежее
Вздохнула ночь... Как сладко спать в седле,
Склонясь лицом к верблюжьей теплой шее!

Луна зашла. Поет петух в Рамлэ.
И млечной синью горы Иудеи
Свой зыбкий кряж означили во мгле.

15 VIII 1908

ИМРУ-УЛЬ-КАЙС

Ушли с рассветом. Опустели
Песчаные бугры.
Полз синий дым. И угли кровью рдели
Там, где вчера чернели их шатры.
Я слез с седла — и пряный запах дыма
Меня обвеял теплотой.
При блеске солнца был невыразимо
Красив огонь прозрачно-золотой.

Долина серая, нагая,
Как пах осла. В колодце гниль и грязь.
Из-за бугров моря текут, сверкая
И мутно серебрясь.
Но тут семь дней жила моя подруга:
Я сел на холм, где был ее намет,
Тут ветер дует с севера и юга —
Он милый след не заметет.

Ночь тишиной и мраком истомила.
Когда конец?
Ночь, как верблюд, легла и отдалила
От головы крестец.
Песок остыл. Холодный, безответный,
Скользит в руке, как змей.
Горит, играет перстень самоцветный —
Звезда любви моей.

21 VIII 1908

ИНЕЙ

Леса в жемчужном инее. Морозно.
Поет из телеграфного столба
То весело, то жалобно, то грозно
Звенящим гулом темная судьба.

Молчит и внемлет белая долина.
И все победней, ярче и пышней
Горит, дрожит и блещет хвост павлина
Стоцветными алмазами над ней.

ВЕЧЕР

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно —
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

1909

СПОР

«Счастливы мы, фессалийцы! Черное, с розовой пеной,
Пахнет нагретой землей наше густое вино.
Хлеб от вина лиловеет. Кусок овечьего сыру,
Влажно-соленый, крутой, горную свежесть хранит». —

«Крит позабыл ты, хвастун! Мастика хмельнее и слаще:
Палуба ходит, скользит, парус сияет, как снег,
Пляшут зеленые волны — и пьяная цепь рулевая,
Скрежеща, вдоль бортов ползает ржавой змеей».

1909

БЕЗ ИМЕНИ

Курган разрыт. В тяжелом саркофаге
Он спит, как страж. Железный меч в руке.
Поют над ним узорной вязью саги,
Беззвучные, на звучном языке.

Но лик сокрыт — опущено забрало.
Но плащ истлел на ржавленой броне.
Был воин, вождь. Но имя Смерть украла
И унеслась на черном скакуне.

ПЕСНЯ

Зацвела на воле
В поле бирюза.
Да не смотрят в душу
Милые глаза.

Помню, помню нежный,
Безмятежный лен.
Да далеко где-то
Зацветает он.

Помню, помню чистый
И лучистый взгляд.
Да поднять ресницы
Люди не велят.

СТАЛЬ

Бью звонкой сталью по кремню,
Сухие искры рассыпая.
Грозит, мигает ночь слепая,
Но я себе не изменю.
Он гаснет, слишком сгнивший трут,
Но ты секи, секи огнивом:
Будь в заблуждении счастливом,
Что эти искры не умрут.
Придет, настанет ли мой день?
Но блещет свет над мертвой гнилью,
Сталь золотою сыплет пылью
И крепок звонкий мой кремень.

СЕНОКОС

Среди двора, в батистовой рубашке,
Стоял барчук и, щурясь, звал: «Корней!»
Но двор был пуст. Две пегие дворняжки,
Щенки, катались в сене. Все синей
Над крышами и садом небо млело,
Как сказочная сонная река,
Все горячей палило зноем тело,
Все радостней белели облака
И все душней благоухало сено...

«Корней, седлай!» — Но нет, Корней в лесу,
Остались только скотница Елена
Да пчельник Дрон... Щенок замял осу
И сено взрыл... Молочный голубь комом
Упал на крышу скотного варка...
Везде открыты окна... А над домом
Так серебрится тополь, так ярка
Листва вверху — как будто из металла,
И воробьи шныряют то из зала,
В тенистый палисадник, в бересклет,
То снова в зал... Покой, лазурь и свет...

В конюшне полусумрак и прохладно,
Навозом пахнет, сбруей, лошадьми,

Касаточки щебечут... И Ами,
Соскучившись, тихонько ржет и жадно
Косит свой глаз лилово-золотой
В решетчатую дверку... Стременами
Звенит барчук, подняв седло с уздой,
Кладет, подпруги ловит — и ушами
Прядет Ами, вдруг сделавшись стройней
И выходя на солнце. Там к кадушке
Склоняется — блеск, небо видит в ней
И долго пьет... И солнце жжет подушки,
Луку, потни́к, играя в серебре...

А через час заходят побирушки:
Слепой и мальчик. Оба на дворе
Сидят как дома. Мальчик босоногий
Заглядывает в окна, на пороге
Стоит и медлит... Робко входит в зал,
С восторгом смотрит в светлый мир зеркал,
Касается до клавиш фортепьяно —
И, вздрогнув, замирает: звонко, странно
И весело в хоромах! — На балкон
Открыта дверь, и солнце жарким светом
Зажгло паркет, и глубоко паркетом
Зеркальный отблеск двери отражен,
И воробьи крикливою станицей
Проносятся у самого стекла
За золотой, сверкающею птицей,
За иволгой, скользящей, как стрела.

3 VII 1909

СОБАКА

Мечтай, мечтай. Все ýже и тусклей
Ты смотришь золотистыми глазами
На вьюжный двор, на снег, прилипший к раме,
На метлы гулких, дымных тополей.

Вздыхая, ты свернулась потеплей
У ног моих — и думаешь... Мы сами
Томим себя — тоской иных полей,
Иных пустынь... за пермскими горами.

Ты вспоминаешь то, что чуждо мне:
Седое небо, тундры, льды и чумы
В твоей студеной дикой стороне.

Но я всегда делю с тобою думы:
Я человек: как бог, я обречен
Познать тоску всех стран и всех времен.

4 VIII 1909

МОГИЛА В СКАЛЕ

То было в полдень, в Нубии, на Ниле.
Пробили вход, затеплили огни —
И на полу преддверия, в тени,
На голубом и тонком слое пыли,
Нашли живой и четкий след ступни.

Я, путник, видел это. Я в могиле
Дышал теплом сухих камней. Они
Сокрытое пять тысяч лет хранили.

Был некий день, был некий краткий час,
Прощальный миг, когда в последний раз
Вздохнул здесь тот, кто узкою стопою
В атласный прах вдавил свой узкий след.

Тот миг воскрес. И на пять тысяч лет
Умножил жизнь, мне данную судьбою.

6 VIII 1909

ТУМАН

Сумрачно, скучно светает заря.
Пахнет листвою и мокрыми гумнами.
Воют и тянут за рогом псаря
Гончие сворами шумными.

Тянут, стихают — и тонут следы
В темном тумане. Людская чуть курится.
Сонно в осиннике квохчут дрозды.
Чаща и дремлет и хмурится.

И до печальных вечерних огней
В море туманных лесов, за долинами,
Будет стонать все скучней и скучней
Рог голосами звериными.

25 VIII 1909

БЕРЕГ

За окном весна сияет новая.
А в избе — последняя твоя
Восковая свечка, и тесовая
Длинная ладья.

Причесали, нарядили, справили,
Полотном закрыли бледный лик —
И ушли, до времени оставили
Твой немой двойник.

У него ни имени, ни отчества,
Ни друзей, ни дома, ни родни:
Тихи гробового одиночества
Роковые дни.

Да пребудет в мире, да покоится!
Как душа свободная твоя,
Скоро, скоро в синем море скроется
Белая ладья.

ПЕСНЯ

На пирах веселых,
В деревнях и селах
Проводил ты дни.

Я в лесу сидела
Да в окно глядела
На кусты и пни.

Девки пряли, шили,
Дети с нянькой жили,
Я всегда одна —

Ласковей черницы,
Тише пленной птицы
И бледнее льна.

Я ли не любила?
Я ли не молила,
Чтоб господь помог?

А года летели,
Волоса седели...
И замолк твой рог.

Солнце пред закатом
Бродит по палатам,
Вдоль дубовых стен.

Да оно не греет,
Да душа не смеет
Кинуть долгий плен.

НОЧНЫЕ ЦИКАДЫ

Прибрежный хрящ и голые обрывы
Степных равнин луной озарены.
Хрустальный звон сливает с небом нивы.

Цветы, колосья, травы им полны,
Он ни на миг не молкнет, но не будит
Бесстрастной предрассветной тишины.

Ночь стелет тень и влажный берег студит,
Ночь тянет вдаль свой невод золотой —
И скоро блеск померкнет и убудет.

Но степь поет. Как колос налитой,
Полна душа. Земля зовет: спешите
Любить, творить, пьянить себя мечтой!

От бледных звезд, раскинутых в зените,
И до земли, где стынет лунный сон,
Текут хрустально-трепетные нити.

Из сонма жизней соткан этот звон.

10 IX 1910

О ПЕТРЕ-РАЗБОЙНИКЕ

В воскресенье, раньше литургии,
Раньше звона раннего, сидели
На скамье, под ветхой белой хатой,
Мать да сын — и на́ море глядели.

— Милый сын, прости старухе старой:
Расскажи ей, отчего скучаешь, —
Головой, до времени чубарой,
Сумрачно и горестно качаешь?

Милый сын мой, в праздник люди кротки,
Небо ясно, горы в небе четки,
Синь залив, долины золотятся,
Сквозь весенний тонкий пар глядятся.

— Был я, мать, в темнице в Цареграде,
В кандалах холодных, на затворе,
За железной ржавою решеткой,
Да зато под ней шумело море.

Море пеной рассыпало гребни
По камням на мелком сизом щебне,
И на щебне этом чьи-то дети,
Дети в красных фесочках, играли. . .

— Милый сын! Не дети: чертенята.
— Мать, молчи. Я чахну от печали.

В воскресенье, после литургии,
После полдня, к мужу подходила
Статная нарядная хозяйка,
Ласково за стол его просила.

Он сидел под солнцем, непокрытый,
Черный от загара и небритый,
Тер полою красного жупана
По горячей стали ятагана.

— Господи! Что вижу? Ты — в работе,
Двор не прибран, куры на омете,
Ослик бродит, кактус обгрызает,
Ян все утро с крыши не слезает.

Господин мой! Чем ты недоволен?
Ты ль не счастлив, не богат, не волен?

— Был, жена, я в пытках и на дыбе,
Восемь лет из плена видел воду,
Белый парус в светлых искрах зыби,
Голубые горы — и свободу...

— Господин! Свободу? Из темницы?
— Замолчи. Пират вольнее птицы.

В воскресенье божье, на закате,
Было пусто в темной старой хате...
Кто добром разбойника помянет?
Как-то он на Страшный суд предстанет?

ПАМЯТИ

Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель
Бегут кресты — раскинутые руки.
Я слушаю задумчивую ель —
Певучий звон... Все — только мысль и звуки!

То, что лежит в могиле, разве ты?
Разлуками, печалью был отмечен
Твой трудный путь. Теперь их нет. Кресты
Хранят лишь прах. Теперь ты мысль. Ты вечен.

БЕРЕЗКА

На перевале дальнем, на краю
Пустых небес, есть белая березка:
Ствол, искривлённый бурями, и плоско
Раскинутые сучья. — Я стою,
Любуясь ею, в желтом голом поле.

Оно мертво. Где тень, пластами соли
Лежит мороз. Уж солнца низкий свет
Не греет их. Уж ни листочка нет
На этих сучьях буро-красноватых,
Ствол резко бел в зеленой пустоте...

Но осень — мир. Мир в грусти и мечте,
Мир в думах о прошедшем, об утратах.
На перевале дальнем, на черте
Пустых полей, березка одинока.
Но ей легко. Ее весна — далеко.

ПРИ ДОРОГЕ

Окно по ночам голубое,
Да ветхо и криво оно:
Сквозь стекла расплющенный месяц
Как тусклое блещет пятно.

Дед рано ложится, а внучке
Неволя: лежи и не спи
Да думай от скуки. А долги
Осенние ночи в степи!

Вчера чумаки проходили
По шляху под хатой. Была
Морозная полночь. Блестели
Колеса, рога у вола.

Тянулась арба за арбою,
И месяц глядел как живой

На шлях, на шагавшие тени,
На борозды с мерзлой ботвой...

У Каспия тони, там хватит
Работы на всех — и давно
Ушла бы туда с чумаками...
Да мило кривое окно.

28 I 1911
Гелуан
(под Каиром)

НОЧНЫЕ ОБЛАКА

Океан под ясною луной,
Теплой и высокой, бледнолицей,
Льется гладкой, медленной волной,
Озаряясь жаркою зарницей.

Всходят горы облачных громад:
Гавриил, кадя небесным силам,
В темном фимиаме царских врат
Блещет огнедышащим кадилом.

Февраль 1911
Индийский океан

ДАЛЬНЯЯ ГРОЗА

Мелькают дали, черные, слепые,
Мелькает океана мертвый лик:
Бог разверзает бездны голубые,
Но лишь на краткий миг.

«Да будет свет!» Но свет угас — и сонный,
Тяжелый гул растет вослед за ним:
Бог, в довременный хаос погруженный,
Мрак сотрясает ропотом своим.

Февраль 1911
Индийский океан

НОЧЛЕГ

Мир — лес, ночной приют птицы.
Брамины

В вечерний час тепло во мраке леса,
И в теплых водах меркнет свет зари.
Пади во мрак зеленого навеса —
И, приютясь, замри.

А ранним утром, белым и росистым,
Взмахни крылом, среди листвы шурша,
И растворись, исчезни в небе чистом —
Вернись на родину, душа!

Февраль 1911
Индийский океан

ЗОВ

Как старым морякам, живущим на покое,
Все снится по ночам пространство голубое
И сети зыбких вант; как верят моряки,
Что их моря зовут в часы ночной тоски,
Так кличут и меня мои воспоминанья:
На новые пути, на новые скитанья
Велят они вставать — в те страны, в те моря,
Где только бы тогда я кинул якоря,
Когда б заветную увидел Атлантиду.
В родные гавани вовеки я не вниду,
Но знаю, что и мне, в предсмертных снах моих,
Все будет сниться сеть канатов смоляных
Над бездной голубой, над зыбью океана:
Да чутко встану я на голос Капитана!

8 VII 1911

СТИХОТВОРЕНИЯ
1912—1925 годов

ПСКОВСКИЙ БОР

Вдали темно и чащи строги.
Под красной мачтой, под сосной,
Стою и медлю — на пороге
В мир позабытый, но родной.

Достойны ль мы своих наследий?
Мне будет слишком жутко там,
Где тропы рысей и медведей
Уводят к сказочным тропам,

Где зернь краснеет на калине,
Где гниль покрыта ржавым мхом
И ягоды туманно-сини
На можжевельнике сухом.

23 VII 1912

* * *

Ночь зимняя мутна и холодна.
Как мертвая, стоит в выси луна.
Из радужного бледного кольца
Глядит она на след мой у крыльца,
На тень мою, на молчаливый дом
И на кустарник в инее густом.
Еще блестит оконное стекло,
Но волчьей мглой поля заволокло,
На севере огни полночных звезд
Горят из мглы, как из пушистых гнезд.

Снег меж кустов, туманно-голубой,
Осыпан жесткой серою крупой.

Таинственным дыханием гоним,
Туман плывет, — и я мешаюсь с ним.
И меркнет тень, и двинулась луна,
В свой бледный свет, как в дым, погружена,
И, кажется, вот-вот и я пойму
Незримое — идущее в дыму
От тех земель, от тех предвечных стран,
Где гробовой чернеет океан,
Где, наступив на ледяную Ось,
Превыше звезд восстал Великий Лось —
И отражают бледные снега
Стоцветные горящие рога.

25 VII 1912

В СИЦИЛИИ

Монастыри в предгориях глухих,
Наследие разбойников морских,
Обители забытые, пустые, —
Моя душа жила когда-то в них:
Люблю, люблю вас, келии простые,
Дворы в стенах тяжелых и нагих,
Валы и рвы, от плесени седые,
Под башнями кустарники густые
И глыбы скользких пепельных камней,
Загромоздивших скаты побережий,
Где сквозь маслины кажется синей
Вода у скал, где крепко треплет свежий,
Соленый ветер листьями маслин
И на ветру благоухает тмин!

1 VIII 1912

БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ

Едет стрелок в зеленые луга,
В тех ли лугах осока́ да куга,
В тех ли лугах все чемёр да цветы,
Вешней водою низы налиты...
— Белый Олень, Золотые Рога!
Ты не топчи заливные луга.

Прянул Олень, увидавши стрелка,
Конь богатырский шатнулся слегка,

Плеткой стрелок по Оленю стебнул,
Крепкой рукой самострел натянул,
Да опустилась на гриву рука:
Белый Олень, погубил ты стрелка!

— Ты не стебай, не стреляй, молодец,
Примешь ты скоро заветный венец,
В некое время сгожусь я тебе,
С луга к веселой приду я избе:
Тут и забавам стрелецким конец —
Будешь ты дома сидеть, молодец.

Стану, Олень, на дворе я с утра,
Златом рогов освечу полдвора,
Сладким вином поезжан напою,
Всех особливей невесту твою:
Чтоб не мочила слезами лица,
Чтоб не боялась кольца и венца.

1 VIII 1912

РИТМ

Часы, шипя, двенадцать раз пробили
В соседней зале, темной и пустой,
Мгновения, бегущие чредой
К безвестности, к забвению, к могиле,

На краткий срок свой бег остановили
И вновь узор чеканят золотой:
Заворожен ритмической мечтой,
Вновь отдаюсь меня стремящей силе.

Раскрыв глаза, гляжу на яркий свет
И слышу сердца ровное биенье
И этих строк размеренное пенье
И мыслимую музыку планет.

Все — ритм и бег. Бесцельное стремленье!
Но страшен миг, когда стремленья нет.

9 VIII 1912

ГРОБНИЦА

Глубокая гробница из порфира.
Клоки парчи и два крутых ребра.
В костях руки — железная секира,
На черепе — венец из серебра.

Надвинут он на черные глазницы,
Сквозит на лбу, блестящем и пустом.
И тонко, сладко пахнет из гробницы
Истлевшим кипарисовым крестом.

10 VIII 1912

ПОТОМКИ ПРОРОКА

Немало царств, немало стран на свете.
Мы любим тростниковые ковры,
Мы ходим не в кофейни, а в мечети,
На солнечные тихие дворы.

Мы не купцы с базара. Мы не рады,
Когда вступает пыльный караван
В святой Дамаск, в его сады, ограды:
Нам не нужны подачки англичан.

Мы терпим их. Но ни одежды белой,
Ни белых шлемов видеть не хотим.
Написано: чужому зла не делай,
Но и очей не подымай пред ним.

Скажи привет, но помни: ты в зеленом.
Когда придут, гляди на кипарис,
Гляди в лазурь. Не будь хамелеоном,
Что по стене мелькает вверх и вниз.

Август 1912

УГОЛЬ

Могол Тимур принес малютке-сыну
Огнем горящий уголь и рубин.
Он мудрый был: не к камню, не к рубину
В восторге детском кинулся Имин.

Могол сказал: «Кричи и знай, что пленка
Уже легла на меркнущий огонь».
Но бог мудрей: бог пожалел ребенка —
Он сам подул на детскую ладонь.

Август 1912

* * *

Шипит и не встает верблюд,
Ревут, урчат бока скотины.
— Ударь ногой. Уже поют
В рассвете алом муэззины.

Стамбул жемчужно-сер вдали,
От дыма сизо на Босфоре,
В дыму выходят корабли
В седое Мраморное море.

Дым смешан с холодом воды,
Он пахнет медом и ванилью,
И вами, белые сады,
И кизяком, и росной пылью.

Выносит красный самовар
Грек из кофейни под каштаном,
Баранов гонят на базар,
Проснулись нищие за ханом:

Пора идти, глядеть весь день
На зной и блеск, и все к востоку,
Где только птиц косая тень
Бежит по выжженному дроку.

Август 1912

СТЕПЬ

Синий ворон от падали
Алый клюв поднимал и глядел.
А другие косились и прядали,
А кустарник шумел, шелестел.

Синий ворон пьет глазки до донушка,
Собирает по косточкам дань.
Сторона ли моя, ты сторонушка,
Вековая моя глухомань!

21 IX 1912

МАТРОС

Ночью в море крепко спать хотелось,
Измотало зыбью нашу барку,
На носу — угодника Николу,
На корме — малиновый фонарик.

А пришли к Патрасу — рассветает,
Море заштилело, зеленеет,
На востоке, светлом, апельсинном,
Розовеют снеговые горы.

У кого есть деньги, тот в кофейне,
Пьет мастику или чай с лимоном, —
Э, успею выспаться! Скорее
Дай мне сыру и вина покрепче!

Сладко ослабею, сытый, пьяный,
Забурлю кальяном, а хозяин
Будет усмехаться — и от смеха
Нос его короткий станет клювом.

8 III 1913

ЗАВЕТ СААДИ

Будь щедрым, как пальма. А если не можешь, то будь
Стволом кипариса, прямым и простым — благородным.

Июнь 1913
Трапезонд

ОТРАВА

Свекровь-госпожа в терему до полдён заспалась:
Спи, ро́дная, спи, я одна, молода, убралась!
Серьгу и кольцо я в бору колдуну отдала,
Питье на меду да на сладком корню развела.

И черен и смолен зеленый за теремом бор.
Сынок твой воротится, сыщет под лавкой топор:
«Сынок, не буди меня: клонит старуху ко сну.
Сруби мне два дерева — ель да руду́ю сосну».

Ин, ель на постель, а сосну? — «А ее на кровать:
На бархате смольном в гробу золотом почивать,
На хвое примятой княгиню положите вы,
С болотною мятой округ восковой головы. . .»

Уж как же я буду за церковью выть, голосить!
Уж как же я выйду наране покосы косить!
В коралл, в костенику я косы свои уберу,
Шальною и дикой завьюсь, замотаюсь в бору!

20 VIII 1913

МУШКЕТ

Видел сон Мушкет:
Видел он азовские подолья,
На бурьяне, на татарках — алый цвет,
А в бурьяне — ржавых копий колья.

Черт повил в жгуты,
Засушил в крови казачьи чубы.
Эх, Мушкет! А что же делал ты?
Видишь ли оскаленные зубы?

Твой крестовый брат
В Цареграде был посажен на́ кол.
Брат зовет Мушкета в Цареград —
И Мушкет проснулся и заплакал.

Встал, жену убил,
Сонных зарубил своих малюток,
И пошел в туретчину, и был
В Цареграде через сорок суток.

И турецкий хан
Отрубил ему башку седую,
И швырнули ту башку в лиман,
И плыла она, качаясь, в даль морскую.

И глядела в высь, —
К господу глаза ее глядели.
И господь ответил: «Не журись,
Не тужи, Мушкет, — попы тебя отпели».

Август 1913

ВЕНЕЦИЯ

Восемь лет в Венеции я не был...
Всякий раз, когда вокзал минуешь
И на пристань выйдешь, удивляет
Тишина Венеции, пьянеешь
От морского воздуха каналов.
Эти лодки, барки, маслянистый
Блеск воды, огнями озаренной,
А за нею низкий ряд фасадов
Как бы из слоновой грязной кости,
А над ними синий южный вечер,
Мокрый и ненастный, но налитый
Синевою мягкою, лиловой, —
Радостно все это было видеть!

Восемь лет... Я спал в давно знакомой
Низкой, старой комнате, под белым
Потолком, расписанным цветами.
Утром слышу — колокол: и звонко
И певуче, но не к нам взывает
Этот чистый одинокий голос,
Голос давней жизни, от которой
Только красота одна осталась!

Утром косо розовое солнце
Заглянуло в узкий переулок,
Озаряя отблеском от дома,
От стены напротив — и опять я
Радостную близость моря, воли
Ощутил, увидевши над крышей,
Над бельем, что по ветру трепалось,
Облаков сиреневые клочья
В жидком, влажно-бирюзовом небе.
А потом на крышу прибежала
И белье снимала, напевая,
Девушка с раскрытой головою,
Стройная и тонкая... Я вспомнил
Капри, Грациэллу Ламартина...
Восемь лет назад я был моложе,
Но не сердцем, нет, совсем не сердцем!

В полдень, возле Марка, что казался
Патриархом Сирии и Смирны,
Солнце, улыбаясь в светлой дымке,
Перламутром розовым слепило.
Солнце пригревало стены Дожей,
Площадь и воркующих, кипящих
Сизых голубей, клевавших зерна
Под ногами щедрых форестьèров.
Все блестело — шляпы, обувь, трости,
Щурились глаза, сверкали зубы,
Женщины, весну напоминая
Светлыми нарядами, раскрыли
Шелковые зонтики, чтоб шелком
Озаряло лица... В галерее
Я сидел, спросил газету, кофе
И о чем-то думал... Тот, кто молод,
Знает, что он любит. Мы не знаем, —
Целый мир мы любим... И далеко,
За каналы, за лежавший плоско
И сиявший в тусклом блеске город,
За лагуны Адрии зеленой,
В голубой простор глядел крылатый
Лев с колонны. В ясную погоду
Он на юге видит Апеннины,

А на сизом севере — тройные.
Волны Альп, мерцающих над синью
Платиной горбов своих ледя́ных...

Вечером — туман, молочно-серый,
Дымный, непроглядный. И пушисто
Зеленеют в нем огни, столбами
Фонари отбрасывают тени.
Траурно Большой канал чернеет
В россыпи огней, туманно-красных,
Марк тяжел и древен. В переулках —
Слякоть, грязь. Идут посередине,
В опере как будто. Сладко пахнут
Крепкие сигары. И уютно
В светлых галереях — ярко блещут
Их кафе, витрины. Англичане
Покупают кружево и книжки
С толстыми шершавыми листами,
В переплетах с золоченой вязью,
С грубыми застежками... За мною
Девочка пристряла — все касалась
До плеча рукою, улыбаясь
Жалостно и робко: «Mi d'un soldo!» [1]
Долго я сидел потом в таверне,
Долго вспоминал ее прелестный
Жаркий взгляд, лучистые ресницы
И лохмотья... Может быть, арабка?

Ночью, в час, я вышел. Очень сыро,
Но тепло и мягко. На пьяцетте
Камни мокры. Нежно пахнет морем,
Холодно и сыро вонью скользких
Темных переулков, от канала —
Свежестью арбуза. В светлом небе
Над пьяцеттой, против папских статуй
На фасаде церкви — бледный месяц:
То сияет, то за дымом тает,
За осенней мглой, бегущей с моря.
«Не заснул, Энрико?» — Он беззвучно,

---

[1] Дай монетку! (итал.). — *Ред.*

Медленно на лунный свет выводит —
Длинный черный катафалк гондолы,
Чуть склоняет стан — и вырастает,
Стоя на корме ее... Мы долго
Плыли в узких коридорах улиц,
Между стен высоких и тяжелых...
В этих коридорах — баржи с лесом,
Барки с солью: стали и ночуют.
Под стенами — сваи и ступени,
В плесени и слизи. Сверху — небо,
Лента неба в мелких бледных звездах...
В полночь спит Венеция, — быть может,
Лишь в притонах для воров и пьяниц,
За вокзалом, светят щели в ставнях,
И за ними глухо слышны крики,
Буйный хохот, споры и удары
По столам и столикам, залитым
Марсалой и вермутом... Есть прелесть
В этой поздней, в этой чадной жизни
Пьяниц, проституток и матросов!
Но «Amato, amo, Desdemona», [1] —
Говорит Энрико, напевая,
И, быть может, слышит эту песню
Кто-нибудь вот в этом темном доме —
Та душа, что любит... За оградой
Вижу садик; в чистом небосклоне —
Голые, прозрачные деревья,
И стеклом блестят они, и пахнет
Сад вином и медом... Этот винный
Запах листьев тоньше, чем весенний!
Молодость груба, жадна, ревнива,
Молодость не знает счастья — видеть
Слезы на ресницах Дездемоны,
Любящей другого...

Вот и светлый
Выход в небо, в лунный блеск и воды!
Здравствуй, небо, здравствуй, ясный месяц,
Перелив зеркальных вод и тонкий

[1] Я любил и люблю, Дездемона (итал.). — *Ред.*

Голубой туман, в котором сказкой
Кажутся вдали дома и церкви!
Здравствуйте, полночные просторы
Золотого млеющего взморья
И огни чуть видного экспресса,
Золотой бегущие цепочкой
По лагунам к югу!

30 VIII 1913

МОГИЛЬНАЯ ПЛИТА

Опять знакомый дом...
Огарев

Могильная плита, железная доска,
В густой траве врастающая в землю, —
И мне печаль могил понятна и близка,
И я родным преданьям внемлю.
И я «люблю людей, которых больше нет»,
Любовью всепрощающей, сыновней.
Последний их побег, я не забыл их след
Под старой, обветшалою часовней.
Я молодым себя, в своем простом быту,
На бедном их погосте вспоминаю.
Последний их побег, под эту же плиту
Приду я лечь — и тихо лягу, с краю.

6 IX 1913

ПОСЛЕ ОБЕДА

Сквозь редкий сад шумит в тумане море —
И тянет влажным холодом в окно.
Сирена на туманном косогоре
Мычит и мрачно и темно.

Лишь гимназистка с толстыми косами
Одна не спит, — она живет иным,
Хватая жадно синими глазами
Страницу за страницей «Дым».

6 IX 1913

МАГОМЕТ И САФИЯ

Сафия, проснувшись, заплетает ловкой
Голубой рукою пряди черных кос.
«Все меня ругают, Магомет, жидовкой», —
Говорит сквозь слезы, не стирая слез.

Магомет, с усмешкой и любовью глядя,
Отвечает кротко: «Ты скажи им, друг:
Авраам — отец мой, Моисей — мой дядя,
Магомет — супруг».

25 III 1914
Рим

ПЕРСТЕНЬ

Рубины мрачные цвели, чернели в нем,
    Внутри пурпурно-кровяные,
Алмазы вспыхивали розовым огнем,
    Дробясь, как слезы ледяные.

Бесцветными играл заветный перстень мой,
    Но затаенными лучами:
Так светит и горит сокрытый полутьмой
    Старинный образ в царском храме.

И долго я глядел на этот божий дар
    С тоскою, смутной и тревожной,
И опускал глаза, переходя базар,
    В толпе крикливой и ничтожной.

7 I 1915

СЛОВО

Молчат гробницы, мумии и кости, —
    Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
    Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

7 I 1915

* * *

Просыпаюсь в полумраке.
В занесенное окно
Смуглым золотом Исакий
Смотрит дивно и темно.

Утро сумрачное снежно,
Крест ушел в густую мглу.
За окном уютно, нежно
Жмутся голуби к стеклу.

Все мне радостно и ново:
Запах кофе, люстры свет,
Мех ковра, уют алькова
И сырой мороз газет.

17 I 1915

ПОЭТУ

В глубоких колодцах вода холодна,
И чем холоднее, тем чище она.
Пастух нерадивый напьется из лужи
И в луже напоит отару свою,
Но добрый опустит в колодец бадью,
Веревку к веревке привяжет потуже.

Бесценный алмаз, оброненный в ночи,
Раб ищет при свете грошовой свечи,
Но зорко он смотрит по пыльным дорогам,

Он ковшиком держит сухую ладонь,
От ветра и тьмы ограждая огонь, —
И знай: он с алмазом вернется к чертогам.

27 VIII 1915

* * *

Взойди, о Ночь, на горний свой престол,
Стань в бездне бездн, от блеска звезд туманной,
Мир тишины исполни первозданной
И сонных вод смири немой глагол.

В отверстый храм земли, небес, морей
Вновь прихожу с мольбою и тоскою:
Коснись, о Ночь, целящею рукою,
Коснись чела, как божий иерей.

Дала судьба мне слишком щедрый дар,
Виденья дня безмерно ярки были:
Росистый хлад твоей епитрахили
Да утолит души мятежный жар.

31 VIII 1915

НЕВЕСТА

Я косы де́вичьи плела,
На подоконнике сидела,
А ночь созвездьями цвела,
А море медленно шумело
И степь дрожала в полусне
Своим таинственным журчаньем...
Кто до тебя вошел ко мне?
Кто, в эту ночь перед венчаньем,
Мне душу истомил такой
Любовью, нежностью и мукой?
Кому я отдалась с тоской
Перед последнею разлукой?

2 IX 1915

ЦЕЙЛОН

ГОРА АЛАГАЛЛА

В лесах кричит павлин, шумят и плещут ливни,
В болотистых низах, в долинах рек — потоп.
Слоны залезли в грязь, стоят, поднявши бивни,
Сырые хоботы закинувши на лоб.

На тучах зелень пальм — безжизненней металла,
И, тяжко заступив графитный горизонт,
Глядит из-за лесов нагая Алагалла,
Как сизый мастодонт.

10 IX 1915

ОДИНОЧЕСТВО

Худая компаньонка, иностранка,
Купалась в море вечером холодным
И все ждала, что кто-нибудь увидит,
Как выбежит она, полунагая,
В трико, прилипшем к телу, из прибоя.
Потом, надев широкий балахон,
Сидела на песке и ела сливы,
А крупный пес с гремящим лаем прядал
В прибрежную сиреневую кипень
И жаркой пастью радостно кидался
На черный мяч, который с криком «hop!»
Она швыряла в воду... Загорелся
Вдали маяк лучистою звездой...
Сырел песок, взошла луна над морем,
И по волнам у берега ломался,
Сверкал зеленый глянец... На обрыве,
Что возвышался сзади, в светлом небе,
Чернела одинокая скамья...
Там постоял с раскрытой головою
Писатель, пообедавший в гостях,
Сигару покурил и, усмехнувшись,
Подумал: «Полосатое трико
Ее на зебру делало похожей».

10 IX 1915

* * *

К вечеру море шумней и мутней,
Парус и дальше и дымней,
Няньки по дачам разносят детей,
Ветер с Финляндии, зимний.

К морю иду — все песок да кусты,
Сосенник сине-зеленый,
С елок холодных срываю кресты,
Иглы из хвои вощеной.

Вот и скамья и соломенный зонт,
Дальше обрыв — и туманный,
Мглисто-багровый морской горизонт,
Запад зловещий и странный.

А над обрывом все тот же гамак
С томной, капризной девицей,
Стул полотняный и с книжкой чудак,
Гнутый, в пенсне, бледнолицый.

Дремлет, качается в сетке она,
Он ей читает Бальмóнта...
Запад темнеет и свищет сосна,
Тучи плывут с горизонта...

11 IX 1915

ВОЙНА

От кипарисовых гробниц
Взлетала стая черных птиц, —
Тюрбе расстреляно, разбито.
Вот грязный шелковый покров,
Кораны с оттиском подков...
Как грубо конское копыто!

Вот чей-то сад; он черен, гол, —
И не о нем ли мой осел
Рыдающим томится ревом?

А я — я, прокаженный, рад
Бродить, вдыхать пожарищ чад,
Что тает в небе бирюзовом:

Пустой, разрушенный, немой,
Отныне этот город — мой,
Мой каждый спуск и переулок,
Мои все туфли мертвецов,
Домов руины и дворцов,
Где шум морской так свеж и гулок!

12 IX 1915

* * *

У нубийских черных хижин
Мы в пути коней поили.
Вечер теплый, тихий, темный
Чуть светил шафраном в Ниле.

У нубийских черных хижин
Кто-то пел, томясь бесстрастно:
«Я тоскую, я печальна
Оттого, что я прекрасна. . .»

Мыши реяли, дрожали,
Буйвол спал в прибрежном иле,
Пахло горьким дымом хижин,
Чуть светили звезды в Ниле.

12 IX 1915

КАЗНЬ

Туманно утро красное, туманно,
Да все светлей, белее на восходе,
За темными, за синими лесами,
За дымными болотами, лугами. . .
Вставайте, подымайтесь, псковичи!

Роса дождем легла на пыль,
На крыши изб, на торг пустой,

На золото церковных глав,
На мой помост средь площади...
Точите нож, мочите солью кнут!

Туманно солнце красное, туманно,
Кровавое не светит и не греет
Над мутными, над белыми лесами,
Над росными болотами, лугами...
Орите позвончее, бирючи!

— Давай, мужик, лицо умыть,
Сапог обуть, кафтан надеть,
Веди меня, вали под нож
В единый мах — не то держись:
Зубами всех заем, не оторвут!

13 IX 1915

* * *

Что ты мутный, светел-месяц?
Что ты низко в небе ходишь,
Не по-прежнему сияешь
На серебряные снеги?

Не впервой мне, месяц, видеть,
Что окно ее высоко,
Что краснеет там лампадка
За шелко́вой занавеской.

Не впервой я вороча́юсь
Из кружала наглый, пьяный,
И всю ночь сижу от скуки
Под Кремлем с блаженным Ваней.

И когда он спит — дивуюсь!
А ведь кволый да и голый...
Все смеется, все бормочет,
Что башка моя на плахе
Так-то весело подскочит!

13 IX 1915

ШЕСТИКРЫЛЫЙ

Мозаика на Московском соборе

Алел ты в зареве Батыя —
И потемнел твой жуткий взор.
Ты крылья рыже-золотые
В священном трепете простер.

Узрел ты Грозного-юрода
Монашеский истертый шлык —
И навсегда в изгибах свода
Застыл твой большеглазый лик.

14 IX 1915

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

По лесам бежала божья мать,
Куньей шубкой запахнув младенца.
Стлалось в небе Божье Полотенце,
Чтобы ей не сбиться, не плутать.

Холодна, морозна ночь была,
Дива дивьи в эту ночь творились:
Волчьи очи зеленью дымились,
По кустам сверкали без числа.

Две седых медведицы в лугу
На дыбах боролись в ярой злобе,
Грызлись, бились и мотались обе,
Тяжело топтались на снегу.

А в дремучих зарослях, впотьмах,
Жались, табунились и дрожали,
Белым паром из ветвей дышали
Звери с бородами и в рогах.

И огнем вставал за лесом меч
Ангела, летевшего к Сиону,
К золотому Иродову трону,
Чтоб главу на Ироде отсечь.

21 X 1915

ЗАЗИМОК

Сивером на холоде
Обжигает желуди,
Листья и кору.
Свищет роща ржавая,
Жесткая, корявая,
В поле на юру.

Ходят тучи с ношею,
Мерзлою порошею
Стало чаще дуть,
Серебрятся озими —
Скоро под полозьями
Задымится путь,

Заиграет вьюгою,
И листву муругую
Понесет смелей
По простору вольному,
Гулу колокольному
Стонущих полей!

29 X 1915

СВЯТОГОР И ИЛЬЯ

На гривастых конях на косматых,
На златых стременах на разлатых,
Едут братья, меньшой и старшой,
Едут сутки и двое и трое,
Видят в поле корыто простое,
Наезжают — ан гроб, да большой:

Гроб глубокий, из дуба долбленый,
С черной крышей, тяжелой, томленой,
Вот и сдвинул ее Святогор,
Лег, надвинул и шутит: «А впору!
Помоги-ка, Илья, Святогору
Снова выйти на божий простор!»

Обнял крышу Илья, усмехнулся,
Во всю грузную печень надулся,
Двинул срыву — да нет, погоди!
«Ты мечом!» — слышен голос из гроба.
Он за меч — занимается злоба,
Загорается сердце в груди, —

Нет, и меч не берет! С виду рубит,
Да не делает дела, а губит:
Где ударит — там обруч готов,
Нарастает железная скрепа, —
Не подняться из гробного склепа
Святогору во веки веков.

Кинул биться Илья — божья воля!
Едет прочь вдоль широкого поля,
Утирает слезу... Отняла
Русской силы Земля половину:
Выезжай на иную путину,
На иные дела!

23 I 1916

КНЯЗЬ ВСЕСЛАВ

Князь Всеслав в железы был закован,
В яму брошен братскою рукой:
Князю был жестокий уготован
Жребий, по жестокости людской.
Русь, его призвав к великой чести,
В Киев из темницы извела.
Да не в час он сел на княжьем месте:
Лишь копьем дотронулся Стола.
Что ж теперь, дорогами глухими,
Воровскими в Полоцк убежав,
Что теперь, вдали от мира, в схиме,
Вспоминает темный князь Всеслав?

Только звон твой утренний, София,
Только голос Киева! — Долга
Ночь зимою в Полоцке... Другие
Избы в нем и церкви и снега...

Далеко до света, — чуть сереют
Мерзлые окошечки... Но вот
Слышит князь: опять зовут и млеют
Звоны как бы ангельских высот!
В Полоцке звонят, а он иное
Слышит в тонкой грезе... Что́ года
Горестей, изгнанья! Неземное
Сердцем он запомнил навсегда.

24 I 1916

* * *

Мне вечор, младой, скучен терем был,
Темен свет-ночник, страшен Спасов лик.
Вотчим-батюшка самоцвет укрыл
В кипарисовый дорогой тайник!

А любезный друг далеко, в торгу,
Похваляется для другой конем,
Шубу длинную волочит в снегу,
Светит ей огнем, золотым перстнем.

24 I 1916

КАДИЛЬНИЦА

В горах Сицилии, в монастыре забытом,
По храму темному, по выщербленным плитам,
В разрушенный алтарь пастух меня привел,
И увидал я там: стоит нагой престол,
А перед ним, в пыли, могильно-золотая,
Давно потухшая, давным-давно пустая,
Лежит кадильница — вся черная внутри
От угля и смолы, пылавших в ней когда-то...

Ты, сердце, полное огня и аромата,
Не забывай о ней. До черноты сгори.

25 I 1916

* * *

Когда-то, над тяжелой баркой
С широкодонною кормой,
Немало дней в лазури яркой
Качались снасти надо мной...

Пора, пора мне кинуть сушу,
Вздохнуть свободней и полней —
И вновь крестить нагую душу
В купели неба и морей!

25 I 1916

ИСКУШЕНИЕ

В час полуденный, зыбко сливаясь по Древу,
Водит, тянется малой головкой своей,
Ищет трепетным жалом нагую смущенную Еву
Искушающий Змей.

И стройна, высока с преклоненными взорами Ева,
И к бедру ее круглому гривою ластится Лев,
И в короне Павлин громко кличет с запретного
Древа
О блаженном стыде искушаемых дев.

30 I 1916

ДУРМАН

Дурману девочка наелась,
Тошнит, головка разболелась,
Пылают щечки, клонит в сон,
Но сердцу сладко, сладко, сладко:
Все непонятно, все загадка,
Какой-то звон со всех сторон:
Не видя, видит взор иное,
Чудесное и неземное,

Не слыша, ясно ловит слух
Восторг гармонии небесной —
И невесомой, бестелесной
Ее довел домой пастух.

Наутро гробик сколотили,
Над ним попели, покадили,
Мать порыдала — и отец
Прикрыл ее тесовой крышкой
И на погост отнес под мышкой...
Ужели сказочке конец?

30 I 1916

СОН

По снежной поляне,
При мглистой и быстрой луне,
В безлюдной, немой стороне,
Несут меня сани.

Лежу, как мертвец,
Возница мой гонит и воет,
И лик свой то кажет, то кроет
Небесный беглец.

И мчатся олени,
Глубоко и жарко дыша,
В далекие тундры спеша,
И мчатся их тени —

Туда, где конец
Страны этой бедной, суровой,
Где блещет алмазной подковой
Полярный Венец, —

И мерзлый кочкарник
Визжит и стучит подо мной,
И бог озаряет луной
Снега и кустарник.

30 I 1916

ЦИРЦЕЯ

На треножник богиня садится:
Бледно-рыжее золото кос,
Зелень глаз и аттический нос —
В медном зеркале все отразится.

Тонко бархатом риса покрыт
Нежный лик, розовато-телесный,
Каплей нектара, влагой небесной,
Блещут серьги, скользя вдоль ланит.

И Улисс говорит: «О Цирцея!
Все прекрасно в тебе: и рука,
Что прически коснулась слегка,
И сияющий локоть, и шея!»

А богиня с улыбкой: «Улисс!
Я горжусь лишь плечами своими
Да пушком апельсинным меж ними,
По спине убегающим вниз!»

31 I 1916

У ГРОБНИЦЫ ВИРГИЛИЯ

Дикий лавр и плющ и розы,
Дети, тряпки по дворам
И коричневые козы
В сорных травах по буграм,

Без границы и без края
Моря вольные края...
Верю — знал ты, умирая,
Что твоя душа — моя.

Знал поэт: опять весною
Будет смертному дано
Жить отрадою земною,
А кому — не все ль равно!

Запах лавра, запах пыли,
Теплый ветер... Счастлив я,
Что моя душа, Виргилий,
Не моя и не твоя.

31 I 1916

* * *

Синие обои полиняли,
Образа, дагерротипы сняли —
Только там остался синий цвет,
Где они висели много лет.

Позабыло сердце, позабыло
Многое, что некогда любило!
Только тех, кого уж больше нет,
Сохранился незабвенный след.

31 I 1916

* * *

Там не светит солнце, не бывает ночи,
        Не восходят зори,
За гранитным полем грозно блещет в очи
        Смоляное море.

Над его ли зыбью, под великой тучей,
        Мечется зарница,
А на белом камне, на скале горючей —
        Дивная орлица:

Плещется крылами, красными как пламень,
        В этом море диком,
Все кого-то кличет и о белый камень
        Бьется с лютым криком.

1 II 1916

* * *

Лиман песком от моря отделен.
Когда садится солнце за Лиманом,
Песок бывает ярко позлащен.

Он весь в рыбалках. Белым караваном
Стоят они на грани вод, на той,
Откуда веет ветром, океаном.

В лазури неба, ясной и пустой,
Та грань чернеет синью вороненой
Из-за косы песчано-золотой.

И вот я слышу ропот отдаленный:
Навстречу крепкой свежести воды,
Вдыхая ветер, вольный и соленый,

Вдруг зашумели белые ряды
И стоя машут длинными крылами...
Земля, земля! Несчетные следы

Я на тебе оставил. Я годами
Блуждал в твоих пустынях и морях.
Я мерил неустанными стопами

Твой всюду дорогой для сердца прах:
Но нет, вовек не утолю я муки —
Любви к тебе! Как чайки на песках,

Опять вперед я простираю руки.

6 II 1916

СИРОККО

Гул бури за горой и грохот отдаленных
Полуночных зыбей, бушующих в бреду.
Звон, непрерывный звон кузнечиков бессонных,
И мутный лунный свет в оливковом саду.

Как фосфор, светляки мерцают под ногами;
На тусклом блеске волн, облитых серебром,
Ныряет гробом челн... Господь смешался с нами
И мчит куда-то мир в восторге бредовом.

10 II 1916

ЗЕРКАЛО

Темнеет зимний день, спокойствие и мрак
Нисходят нá душу — и все, что отражалось,
Что было в зеркале, померкло, потерялось...
Вот так и смерть, да, может быть, вот так.

В могильной темноте одна моя сигара
Краснеет огоньком, как дивный самоцвет:
Погаснет и она, развеется и след
Ее душистого и тонкого угара...

Кто это заиграл? Чьи милые персты,
Чьи кольца яркие вдоль клавиш побежали?
Душа моя полна восторга и печали —
Я не боюсь могильной темноты.

10 II 1916

МУЛЫ

Под сводом хмурых туч, спокойствием объятых,
Ненастный день темнел и ночь была близка, —
Грядой далеких гор, молочно-синеватых,
На грани мертвых вод лежали облака.

Я с острова глядел на море и на тучи,
Остановясь в пути, — и горный путь, виясь
В обрыве сизых скал, белел по дикой круче,
Где шли и шли они, под ношею клонясь.

И звук их бубенцов, размеренный, печальный,
Мне говорил о том, что я в стране чужой,
И душу той страны, глухой, патриархальной,
Далекой для меня, я постигал душой.

Вот так же шли они при цезарях, при Реме,
И так же день темнел, и вдоль скалистых круч
Лепился городок, сырой, забытый всеми,
И человек скорбел под сводом хмурых туч.

10 II 1916

МИНЬОНА

В горах, от снега побелевших,
Туманно к вечеру синевших,
Тащилась на спине осла
Вязанка сучьев почерневших,
А я, в лохмотьях, следом шла.

Вдруг сзади крик — и вижу: сзади
Несется с гулом, полный клади,
На дышле с фонарем, дормез;
Едва метнулась я к ограде,
Как он, мелькнув, уже исчез.

В седых мехах, высок и строен,
Прекрасен, царственно спокоен
Был путешественник... Меня ль,
Босой и нищей, он достоин
И как ему меня не жаль!

Вот сплю в лачуге закопченной,
А он сравнит меня с мадонной,
С лучом небесного огня,
Он назовет меня Миньоной
И влюбит целый мир в меня.

12 II 1916

В ГОРАХ

Поэзия темна, в словах невыразима:
Как взволновал меня вот этот дикий скат.
Пустой кремнистый дол, загон овечьих стад,
Пастушеский костер и горький запах дыма!

Тревогой странною и радостью томимо,
Мне сердце говорит: «Вернись, вернись назад!»
Дым на меня пахнул, как сладкий аромат,
И с завистью, с тоской я проезжаю мимо.

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовет. Она в моем наследстве.
Чем я богаче им, тем больше я поэт.

Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет!

12 II 1916

СТОЙ, СОЛНЦЕ!

Летят, блестят мелькающие спицы,
Тоскую и дрожу,
А все вперед с летящей колесницы,
А все вперед гляжу.

Чтó впереди? Обрыв, провал, пучина,
Кровавый свет зари...
О, если б власть и властный крик Навина:
«Стой, солнце! Стой, замри!»

13 II 1916

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Над чернотой твоих пучин
Горели дивные светила,
И тяжко зыбь твоя ходила,
Взрывая огнь беззвучных мин.

Она глаза слепила нам,
И мы бледнели в быстром свете,
И сине-огненные сети
Текли по медленным волнам.

И снова, шумен и глубок,
Ты восставал и загорался —
И от звезды к звезде шатался
Великой тростью зыбкий фок.

За валом встречный вал бежал
С дыханьем пламенным муссона,
И хвост алмазный Скорпиона
Над чернотой твоей дрожал.

13 II 1916

* * *

Солнце полночное, тени лиловые
В желтых ухабах тяжелых зыбей.
Солнце не греет — на лица суровые
Падает светом холодных лучей.

Скрылись кресты Соловецкой обители.
Пусто — до полюса. В блеске морском
Легкою мглой убегают святители —
Три мужичка-старичка босиком.

7 IV 1916

МОЛОДОСТЬ

В сухом лесу стреляет длинный кнут,
В кустарнике трещат коровы,
И синие подснежники цветут,
И под ногами лист шуршит дубовый.

И ходят дождевые облака,
И свежим ветром в сером поле дует,
И сердце в тайной радости тоскует,
Что жизнь, как степь, пуста и велика.

7 IV 1916

АЛЕНУШКА

Аленушка в лесу жила,
Аленушка смугла была,
Глаза у ней горячие,
Блескучие, стоячие.
Мала, мала Аленушка,
А пьет с отцом — до донушка.
Пошла она в леса гулять,
Дружка искать, в кустах вилять,
Да кто ж в лесу встречается?
Одна сосна качается!
Аленушка соскучилась,
Бездельем измучилась,
Зажгла она большой костер,
А в сушь огонь куда востер!
Сожгла леса Аленушка
На тыщу верст, до пёнушка,
И где сама девалася —
Доныне не узналося!

20 VI 1916

В ОРДЕ

За степью, в приволжских песках,
Широкое, алое солнце тонуло.
Ребенок уснул у тебя на руках,
Ты вышла из душной кибитки, взглянула
На кровь, что в зеркальные соли текла,
На солнце, лежавшее точно на блюде, —
И сладкой отрадой степного, сухого тепла
Подуло в лицо твое, в потные смуглые груди.
Великий был стан за тобой:
Скрипели колеса, верблюды ревели,
Костры, разгораясь, в дыму пламенели
И пыль поднималась багровою тьмой.
Ты, девочка, тихая сердцем и взором,
Ты знала ль в тот вечер, садясь на песок,
Что сонный ребенок, державший твой темный сосок,

Тот самый Могол, о котором
Во веки веков не забудет земля?
Ты знала ли, Мать, что и я
Восславлю его, — что не надо мне рая,
Христа, Галилеи и лилий ее полевых,
Что я не смиреннее их —
Аттилы, Тимура, Мамая,
Что я их достоин, когда,
Наскучив таиться за ложью,
Рву древнюю хартию божью,
Насилую, режу, и граблю, и жгу города?
Погасла за степью слюда,
Дрожащее солнце в песках потонуло.
Ты скучно в померкшее небо взглянула
И, тихо вздохнувши, опять опустила глаза...
Несметною ратью чернели воза,
В синеющей ночи прохладой и горечью дуло.

27 VI 1916

МОЛОДОЙ КОРОЛЬ

То не красный голубь метнулся
Темной ночью над черной горою —
В черной туче метнулась зарница,
Осветила плетни и хаты,
Громом гремит далеким.

— Ваша королевская милость, —
Говорит королю Елена.
А король на коня садится,
Пробует, крепки ль подпруги,
И лица Елены не видит, —
Ваша королевская милость,
Пожалейте ваше королевство,
Не ездите ночью в горы:
Вражий стан, ваша милость, близко.

Король молчит, ни слова,
Пробует, крепко ли стремя.

— Ваша королевская милость, —
Говорит королю Елена, —
Пожалейте детей своих малых,
Молодую жену пожалейте,
Жениха моего пошлите! —
Король в ответ ей ни слова,
Разбирает в темноте поводья,
Смотрит, как светит на горе зарница.

И заплакала Елена горько
И сказала королю тихо:
— Вы у нас ночевали в хате,
Ваша королевская милость,
На беду мою ночевали,
На мое великое счастье.
Побудьте еще хоть до света,
Отца моего пошлите!

Не пушки в горах грохочут —
Гром по горам ходит,
Проливной ливень в лужах плещет,
Синяя зарница освещает
Дождевые длинные иглы.
Вороненую черноту ночи,
Мокрые соломенные крыши;
Петухи поют по деревне, —
То ли спросонья, с испугу,
То ли к веселой ночи...
Король сидит на крыльце хаты.

Ах, хороша, высока Елена!
Смело шагает она по навозу.
Ловко засыпает коню корма.

27 VI 1916

ЦЕЙЛОН

Окраина земли,
Безлюдные пустынные прибрежья,
До полюса открытый океан...

Матара — форт голландцев. Рвы и стены,
Ворота в них... Тенистая дорога
В кокосовом лесу, среди кокосов —
Лачуги сингалесов... Справа блеск,
Горячий зной сухих песков и моря...

Мыс Дондра в старых пальмах. Тут свежей,
Муссоном сладко тянет, под верандой
Гостиницы на сваях — шум воды:
Она, крутясь, перемывает камни,
Кипит атласной пеной...

Дальше — край,
Забытый богом. Джунгли низкорослы,
Холмисты, безграничны. Белой пылью
Слепит глаза... Меняют лошадей,
Толпятся дети, нищие... И снова
Глядишь на раскаленное шоссе,
На бухты океана. Пчелоеды,
В зелено-синих перьях, отдыхают
На золотистых нитях телеграфа...

Лагуна возле Ранны — как сапфир.
Вокруг алеют розами фламинго;
По лужам дремлют буйволы. На них
Стоят, белеют цапли, и с жужжаньем
Сверкают мухи... Сверху, из листвы,
Круглят глаза большие обезьяны...

Затем опять убогое селенье,
Десяток нищих хижин. В океане,
В закатном блеске, — розовые пятна
Недвижных парусов, а сзади, в джунглях, —
Сиреневые горы... Ночью в окна
Глядит луна... А утром, в голубом
И чистом небе — коршуны браминов,
Кофейные, с фарфоровой головкой:
Следят в прибое рыбу...

Вновь дорога:
Лазоревое озеро, в кольце
Из белой соли, заросли и дебри.

Все дико и прекрасно, как в Эдеме:
Торчат шипы акаций, защищая
Узорную нежнейшую листву,
Цветами рдеют кактусы, сереют
Стволы в густых лианах... Как огонь
Пылают чаши лилии ползучей,
Тьмы мотыльков трепещут... На поляне
Лежит громада бурая: удав...
Вот медленно клубится, уползает...

Встречаются двуколки. Крыши их,
Соломенные, длинно выступают
И спереди и сзади. В круп бычков,
Запряженных в двуколки, тычут палкой:
«Мек, мек!» — кричит погонщик, весь нагой,
С прекрасным черным телом... Вот пески,
Пошли пальмиры — ходят в синем небе
Их веерные листья, — распевают
По джунглям петухи, но тонко, странно,
Как наши молодые... В высоте
Кружат орлы, трепещет зоркий сокол...
В траве перебегают грациозно
Песочники, бекасы... На деревьях
Сидят в венцах павлины... Вдруг бревном
Промчался крокодил, шлеп в воду —
И точно порохом взорвало рыбок!

Тут часто слон встречается: стоит
И дремлет на поляне, на припеке;
Есть леопард, — он лакомка, он жрет,
Когда убьет собаку, только сердце;
Есть кабаны и губачи-медведи;
Есть дикобраз, — бежит на водопой,
Подняв щетину, страшно деловито,
Угрюмо, озабоченно...

Отсюда,
От этих джунглей, этих берегов —
До полюса открыто море...

27 VI 1916

В ЦИРКЕ

С застывшими в блеске зрачками,
В лазурной пустой вышине,
Упруго, качаясь, толчками
Скользила она по струне.

И скрипка таинственно пела,
И тысячи взоров впились
Туда, где мерцала, шипела
Пустая лазурная высь,

Где некая сжатая сила
Струну колебала, свистя,
Где тихо над бездной скользила
Наяда, лунатик, дитя.

28 VI 1916

БОГИНЯ

Навес кумирни, жертвенник в жасмине —
И девственниц склоненных белый ряд.
Тростинки благовонные чадят
Перед хрустальной статуей богини,
Потупившей свой узкий, козий взгляд.

Лес, утро, зной. То зелень изумруда,
То хризолиты светят в хрустале.
На кованом из золота столе
Сидит она спокойная, как Будда,
Пречистая в раю и на земле.

И взгляд ее, загадочный и зыбкий,
Мерцает все бесстрастней и мертвей
Из-под косых приподнятых бровей,
И тонкою недоброю улыбкой
Чуть озарен блестящий лик у ней.

28 VI 1916

* * *

Рыжими иголками
  Устлан косогор,
Сладко пахнет елками
  Жаркий летний бор.

Сядь на эту скользкую
  Золотую сушь
С песенкою польскою
  Про лесную глушь.

Темнота ветвистая
  Над тобой висит,
Красное, лучистое,
  Солнце чуть сквозит.

Дай твои ленивые
  Девичьи уста,
Грусть твоя счастливая,
  Песенка проста.

Сладко пахнет елками
  Потаенный бор,
Скользкими иголками
  Устлан косогор.

30 VI 1916

РУСЛАН

Гранитный крест меж сосен, на песчаном
Крутом кургане. Дальше — золотой
Горячий блеск: там море, там в стеклянном
Просторе вод — мир дивный и пустой...
А крест над кем? Да, бают, над Русланом.

И сходят наземь с седел псковичи,
Сымают с плеч тяжелые мечи
И преклоняют шлемы пред курганом,
И зоркая сорока под крестом
Качает длинным траурным хвостом.

Вдоль по песку на блеске моря скачет —
И что-то прячет, прячет...

Морской простор — в доспехе золотом.

16 VII 1916

* * *

Край без истории... Все лес да лес, болота,
Трясины, заводи в ольхе и тростниках,
В столетних яворах... На дальних облаках —
Заката летнего краса и позолота,
Вокруг тепло и блеск. А на низах уж тень,
Холодный сивый дым... Стою, рублю кремень,
Курю, стираю пот... Жар стынет — остро, сыро
И пряно пахнет глушь. Невидимого клира
Тончайшие поют и ноют голоса.
Столбом толчется гнус, таинственно и слабо
Свистят в куге ужи... Вот гаснет полоса
Чуть греющих лучей, вот заквохта́ла жаба
В дымящейся воде... Колтунный край древлян,
Русь киевских князей, медведей, лосей, туров,
Полесье бортников и черных смолокуров —
И теплых сумерек краснеющий шафран.

16 VII 1916

ПЛОТЫ

С востока дует холодом, чернеет зыбь реки
Напротив солнца низкого и плещет на пески.

Проходит зелень бледная, на отмелях кусты,
А ей навстречу — желтые сосновые плоты.

А на плотах, что движутся с громадою реки
Напротив зыби плещущей, орут плотовщики,

Мужицким пахнет варевом, костры в дыму трещат
И рдеет красным заревом на холоде закат.

16 VII 1916

* * *

Полночный звон степной пустыни,
Покой небес, тепло земли,
И горький мед сухой полыни,
И бледность звездная вдали.

Что слушает моя собака?
Вне жизни мы и вне времен.
Звенящий сон степного мрака
Самим собой заворожен.

22 VII 1916

ДЕДУШКА В МОЛОДОСТИ

Вот этот дом, сто лет тому назад,
Был полон предками моими,
И было утро, солнце, зелень, сад,
Роса, цветы, а он глядел живыми,
Сплошь темными глазами в зеркала
Богатой спальни деревенской
На свой камзол, на красоту чела,
Изысканно, с заботливостью женской
Напудрен рисом, надушен,
Меж тем как пахло жаркою крапивой
Из-под окна открытого, и звон,
Торжественный и празднично-счастливый,
Напоминал, что в должный срок
Пойдет он по аллеям, где струится
С полей нагретый солнцем ветерок
И золотистый свет дробится
В тени раскидистых берез,
Где на куртинах диких роз,
В блаженстве ослепительного блеска,
Впивают пчелы теплый мед,
Где иволга то вскрикивает резко,
То оканиною поет,
А вдалеке, за валом сада,
Спешит народ, и краше всех — она,
Стройна, нарядна и скромна,
С огнем потупленного взгляда.

22 VII 1916

ИГРОКИ

Овальный стол, огромный. Вдоль по залу
Проходят дамы, слуги, — на столе
Огни свечей, горящих в хрустале,
Колеблются. Но скупо внемлет балу,
Гремящему в банкетной, и речам
Мелькающих по залу милых дам
Круг игроков. Все курят. Беглым светом
Блестят огни по жирным эполетам.

Зал, белый весь, прохладен и велик.
Под люстрой тень. Меж золотисто-смуглых
Больших колонн, меж окон полукруглых —
Портретный ряд: вон Павла плоский лик,
Вон шелк и груди важной Катерины,
Вон Александра узкие лосины...
За окнами — старинная Москва
И звездной зимней ночи синева.

Задумчивая женщина прижала
Платок к губам; у мерзлого окна
Сидит она, спокойна и бледна,
Взор устремив на тусклый сумрак зала —
На одного из штатских игроков,
И чувствует он тьму ее зрачков,
Ее очей недвижных и печальных
Под топот пар и гром мазурок бальных.

Немолод он и на руке кольцо.
Весь выбритый, худой, костлявый, стройный,
Он мечет зло, со страстью беспокойной.
Вот поднимает желчное лицо —
Скользит под красновато-черным коком
Лоск костяной на лбу его высоком —
И говорит: «Ну что же, генерал,
Я, кажется, довольно проиграл?

Не будет ли? И в картах и в любови
Мне не везет, а вы счастливый муж,
Вас ждет жена...» — «Нет, Стоцкий, почему ж?

Порой и я люблю волненье крови», —
С усмешкой отвечает генерал.
И длится штосс, и длится светлый бал...
Пред ужином, в час ночи, генерала
Жена домой увозит: «Я устала».

В пустом прохладном зале только дым,
В столовых шумно, говор и расспросы,
Обносят слуги тяжкие подносы,
Князь говорит: «А Стоцкий где? Что с ним?»
Муж и жена — те в темной колымаге,
Спешат домой. Промерзлые сермяги,
В заиндевевших шапках и лаптях,
Трясутся на передних лошадях.

Москва темна, глуха, пустынна, — поздно.
Визжат, стучат в ухабах подреза,
Возок скрипит. Она во все глаза
Глядит в стекло — там, в синей тьме морозной,
Кудрявится деревьев серых мгла
И мелкие блистают купола...
Он хмурится с усмешкой: «Да, вот чудо!
Нет Стоцкому удачи ниоткуда!»

22 VII 1916

ФРЕСКА

Архистратиг средневековый,
Написанный века тому назад
На церковке одноголовой,
Был тонконог, весь в стали и крылат.
Кругом чернел холмистый бор сосновый,
На озере, внизу, стоял посад.
Текли года. Посадские мещане
К нему ходили на поклон.
Питались тем, чем при царе Иване, —
Поставкой в город древка для икон,
Корыт, латков, — и правил Рыцарь строгий
Работой их, заботой их убогой,

Да хмурил брови тонкие свои
На песни и кулачные бои.
Он говорил всей этой жизни бренной,
Глухой, однообразной, неизменной,
Про дивный мир небесного царя, —
И освещала с грустью сокровенной
Его с заката бледная заря.
Кто знал его? Но вот, совсем недавно,
Открыт и он, по прихоти тщеславной
Столичных мод, — в журнале дорогом
Изображен на диво, и о нем
Теперь толкуют мистики, эстеты,
Богоискатели, девицы и поэты.
Их сытые, болтливые уста
Пророчат Руси быть архистратигом,
Кощунствуют о рубище Христа
И умиляются — по книгам —
Как Русь смиренна и проста.

23 VII 1916

ПОСЛЕДНИЙ ШМЕЛЬ

Черный бархатный шмель, золотое оплечье,
Заунывно гудящий певучей струной,
Ты зачем залетаешь в жилье человечье
И как будто тоскуешь со мной?

За окном свет и зной, подоконники ярки,
Безмятежны и жарки последние дни,
Полетай, погуди — и в засохшей татарке,
На подушечке красной, усни.

Не дано тебе знать человеческой думы,
Что давно опустели поля,
Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый
Золотого сухого шмеля!

26 VII 1916

* * *

Настанет день — исчезну я,
А в этой комнате пустой
Все то же будет: стол, скамья
Да образ, древний и простой.

И так же будет залетать
Цветная бабочка в шелку,
Порхать, шуршать и трепетать
По голубому потолку.

И так же будет неба дно
Смотреть в открытое окно,
И море ровной синевой
Манить в простор пустынный свой.

10 VIII 1916

НА НЕВСКОМ

Колеса мелкий снег взрывали и скрипели,
Два вороных надменно пролетели,
Каретный кузов быстро промелькнул,
Блеснувши глянцем стекол мерзлых;
Слуга, сидевший с кучером на козлах,
От вихрей голову нагнул,
Поджал губу, синевшую щетиной,
И ветер веял красной пелериной
В орлах на позументе золотом...
Все пронеслось и скрылось за мостом,
В темнеющем буране... Зажигали
Огни в несметных окнах вкруг меня,
Чернели грубо баржи на канале,
И на мосту, с дыбящего коня
И с бронзового юноши нагого,
Повисшего у диких конских ног,
Дымились клочья праха снегового...

Я молод был, безвестен, одинок
В чужом мне мире, сложном и огромном.
Всю жизнь я позабыть не мог
Об этом вечере бездомном.

27 VIII 1916

* * *

Тихой ночью поздний месяц вышел
Из-за черных лип.
Дверь балкона скрипнула, — я слышал
Этот легкий скрип.
В глупой ссоре мы одни не спали,
А для нас, для нас
В темноте аллей цветы дышали
В этот сладкий час.
Нам тогда — тебе шестнадцать было,
Мне семнадцать лет,
Но ты помнишь, как ты отворила
Дверь на лунный свет?
Ты к губам платочек прижимала,
Смокшийся от слез,
Ты, рыдая и дрожа, роняла
Шпильки из волос,
У меня от нежности и боли
Разрывалась грудь...
Если б, друг мой, было в нашей воле
Эту ночь вернуть!

27 VIII 1916

ПОМПЕЯ

Помпея! Сколько раз я проходил
По этим переулкам! Но Помпея
Казалась мне скучней пустых могил,
Мертвей и чище нового музея.

Я ль виноват, что все перезабыл:
И где кто жил, и где какая фея
В нагих стенах, без крыши, без стропил,
Шла в хоровод, прозрачной тканью вея!

Я помню только древние следы,
Протертые колесами в воротах,
Туман долин, Везувий и сады.

Была весна. Как мед в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил — и только жизнь любил.

28 VIII 1916

КАЛАБРИЙСКИЙ ПАСТУХ

Лохмотья, нож — и цвета черной крови
Недвижные глаза...
Сон давних дней на этой древней нови.
Поют дрозды. Пять-шесть овец, коза.

Кругом, в пустыне каменистой,
Желтеет дрок. Вдали руины, храм.
Вдали полдневных гор хребет лазурно-мглистый
И тени облаков по выжженным буграм.

28 VIII 1916

КОМПАС

Качка слабых мучит и пьянит,
Круглое окошко поминутно
Гасит, заливает хлябью мутной —
И трепещет, мечется магнит.

Но откуда б, в ветре и тумане,
Ни швыряло пеной через борт,
Верю — он опять поймает Nord,
Крепко сплю, мотаясь на диване.

Не собьет с пути меня никто.
Некий Nord моей душою правит,
Он меня в скитаньях не оставит,
Он мне скажет, если что: не то!

28 VIII 1916

* * *

Покрывало море свитками
Древней хартии своей
Берег с пестрыми кибитками
Забавлявшихся людей.

Но пришла зима с туманами
И безлюдьем: дик и груб,
Океан гремит орга́нами,
Гулом раковинных труб.

В свисте бури крик мерещится —
И печальная луна
Ночью прыгает и плещется
Там, где мечется волна.

29 VIII 1916

АРКАДИЯ

Ключ гремит на дне теснины,
Тень широкая сползла
От горы до половины
Белознойного русла.
Истекают, тают сосны
Разогретою смолой,
И Зиждитель скиптроносный
Дышит сладостною мглой.
Пастухи его видали:
Он покоится в тени,
И раскинуты сандалий
Запыленные ремни.
Золотою скользкой броней,
Хвоей, устлана гора —
И тяжка от благовоний
Сосен темная жара.

29 VIII 1916

КАПРИ

Проносились над островом зимние шквалы и бури
То во мгле и дожде, то в сиянии влажной лазури
И качались, качались цветы за стеклом,
За окном мастерской, в красных глиняных вазах, —
От дождя на стекле загорались рубины в алмазах
И свежее цветы расцветали на лоне морском.
Ветер в раме свистал, раздувал серый пепел в камине,
Градом сек по стеклу — и опять были ярки и сини
Средиземные зыби, глядевшие в дом,
А за тонким блестящим стеклом,
То на мгле дождевой, то на водной синевшей пустыне,
В золотой пустоте голубой высоты,
Всё качались, качались дышавшие морем цветы.
Проносились февральские шквалы. Светлее и жарче
сияли
Африканские дали,
И утихли ветры, зацвели
В каменистых садах миндали,
Появились туристы в панамах и белых ботинках
На обрывах, на козьих тропинках —
И к Сицилии, к Греции, к лилиям божьей земли,
К Палестине
Потянуло меня... И остался лишь пепел в камине
В опустевшей моей мастерской,
Где всю зиму качались цветы на синевшей пустыне
морской.

30 VIII 1916

* * *

Едем бором, черными лесами.
Вот гора, песчаный спуск в долину.
Вечереет. На горе пред нами
Лес щетинит новую вершину.

И темным-темно в той новой чаще,
Где опять скрывается дорога,
И враждебен мой ямщик молчащий,
И надежда в сердце лишь на бога,

Да на бег коней нетерпеливый,
Да на этот нежный и певучий
Колокольчик, плачущий счастливо,
Что на свете все авось да случай.

9 IX 1916

ПЕРВЫЙ СОЛОВЕЙ

Тает, сияет луна в облаках.
Яблони в белых кудрявых цветах.

Зыбь облаков и мелка и нежна.
Возле луны голубая она.

В холоде голых, прозрачных аллей
Пробует цокать, трещит соловей.

В доме, уж темном, в раскрытом окне,
Девочка косы плетет при луне.

Сладок и нов ей весенний рассказ,
Миру рассказанный тысячу раз.

2 X 1916

СРЕДИ ЗВЕЗД

Настала ночь, остыл от звезд песок.
Скользя в песке, я шел за караваном,
И Млечный Путь, двоящийся поток,
Белел над ним светящимся туманом.

Он дымчат был, прозрачен и высок.
Он пропадал в горах за Иорданом,
Он ниспадал на сумрачный восток,
К иным звезда́м, к забытым райским странам.

Скользя в песке, шел за верблюдом я.
Верблюд чернел, его большое тело
На верховом качало ствол ружья.

Седло сухое деревом скрипело,
И верховой кивал, как неживой,
Осыпанной звездами головой.

28 X 1916

* * *

Море, степь и южный август, ослепительный и жаркий.
Море плавится в заливе драгоценной синевой.
Вниз бегу. Обрыв за мною против солнца желтый, яркий,
А холмистое прибрежье блещет высохшей травой.

Вниз сбежавши, отдыхаю. И лежу, и слышу лежа
Несказанное безмолвье. Лишь кузнечики сипят
Да печет нещадно солнце. И горит, чернеет кожа,
Сонным хмелем входит в тело огневой полдневный яд.

Вспоминаю летний полдень, небо светлое... В просторе
Света, воздуха и зноя, стройно, молодо, легко
Ты выходишь из кабинки. Под тобою, в сваях, море,
Под ногой горячий мостик... Этот полдень далеко...

Вот опять я молод, волен — миновало наше лето...
Мотыльки горячим роем осыпают предо мной
Пересохшие бурьяны. И раскрыта и нагрета
Опустевшая кабинка... В мире радость, свет и зной.

30 X 1916

* * *

Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны,
Черный ряд кипарисов в квадрате высокой стены,
Белизна мавзолеев, блестящих на солнце кругом,
Зимний холод мистраля, пригретый весенним теплом,
Шум и свежесть валов, что, как сосны, шумят за стеной,
И небес гиацинт в снеговых облаках надо мной.

29 VIII 1917

* * *

У ворот Сиона, над Кедроном,
На бугре, ветрами обожженном,
Там, где тень бывает от стены,
Сел я как-то рядом с прокаженным,
Евшим зерна спелой белены.

Он дышал невыразимым смрадом,
Он, безумный, отравлялся ядом,
А меж тем, с улыбкой на губах,
Поводил кругом блаженным взглядом,
Бормоча: «Благословен аллах!»

Боже милосердый, для чего ты
Дал нам страсти, думы и заботы,
Жажду дела, славы и утех?
Радостны калеки, идиоты,
Прокаженный радостнее всех.

16 IX 1917

ЭПИТАФИЯ

На земле ты была точно дивная райская птица
На ветвях кипариса, среди золоченых гробниц.
Юный голос звучал, как в полуденной роще цевница,
И лучистые солнца сияли из черных ресниц.

Рок отметил тебя. На земле ты была не жилица.
Красота лишь в Эдеме не знает запретных границ.

19 IX 1917

ЛАНДЫШ

В голых рощах веял холод...
Ты светился меж сухих,
Мертвых листьев... Я был молод,
Я слагал свой первый стих —

И навек сроднился с чистой,
Молодой моей душой
Влажно-свежий, водянистый,
Кисловатый запах твой!

19 IX 1917

СВЕТ НЕЗАКАТНЫЙ

Там, в полях, на погосте,
В роще старых берез,
Не могилы, не кости —
Царство радостных грез.
Летний ветер мотает
Зелень длинных ветвей —
И ко мне долетает
Свет улыбки твоей.
Не плита, не распятье —
Предо мной до сих пор
Институтское платье
И сияющий взор.
Разве ты одинока?
Разве ты не со мной
В нашем прошлом, далеком,
Где и я был иной?
В мире круга земного,
Настоящего дня,
Молодого, былого
Нет давно и меня!

24 IX 1917

* * *

Ранний, чуть видный рассвет,
Сердце шестнадцати лет.

Сада дремотная мгла
Липовым цветом тепла.

Тих и таинственен дом
С крайним заветным окном.

Штора в окне, а за ней
Солнце вселенной моей.

27 IX 1917

* * *

Мы рядом шли, но на меня
Уже взглянуть ты не решалась,
И в ветре мартовского дня
Пустая наша речь терялась.

Белели стужей облака
Сквозь сад, где падали капели,
Бледна была твоя щека,
И, как цветы, глаза синели.

Уже полураскрытых уст
Я избегал касаться взглядом,
Но был еще блаженно пуст
Тот дивный мир, где шли мы рядом.

28 IX 1917

* * *

Щеглы, их звон, стеклянный, неживой,
И клен над облетевшею листвой,
На пустоте лазоревой и чистой,
Уже весь голый, легкий и ветвистый. . .
О, мука мук! Что надо мне, ему,
Щеглам, листве? И разве я пойму,
Зачем я должен радость этой муки,
Вот этот небосклон и этот звон,
И темный смысл, которым полон он,
    Вместить в созвучия и звуки?
Я должен взять — и, разгадав, отдать,
    Мне кто-то должен сострадать,

Что пригревает солнце низким светом
Меня в саду, просторном и раздетом,
    Что озаряет желтая листва
Ветвистый клен, что я едва-едва,
Бродя в восторге по́ саду пустому,
Мою тоску даю понять другому...
— Беру большой зубчатый лист с тугим
Пурпурным стеблем, — пусть в моей тетради
Останется хоть память вместе с ним
    Об этом светлом вертограде
С травой, хрустящей белым серебром,
О пустоте, сияющей над кленом
    Безжизненно-лазоревым шатром,
И о щеглах с хрустально-мертвым звоном!

3 X 1917

* * *

Как в апреле по ночам в аллее,
И все тоньше верхних сучьев дым,
И все легче, ближе и виднее
Побледневший небосклон за ним.

Этот верх в созвездьях, в их узорах,
Дымчатый, воздушный и сквозной,
Этих листьев под ногами шорох,
Эта грусть — всё то же, что весной.

Снова накануне. И с годами
Сердце не считается. Иду
Молодыми, легкими шагами —
И опять, опять чего-то жду.

10 X 1917

* * *

Этой краткой жизни вечным измененьем
Буду неустанно утешаться я, —
Этим ранним солнцем, дымом над селеньем,

В свежем парке листьев медленным паденьем
И тобой, знакомая, старая скамья.

Будущим поэтам, для меня безвестным,
Бог оставит тайну — память обо мне:
Стану их мечтами, стану бестелесным,
Смерти недоступным, — призраком чудесным
В этом парке розовом, в этой тишине.

10 X 1917

* * *

В дачном кресле, ночью, на балконе...
Моря колыбельный шум...
Будь доверчив, кроток и спокоен,
Отдохни от дум.

Ветер приходящий, уходящий,
Веющий безбрежностью морской...
Есть ли тот, кто этой дачи спящей
Сторожит покой?

Есть ли тот, кто должной мерой мерит
Наши знанья, судьбы и года?
Если сердце хочет, если верит,
Значит — да.

То, что есть в тебе, ведь существует.
Вот ты дремлешь, и в глаза твои
Так любовно мягкий ветер дует —
Как же нет Любви?

9 VII 1918

* * *

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

14 VII 1918

* * *

Древняя обитель супротив луны
На лесистом взгорье, над речными водами.
Бледно-синеватый мел ее стены,
Мрамор неба, белый, с синими разводами.

А на этом небе, в этих облаках,
Глубину небесную в черноту сгущающих, —
Храмы в златокованных мелких шишаках,
Райскою красою за стеной мерцающих.

20 VII 1918

* * *

На даче тихо, ночь темна,
Туманны звезды голубые,
Вздыхая, ширится волна,
Цветы качаются слепые —

И часто с ветром, до скамьи,
Как некий дух в эфирной плоти,
Доходят свежие струи
Волны, вздыхающей в дремоте.

13 IX 1918

МИХАИЛ

Архангел в сияющих латах
И с красным мечом из огня
Стоял на клубах синеватых
И дивно глядел на меня.

Порой в алтаре он скрывался,
Светился на двери косой —
И снова народу являлся,
Большой, по колена босой.

Ребенок, я думал о боге,
А видел лишь кудри до плеч,
Да крупные бурые ноги,
Да римские латы и меч...

Дух гнева, возмездия, кары!
Я помню тебя, Михаил,
И храм этот, темный и старый,
Где ты мое сердце пленил!

13 IX 1919

КАНАРЕЙКА

На родине она зеленая...

Брэм

Канарейку из-за моря
Привезли, и вот она
Золотая стала с горя,
Тесной клеткой пленена.

Птицей вольной, изумрудной
Уж не будешь, — как ни пой
Про далекий остров чудный
Над трактирною толпой!

10 V 1921

* * *

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать *прости* родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
   Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
   С своей уж ветхою котомкой!

25 VI 1922

МОРФЕЙ

Прекрасен твой венок из огненного мака,
Мой Гость таинственный, жилец земного мрака.
Как бледен смуглый лик, как долог грустный взор,
Глядящий на меня и кротко и в упор,
Как страшен смертному безгласный час Морфея!

Но сказочно цветет, во мраке пламенея,
Божественный венок, и к радостной стране
Уводит он меня, где все доступно мне,
Где нет преград земных моим надеждам вешним,
Где снюсь я сам себе далеким и нездешним,
Где не дивит ничто — ни даже ласки той,
С кем бог нас разделил могильною чертой.

26 VII 1922

СИРИУС

Где ты, звезда моя заветная,
   Венец небесной красоты?
Очарованье безответное
   Снегов и лунной высоты?

Где вы, скитания полночные
   В равнинах светлых и нагих,
Надежды, думы непорочные
   Далеких юных лет моих?

Пылай, играй стоцветной силою,
   Неугасимая звезда,
Над дальнею моей могилою,
   Забытой богом навсегда!

22 VIII 1922

* * *

Зачем пленяет старая могила
Блаженными мечтами о былом?
Зачем зеленым клонится челом
Та ива, что могилу осенила,
Так горестно, так нежно и светло,
Как будто все, что было и прошло,
Уже познало радость воскресенья
И в лоне всепрощения, забвенья
Небесными цветами поросло?

25 VIII 1922

* * *

В полночный час я встану и взгляну
На бледную высокую луну,
И на залив под нею, и на горы,
Мерцающие снегом вдалеке...
Внизу вода чуть блещет на песке,
А дальше муть, свинцовые просторы,
Холодный и туманный океан...

Познал я, как ничтожно и не ново
Пустое человеческое слово,
Познал надежд и радостей обман,
Тщету любви и терпкую разлуку
С последними, немногими, кто мил,
Кто близостью своею облегчил
Ненужную для мира боль и муку,
И эти одинокие часы
Безмолвного полуночного бденья,
Презрения к земле и отчужденья
От всей земной бессмысленной красы.

25 VIII 1922

* * *

Мечты любви моей весенней,
Мечты на утре дней моих,
Толпились — как стада оленей
У заповедных вод речных:

Малейший звук в зеленой чаще —
И вся их чуткая краса,
Весь сонм блаженный и дрожащий
Уж мчался молнией в леса!

26 VIII 1922

* * *

Печаль ресниц, сияющих и черных,
Алмазы слез, обильных, непокорных,
И вновь огонь небесных глаз,
Счастливых, радостных, смиренных, —
Все помню я... Но нет уж в мире вас,
Когда-то юных и блаженных!

Откуда же являешься ты мне?
Зачем же воскресаешь ты во сне,
Несрочной прелестью сияя,
И дивно повторяется восторг,
Та встреча, краткая, земная,
Что бог нам дал и тотчас вновь расторг?

27 VIII 1922

ВЕНЕЦИЯ

Колоколов средневековый
Певучий зов, печаль времен,
И счастье жизни вечно новой,
И о былом счастливый сон.

И чья-то кротость, всепрощенье
И утешенье: все пройдет!
И золотые отраженья
Дворцов в лазурном глянце вод.

И дымка млечного опала,
И солнце, смешанное с ним,
И встречный взор, и опахало,
И ожерелье из коралла
Под катафалком водяным.

28 VIII 1922

* * *

В гелиотроповом свете молний летучих
На небесах раскрывались дымные тучи,
На косогоре далеком — призрак дубравы,
В мокром логу перед домом — белые травы.

Молнии мраком топило, с грохотом грома
Ливень свергался на крышу полночного дома —
И металлически страшно, в дикой печали,
Гуси из мрака кричали.

30 VIII 1922

ПАНТЕРА

Черна, как копь, где солнце, где алмаз.
Брезгливый взгляд полузакрытых глаз
Томится, пьян, мерцает то угрозой,
То роковой и неотступной грезой.

Томят, пьянят короткие круги,
Размеренно-неслышные шаги, —
Вот в царственном презрении ложится
И вновь в себя, в свой жаркий сон глядится.

Сощуривши, глаза отводит прочь,
Как бы слепит их этот сон и ночь,
Где черных копей знойное горнило,
Где жгучих солнц алмазная могила.

9 IX 1922

1885 ГОД

Была весна, и жизнь была легка.
Зияла адом свежая могила,
Но жизнь была легка, как облака,
Как тот дымок, что веял из кадила.

Земля, как зацветающая новь,
Блаженная, лежала предо мною —
И первый стих и первая любовь
Пришли ко мне с могилой и весною.

И это ты, простой степной цветок,
Забытый мной, отцветший и безвестный,
На утре дней моих попрала смерть, как бог,
И увела в мир вечный и чудесный!

9 IX 1922

ПЕТУХ НА ЦЕРКОВНОМ КРЕСТЕ

Плывет, течет, бежит ладьей,
И как высоко над землей!
Назад идет весь небосвод,
А он вперед — и все поет.

Поет о том, что мы живем,
Что мы умрем, что день за днем
Идут года, текут века —
Вот как река, как облака.

Поет о том, что все обман,
Что лишь на миг судьбою дан
И отчий дом, и милый друг,
И круг детей, и внуков круг,
Что вечен только мертвых сон,
Да божий храм, да крест, да он.

12 IX 1922
Амбуаз

ВСТРЕЧА

Ты на плече рукою обнаженной,
    От зноя темной и худой,
Несешь кувшин из глины обожженной,
    Наполненный тяжелою водой.
С нагих холмов, где стелются сухие
    Седые злаки и полынь,
Глядишь в простор пустынной Кумании,
    В морскую вечереющую синь.
Все та же ты, как в сказочные годы!
    Все те же губы, тот же взгляд,
Исполненный и рабства и свободы,
    Умерший на земле уже стократ.
Все тот же зной и дикий запах лука
    В телесном запахе твоем,
И та же мучит сладостная мука —
    Бесплодное томление о нем.
Через века найду в пустой могиле
    Твой крест серебряный, и вновь,
Вновь оживет мечта о древней были,
    Моя неутоленная любовь,
И будет вновь в морской вечерней сини,
    В ее задумчивой дали,
Все тот же зов, печаль времен, пустыни
    И красота полуденной земли.

12 X 1922

* * *

Льет без конца. В лесу туман.
Качают елки головою:
«Ах, боже мой!» — Лес точно пьян,
Пресыщен влагой дождевою.

В сторожке темной у окна
Сидит и ложкой бьет ребенок.
Мать на печи, — все спит она,
В сырых сенях мычит теленок.

В сторожке грусть, мушиный гуд...
— Зачем в лесу звенит овсянка,
Грибы растут, цветы цветут
И травы ярки, как медянка?

— Зачем под мерный шум дождя,
Томясь всем миром и сторожкой,
Большеголовое дитя
Долбит о подоконник ложкой?

Мычит теленок, как немой,
И клонят горестные елки
Свои зеленые иголки:
«Ах, боже мой! Ах, боже мой!»

10 V 1923

* * *

Уж как на́ море, на́ море,
На синем камени,
Нагая краса сидит,
Белые ноги в волне студит,
Зазывает с пути корабельщиков:
«Корабельщики, корабельщики!
Что вы по свету ходите,
Понапрасну ищете
Самоцветного яхонта-жемчуга?
Есть одна в море жемчужина —
Моя белая краса,
Уста жаркие,
Груди холодные,
Ноги легкие,
Лядвии тяжелые!
Есть одна утеха не постылая —
На руке моей спать-почивать,
Слушать песни мои унывные!»
Корабельщики плывут, не слушают,
А на сердце тоска-печаль,
На глазах слезы горючие.

Ту тоску не заспать, не забыть
Ни в пути, ни в пристани,
Не отдумать дó веку.

10 V 1923

ДОЧЬ

Все снится: дочь есть у меня,
И вот я, с нежностью, с тоской,
Дождался радостного дня,
Когда ее к венцу убрали,
И сам, неловкою рукой,
Поправил газ ее вуали.

Глядеть на чистое чело,
На робкий блеск невинных глаз
Не по себе мне, тяжело,
Но все ж бледнею я от счастья,
Крестя ее в последний час
На это женское причастье.

Что снится мне потом? Потом
Она уж с *ним* — как страшен он! —
Потом мой опустевший дом —
И чувством молодости странной,
Как будто после похорон,
Кончается мой сон туманный.

7 VI 1923

* * *

«Опять холодные седые небеса,
Пустынные поля, набитые дороги,
На рыжие ковры похожие леса
И тройка у крыльца и слуги на пороге...»

Ах, старая наивная тетрадь!
Как смел я в те года гневить печалью бога?
Уж больше не писать мне этого «опять»
Перед счастливою осеннею дорогой!

7 VI 1923

* * *

Одно лишь небо, светлое, ночное,
 Да ясный круг луны
Глядит всю ночь в отверстие пустое,
 В руину сей стены.

Свежо тут дует ветер из простора
 Сарматских диких мест,
И буйный шум, подобный шуму бора,
 Всю ночь стоит окрест:

То Понт кипит, в песках могилы роет,
 Ярится при луне —
И волосы утопленников моет,
 Влача их по волне.

10 VI 1923

ГАДАНЬЕ

Гадать? Ну что же, я послушна,
Давай очки, подвинь огонь. . .
— Ах, как нежна и простодушна
Твоя открытая ладонь!

Но ты потупилась, смущаясь?
В лице румянца ни следа,
В ресницах слезы? — Не беда:
Бледнеют розы, раскрываясь.

ВОСХОД ЛУНЫ

В чаще шорох потаенный,
Дуновение тепла.
Тополь, сверху озаренный,
Перед домом вознесенный,
Весь из жидкого стекла.

В чащу темную глядится
Круг зеркально-золотой.

Тополь льется, серебрится,
Весь трепещет и струится
Стекловидною водой.

* * *

В пустом, сквозном чертоге сада
Иду, шумя сухой листвой:
Какая странная отрада
Былое попирать ногой!
Какая сладость все, что прежде
Ценил так мало, вспоминать!
Какая боль и грусть — в надежде
Еще одну весну узнать!

КОБЫЛИЦА

Я снял узду, седло — и вольно
Она метнулась от меня,
А я склонился богомольно
Пред солнцем гаснущего дня.

Она взмахнула легкой гривой
И, ноздри к ветру обратив,
С тоскою нежной и счастливой
Кому-то страстный шлет призыв.

Едины божии созданья,
Благословен создавший их
И совместивший все желанья
И все томления — в моих.

ГОЛУБЬ

Белый голубь летит через море,
Через сине-зеленое море,
Белый голубь Киприды завидел,
Что стоишь ты на жарком песке,

Что кипит белоснежная пена
По твоим загорелым ногам,
Он пернатой стрелою несется
Из-за волн, где грядой голубою
Тают в солнечной мгле острова,
Долетев, упадает в восторге
На тугие холодные груди,
Орошенные пылью морской,
Трепеща, он уста твои ищет,
А горячее солнце выходит
Из прозрачного облака, зноем,
Точно маслом, тебя обливает —
И Киприда с божественным смехом
Обнимает тебя выше бедр.

РАБЫНЯ

Странно создан человек!
Оттого что ты рабыня,
Оттого что ты без страха
Отскочила от поэта
И со смехом диск зеркальный
Поднесла к его морщинам, —
С вящей жаждой вожделенья
Смотрит он, как ты прижалась,
Вся вперед подавшись, в угол,
Как под желтым шелком остро
Встали маленькие груди,
Как сияет смуглый локоть,
Как смолисто пали кудри
Вдоль ливийского лица,
На котором черным солнцем
Светят радостно и знойно
Африканские глаза.

ГРОТ

Волна, хрустальная, тяжелая, лизала
Подножие скалы — качался водный сплав,
Горбами шел к скале, — волна росла, сосала

Ее кровавый мох, медлительно вползала
В отверстье грота, как удав, —
И вдруг темнел, переполнялся бурным,
Гремящим шумом звучный грот
И вспыхивал таким лазурным
Огнем его скалистый свод,
Что с криком ужаса и смехом
Кидался в сумрак дальних вод,
Будя орга́н пещер тысячекратным эхом,
Наяд пугливый хоровод.

СТАРАЯ ЯБЛОНЯ

Вся в снегу, кудрявом, благовонном,
Вся-то ты гудишь блаженным звоном
Пчел и ос, завистливых и злых...

Старишься, подруга дорогая?
Не беда. Вот будет ли такая
Молодая старость у других!

ПЕСНЬ О ГАЙАВАТЕ

Лонгфелло

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

«Песнь о Гайавате» считается самым замечательным трудом Лонгфелло. Появилась она в 1855 году. Впечатление, произведенное ею, было необыкновенно: в полгода она выдержала тридцать изданий, породила массу статей и подражаний и была переведена на многие европейские языки.

Всех поразила прежде всего оригинальность ее сюжета и новизна блестящей, строго выдержанной формы.

«Мой знаменитый друг, — говорит известный немецкий поэт Ф. Фрейлиграт в предисловии к своему переводу «Песни о Гайавате», — открыл американцам Америку в поэзии. Он первый создал чисто американскую поэму, и она должна занять выдающееся место в Пантеоне всемирной литературы».

Но главное, что навсегда упрочило за «Песней о Гайавате» славу, — это редкая красота художественных образов и картин, в связи с высоким поэтическим и гуманным настроением. В «Песне о Гайавате» отразились все лучшие качества души и таланта ее творца. Лонгфелло всю жизнь посвятил служению возвышенному и прекрасному. «Добро и красота незримо разлиты в мире», — говорил он и всю жизнь всюду искал их. Ему всегда были особенно дороги чистые сердцем люди, его увлекала девственная природа, манили к себе древние народные предания с их величавой простотой и благородством, потому что сам он до глубокой старости сохранил в себе возвышенную, чуткую и нежную душу. Он говорил о поэтах: «Только те были увенчаны, только тех имена священны, которые сделали народы благородней и свободнее».

Эти слова можно применить к нему самому. Он призывал людей к миру, любви и братству, к труду на пользу ближнего. В его поэмах и стихотворениях всегда «незримо разлиты добро и красота»; они всегда отличаются, не говоря уже о простоте и изяществе формы, тонким пониманием и замечательным художественным воспроизведением природы и человеческой жизни.

«Песнь о Гайавате» служит лучшим доказательством всего сказанного. Она трогает нас то величием древней легенды, то тихими радостями детства, то чистотою и нежностью первой любви, то безмятежностью трудовой жизни на лоне природы, то скорбью роковых и вечных бед человеческого существования. Она воскрешает перед нами красоту девственных лесов и прерий, воссоздает цельные характеры первобытных людей, их быт и миросозерцание.

«Песнь о Гайавате», — говорит Лонгфелло, — это — индейская Эдда, если я могу так назвать ее. Я написал ее на основании легенд, господствующих среди североамериканских индейцев. В них говорится о человеке чудесного происхождения, который был послан к ним расчистить их реки, леса и рыболовные места и научить народы мирным искусствам. У разных племен он был известен под разными именами: Michabou, Chiabo, Manabozo, Tarenaywagon и Hiawatha, что значит — пророк, учитель. В это старое предание я вплел и другие интересные индейские легенды... Действие поэмы происходит в стране оджибуэев, на южном берегу Верхнего Озера, между Живописными Скалами и Великими Песками».

В России «Песнь о Гайавате» еще мало известна. Д. Л. Михаловский сухо и с пропусками перевел только несколько глав ее, значительно изменив форму и тон подлинника. Полный перевод ее появляется *впервые*. Я всюду старался держаться возможно ближе к подлиннику, сохранить простоту и музыкальность речи, сравнения и эпитеты, характерные повторения слов и даже, по возможности, число и расположение стихов. Это было нелегко: краткость английских слов вошла в пословицу; иногда приходилось сознательно жертвовать легкостью стиха, чтобы из одной строки Лонгфелло не делать нескольких. С другой стороны, некоторые стихи подлинника почти слово в слово укладывались в русские, чем объясняется близость иных мест моего перевода с переводом Михаловского.

Что касается индейских слов, то я проверил их значение по немецкому переводу Фрейлиграта, который просмотрен самим Лонгфелло. Список этих слов помещен в конце книги. В большинстве случаев индейские слова пояснены прямо в тексте, как это сделано в подлиннике, — например: «Вьет гнездо Омими, голубь»... Иногда это делало стих менее изящным, чем хотелось бы. Надеюсь, впрочем, что лица, знакомые с подлинником, извинят мне это.

Смело могу сказать только одно: я работал с горячей любовью к произведению, дорогому для меня с детства, и с полною добросовестностью, этой слабой данью моей благодарности великому поэту, доставившему мне столько чистой и высокой радости.

1898

ВСТУПЛЕНИЕ

Если спросите, откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома? —
Я скажу вам, я отвечу:

«От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полночной,
Из страны Оджибуэев,
Из страны Дакотов диких,
С гор и тундр, с болотных топей,
Где среди осоки бродит
Цапля сизая, Шух-шух-га.
Повторяю эти сказки,
Эти старые преданья,
По напевам сладкозвучным
Музыканта Навадаги».

Если спросите, где слышал,
Где нашел их Навадага, —
Я скажу вам, я отвечу:
«В гнездах певчих птиц, по рощам,
На прудах, в норах бобровых,

На лугах, в следах бизонов,
На скалах, в орлиных гнездах.

Эти песни раздавались
На болотах и на топях,
В тундрах севера печальных:
Читовейк, зуек, там пел их,
Манг, нырок, гусь дикий, Вава,
Цапля сизая, Шух-шух-га,
И глухарка, Мушкодаза».

Если б дальше вы спросили:
«Кто же этот Навадага?
Расскажи про Навадагу», —
Я тотчас бы вам ответил
На вопрос такою речью:

«Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых,
У излучистых потоков,
Жил когда-то Навадага.
Вкруг индейского селенья
Расстилались нивы, долы,
А вдали стояли сосны,
Бор стоял, зеленый — летом,
Белый — в зимние морозы,
Полный вздохов, полный песен.

Те веселые потоки
Были видны на долине
По разливам их — весною,
По ольхам серебристым — летом,
По туману — в день осенний,
По руслу — зимой холодной.
Возле них жил Навадага
Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых.

Там он пел о Гайавате,
Пел мне Песнь о Гайавате, —
О его рожденьи дивном,
О его великой жизни:

Как постился и молился,
Как трудился Гайавата,
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шел к добру и правде».

Вы, кто любите природу —
Сумрак леса, шепот листьев,
В блеске солнечном долины,
Бурный ливень и метели,
И стремительные реки
В неприступных дебрях бора,
И в горах раскаты грома,
Что как хлопанье орлиных
Тяжких крыльев раздаются, —
Вам принес я эти саги,
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, кто любите легенды
И народные баллады,
Этот голос дней минувших,
Голос прошлого, манящий
К молчаливому раздумью,
Говорящий так по-детски,
Что едва уловит ухо,
Песня это или сказка, —
Вам из диких стран принес я
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, в чьем юном, чистом сердце
Сохранилась вера в бога,
В искру божью в человеке;
Вы, кто помните, что вечно
Человеческое сердце
Знало горести, сомненья
И порывы к светлой правде,
Что в глубоком мраке жизни
Нас ведет и укрепляет
Провидение незримо, —
Вам бесхитростно пою я
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, которые, блуждая
По околицам зеленым,

Где, склонившись на ограду,
Поседевшую от моха,
Барбарис висит, краснея,
Забываетесь порою
На запущенном погосте
И читаете в раздумье
На могильном камне надпись,
Неумелую, простую,
Но исполненную скорби,
И любви, и чистой веры, —
Прочитайте эти руны,
Эту Песнь о Гайавате!

I. ТРУБКА МИРА

На горах Большой Равнины,
На вершине Красных Камней,
Там стоял Владыка Жизни,
Гитчи Манито могучий,
И с вершины Красных Камней
Созывал к себе народы,
Созывал людей отвсюду.

От следов его струилась,
Трепетала в блеске утра
Речка, в пропасти срываясь,
Ишкудой, огнем, сверкая.
И перстом Владыка Жизни
Начертал ей по долине
Путь излучистый, сказавши:
«Вот твой путь отныне будет!»

От утеса взявши камень,
Он слепил из камня трубку
И на ней фигуры сделал.
Над рекою, у прибрежья,
На чубук тростинку вырвал,
Всю в зеленых, длинных листьях;
Трубку он набил корою,
Красной ивовой корою,
И дохнул на лес соседний.
От дыханья ветви шумно
Закачались и, столкнувшись,
Ярким пламенем зажглися;

И, на горных высях стоя,
Закурил Владыка Жизни
Трубку Мира, созывая
Все народы к совещанью.

Дым струился тихо, тихо
В блеске солнечного утра:
Прежде — темною полоской,
После — гуще, синим паром,
Забелел в лугах клубами,
Как зимой вершины леса,
Плыл все выше, выше, выше,
Наконец коснулся неба
И волнами в сводах неба
Раскатился над землею.

Из долины Тавазэнта,
Из долины Вайоминга,
Из лесистой Тоскалузы,
От Скалистых Гор далеких,
От озер Страны Полночной
Все народы увидали
Отдаленный дым Покваны,
Дым призывный Трубки Мира.

И пророки всех народов
Говорили: «То Поквана!
Этим дымом отдаленным,
Что сгибается, как ива,
Как рука, кивает, манит,
Гитчи Манито могучий
Племена людей сзывает,
На совет зовет народы».

Вдоль потоков, по равнинам,
Шли вожди от всех народов,
Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мэндэны,
Делавэры и Могоки,
Черноногие и Поны,
Оджибвеи и Дакоты —

Шли к горам Большой Равнины,
Пред лицо Владыки Жизни.

И в доспехах, в ярких красках —
Словно осенью деревья,
Словно небо на рассвете, —
Собрались они в долине,
Дико глядя друг на друга.
В их очах — смертельный вызов,
В их сердцах — вражда глухая,
Вековая жажда мщенья —
Роковой завет от предков.

Гитчи Манито всесильный,
Сотворивший все народы,
Поглядел на них с участьем,
С отчей жалостью, с любовью, —
Поглядел на гнев их лютый,
Как на злобу малолетних,
Как на ссору в детских играх.

Он простер к ним сень десницы,
Чтоб смягчить их нрав упорный,
Чтоб смирить их пыл безумный
Мановением десницы.
И величественный голос,
Голос, шуму вод подобный,
Шуму дальних водопадов,
Прозвучал ко всем народам,
Говоря: «О дети, дети!
Слову мудрости внемлите,
Слову кроткого совета
От того, кто всех вас создал!

Дал я земли для охоты,
Дал для рыбной ловли воды,
Дал медведя и бизона,
Дал оленя и косулю,
Дал бобра вам и казарку;
Я наполнил реки рыбой,
А болота — дикой птицей:

Что ж ходить вас заставляет
На охоту друг за другом?

Я устал от ваших распрей,
Я устал от ваших споров,
От борьбы кровопролитной,
От молитв о кровной мести.
Ваша сила — лишь в согласьи,
А бессилие — в разладе.
Примиритеся, о дети!
Будьте братьями друг другу!

И придет Пророк на землю
И укажет путь к спасенью;
Он наставником вам будет,
Будет жить, трудиться с вами.
Всем его советам мудрым
Вы должны внимать покорно —
И умножатся все роды,
И настанут годы счастья.
Если ж будете вы глухи, —
Вы погибнете в раздорах!

Погрузитесь в эту реку,
Смойте краски боевые,
Смойте с пальцев пятна крови;
Закопайте в землю луки,
Трубки сделайте из камня,
Тростников для них нарвите,
Ярко перьями украсьте,
Закурите Трубку Мира
И живите впредь как братья!»

Так сказал Владыка Жизни.
И все воины на землю
Тотчас кинули доспехи,
Сняли все свои одежды,
Смело бросилися в реку,
Смыли краски боевые.
Светлой, чистою волною
Выше их вода лилася —
От следов Владыки Жизни.

Мутной, красною волною
Ниже их вода лилася,
Словно смешанная с кровью.

Смывши краски боевые,
Вышли воины на берег,
В землю палицы зарыли,
Погребли в земле доспехи.
Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
Встретил воинов улыбкой.

И в молчаньи все народы
Трубки сделали из камня,
Тростников для них нарвали,
Чубуки убрали в перья
И пустились в путь обратный —
В ту минуту, как завеса
Облаков заколебалась
И в дверях отверстых неба
Гитчи Манито сокрылся,
Окружен клубами дыма
От Покваны, Трубки Мира.

II. ЧЕТЫРЕ ВЕТРА

«Слава, слава, Мэджекивис!» —
Старцы, воины кричали
В день, когда он возвратился
И принес Священный Вампум
Из далеких стран Вабассо —
Царства кролика седого,
Царства Северного Ветра.

У Великого Медведя
Он украл Священный Вампум,
С толстой шеи Мише-Моквы,
Пред которым трепетали
Все народы, снял он Вампум
В час, когда на горных высях
Спал медведь, тяжелый, грузный,

Как утес, обросший мохом,
Серым мохом в бурых пятнах.

Тихо он к нему подкрался,
Так подкрался осторожно,
Что его почти касались
Когти красные медведя,
А горячее дыханье
Обдавало жаром руки.
Осторожно снял он Вампум
По ушам, по длинной морде
Исполина Мише-Моквы;
Ничего не услыхали
Уши круглые медведя,
Ничего не разглядели
Глазки сонные — и только
Из ноздрей его дыханье
Обдавало жаром руки.

Кончив, палицей взмахнул он,
Крикнул громко и протяжно
И ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
Между глаз ударил прямо!

Словно громом оглушенный,
Приподнялся Мише-Моква,
Но едва вперед подался,
Затряслись его колени,
И со стоном, как старуха,
Сел на землю Мише-Моква.
А могучий Мэджекивис
Перед ним стоял без страха,
Над врагом смеялся громко,
Говорил с пренебреженьем:

«О медведь! Ты — Шогодайя!
Всюду хвастался ты силой,
А, как баба, как старуха,
Застонал, завыл от боли.
Трус! давно уже друг с другом
Племена враждуют наши,

Но теперь ты убедился,
Кто́ бесстрашней и сильнее.
Уходите прочь с дороги,
Прячьтесь в горы, в лес скрывайтесь!
Если б ты меня осилил,
Я б не крикнул, умирая,
Ты же хнычешь предо мною
И свое позоришь племя,
Как трусливая старуха,
Как презренный Шогодайя».

Кончив, палицей взмахнул он,
Вновь ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
И, как лед под рыболовом,
Треснул череп под ударом.
Так убит был Мише-Моква,
Так погиб Медведь Великий,
Страх и ужас всех народов.

«Слава, слава, Мэджекивис! —
Восклицал народ в восторге. —
Слава, слава, Мэджекивис!
Пусть отныне и вовеки
Ветром Запада он будет,
Властелином над ветрами!»
И могучий Мэджекивис
Стал владыкой над ветрами.
Ветер Западный оставил
Он себе, другие отдал
Детям: Вебону — Восточный,
Шавондази — теплый Южный,
А Полночный Ветер дикий
Злому дал Кабибонокке.

Молод и прекрасен Вебон!
Это он приносит утро
И серебряные стрелы
Сыплет, сумрак прогоняя,
По холмам и по долинам;
Это Вебона ланиты
На заре горят багрянцем,

А призывный голос будит
И охотника и зверя.

Одинок на небе Вебон!
Для него все птицы пели,
Для него цветы в долинах
Разливали сладкий запах,
Для него шумели реки,
Рощи темные вздыхали,
Но всегда был грустен Вебон:
Одинок он был на небе.

Утром раз, на землю глядя,
В час, когда спала деревня
И туман, как привиденье,
Над рекой блуждал, белея,
Он увидел, что в долине
Ходит дева, — собирает
Камыши и длинный шпажник
Над рекою по долине.

С той поры, на землю глядя,
Только очи голубые
Видел Вебон на рассвете:
Как два озера лазурных,
На него они смотрели,
И задумчивую деву,
Что к нему стремилась сердцем,
Полюбил прекрасный Вебон:
Оба были одиноки,
На земле — она, он — в небе.

Он возлюбленную нежил
И ласкал улыбкой солнца,
Нежил вкрадчивою речью,
Тихим вздохом, тихой песней,
Тихим шепотом деревьев,
Ароматом белых лилий.
К сердцу милую привлек он,
Ярким пурпуром окутал —
И она затрепетала
На груди его звездою.

Так доныне неразлучно
В небесах они проходят:
Вебон, рядом Вебон-Аннонг —
Вебон и Звезда Рассвета.

В ледяных горах, в пустыне,
В царстве кролика, Вабассо,
В царстве вечной снежной вьюги,
Обитал Кабибонокка.
Это он осенней ночью
Разрисовывает листья
Краской желтой и багряной,
Это он приносит вьюги,
По лесам шипит и свищет,
Покрывает льдом озера,
Гонит чаек острокрылых,
Гонит цаплю и баклана
В камыши, в морские бухты,
В гнезда их на теплом юге.

Вышел раз Кабибонокка
Из своих чертогов снежных
Меж горами ледяными,
Устремился с воем к югу
По замерзшим, белым тундрам,
И, осыпанные снегом,
Волоса его — рекою,
Черной, зимнею рекою
По земле за ним струились.

В тростниках, среди осоки,
На замерзших, белых тундрах
Жил там Шингебис, морянка.
Одиноко в белых тундрах
Проводил он зиму эту:
Братья Шингебиса были
В теплых странах Шавондази.

И вскричал Кабибонокка
В лютом гневе: «Кто дерзает
Презирать Кабибонокку?

Кто осмелился остаться
В царстве Северного Ветра,
Если Вава и Шух-шух-га,
Если дикий гусь и цапля
Уж давно на юг умчались?
Я пойду к его вигваму,
Я очаг его разрушу!»

И пришел во мраке ночи
Ко врагу Кабибонокка.
Он намел сугробы снега,
Завывал в трубе вигвама,
Потрясал его свирепо,
Рвал дверные занавески.
Шингебис не испугался,
Шингебис его не слушал!
В очаге его играло
Пламя яркое, и рыбу
Ел он с песнями и смехом.

Ворвался тогда в жилище
Дикий, злой Кабибонокка;
Шингебис от стужи вздрогнул
В ледяном его дыханьи,
Но по-прежнему смеялся,
Но по-прежнему пел громко, —
Он костер поправил только,
Чтоб костер горел светлее,
Чтоб кидало пламя искры.

И с чела Кабибонокки,
С кос его в снегу холодном
Стали падать капли пота,
Как весною каплет с крыши
Иль с ветвей болиголова.
Побежденный этим жаром,
Раздраженный этим пеньем,
Он вскочил и из вигвама
В поле бросился, шагая
По рекам и по озерам:
На борьбу над белой тундрой
Вызывал врага коварно.

Но без страха, без боязни
Вышел Шингебис на битву;
До рассвета он боролся
С Ветром Северным над тундрой,
До утра когтями бился
Шингебис с Кабибоноккой.
И без сил Кабибонокка
Отступил в свои владенья,
Со стыдом бежал по тундрам
В царство кролика, Вабассо,
А за ним все раздавались
Хохот, песни и насмешки.

Шавондази, тучный, сонный,
Обитал на дальнем юге,
Где в дремотном блеске солнца
Круглый год царило лето.
Это он шлет птиц весною,
Шлет к нам ласточку, шлет Шошо,
Шлет Овейсу, трясогузку,
Опечи шлет, реполова,
Гуся, Ваву, шлет на север,
Шлет табак душистый, дыни,
Виноград в багряных гроздьях.

Дым из трубки Шавондази
Небеса туманит паром,
Наполняет негой воздух,
Тусклый блеск дает озерам,
Очертанья гор смягчает,
Веет нежной лаской лета
В теплый Месяц Светлой Ночи,
В Месяц Лыж — зимой холодной.

Беззаботный Шавондази!
Лишь одно узнал он горе,
Лишь одну печаль изведал.
Раз, смотря на север с юга,
Далеко в степных равнинах
Он увидел утром деву,
Деву с гибким, стройным станом,
Одинокую в равнинах.

Был на ней наряд зеленый,
И как солнце были косы.

День за днем потом смотрел он,
День за днем вздыхал он страстно,
День за днем все больше сердце
Разгоралось в нем любовью
К деве нежной, златокудрой.
Но ленив и неподвижен
Был беспечный Шавондази,
Да, ленив и слишком тучен,
К милой он пойти все медлил,
Он сидел, вздыхая страстно,
И все только любовался
Златокудрой девой прерий.

Наконец однажды утром
Увидал он, что поблекли
Кудри русые у милой, —
Словно первый снег, белеют.
«О мой брат из Стран Полночных,
Из далеких стран Вабассо,
Царства Северного Ветра!
Ты украл мою невесту,
Завладел моею милой,
Обольстил ее своею
Сказкой Северного Ветра!»

Так несчастный Шавондази
Изливал свои страданья,
И бродил в равнинах знойный
Южный Ветер, полный вздохов,
Страстных вздохов Шавондази.
И наполнился весь воздух,
Словно снегом, белым пухом:
Погубили вздохи ветра
Деву с русыми кудрями,
И от взоров Шавондази
Навсегда сокрылась дева.

О мечтатель Шавондази!
Не по девушке вздыхал ты,

Не на женщину смотрел ты —
На цветок, на одуванчик;
О цветке вздыхал ты страстно,
На цветок глядел все лето
День за днем с любовью томной
И сгубил его навеки,
В поле вздохами развеял.
Бедный, бедный Шавондази!

III. ДЕТСТВО ГАЙАВАТЫ

В летний вечер, в полнолунье,
В незапамятное время,
В незапамятные годы,
Прямо с месяца упала
К нам прекрасная Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.

Как дитя, она играла,
На ветвях на виноградных
Меж подруг своих качалась,
И одна из них, сгорая
Злобой ревности и мести,
Эти ветви подрубила,
И на Мускодэ упала,
На цветущую долину,
Замирая от испуга,
Летним вечером Нокомис.
«Вон звезда упала с неба!» —
Говорил народ в селеньях.

Там, на мягких мхах и травах,
Там, среди стыдливых лилий,
В тихой Мускодэ, в долине,
В звездном блеске, в лунном свете,
Стала матерью Нокомис,
Назвала дочь первородной —
Назвала ее Веноной,
И, как лилия в долине,
Расцвела ее Венона:

Стала гибкой, стала стройной,
Точно лунный свет прекрасной,
Точно звездный отблеск нежной.

И Нокомис часто стала
Говорить, твердить Веноне:
«О, страшись, остерегайся
Мэджекивиса, Венона!
Никогда его не слушай,
Не гуляй одна в долине,
Не ложись в траве меж лилий!»

Но не слушалась Венона,
Не внимала мудрой речи,
И пришел к ней Мэджекивис,
Темным вечером подкрался,
С тихим шепотом склоняя
На лугу цветы и травы.
Там прекрасная Венона
Меж цветов одна лежала,
Там нашел ее коварный
Ветер Западный, и начал
Очаровывать Венону
Сладкой речью, нежной лаской, —
И родился сын печали,
Нежной страсти и печали,
Дивной тайны — Гайавата.

Так родился Гайавата;
А коварный Мэджекивис,
Бессердечный Мэджекивис
Уж покинул дочь Нокомис,
И недолго после билось
Сердце нежное Веноны:
Умерла она в печали.

Долго с криками рыдала,
Долго плакала Нокомис:
«О, зачем жестокий Погок
Не меня унес с собою?
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин, вагономин!»

На прибрежье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С юных дней жила Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.
Позади ее вигвама
Темный лес стоял стеною —
Чащи темных, мрачных сосен,
Чащи елей в красных шишках,
А пред ним прозрачной влагой
На песок плескались волны,
Блеском солнца зыбь сверкала
Светлых вод Большого Моря.

Там, в тиши лесов и моря,
Внука нянчила Нокомис,
В люльке липовой качала,
Устланной кугой и мохом,
Крепко связанной ремнями,
И, качая, говорила:
«Спи! А то отдам медведю!»
Там, баюкая, певала:
«Эва-ия, мой совенок!
Что там светится в вигваме?
Чьи глаза блестят в вигваме?
Эва-ия, мой совенок!»

Много-много рассказала
О звездах ему Нокомис;
Показала хвост кометы —
Ишкуду в огнистых косах,
Показала Танец Духов,
Их блистающие рати
В небесах Страны Полночной,
В Месяц Лыж морозной ночью;
Показала серебристый
Путь всех призраков и духов —
Белый путь на темном небе,
Полном призраков и духов.

Вечерами, теплым летом,
У дверей сидел малютка,

Слушал тихий ропот сосен,
Слушал тихий плеск прибоя,
Звуки дивных слов и песен:
«Минни-вава!» — пели сосны,
«Мэдвэй-ошка!» — пели волны.

Видел мушку, Ва-ва-тэйзи,
Что, сверкая белой искрой,
Светит в сумраке вечернем
Над травою и кустами,
И тихонько пел ей песню,
Что Нокомис научила:
«Ва-ва-тэйзи, Ва-ва-тэйзи!
Крошка, огненная мушка,
Крошка, белый огонечек!
Потанцуй еще немножко,
Посвети мне, попрыгунья,
Белой искоркой своею:
Скоро я в постельку лягу,
Скоро я закрою глазки!»

Видел, как над Гитчи-Гюми,
Отражаясь в Гитчи-Гюми,
Подымался полный месяц,
Видел тень на нем и пятна
И шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Раз один сердитый воин
Подхватил старуху бабку
И швырнул ее на небо,
Зашвырнул на месяц прямо.
Так она там и осталась».

Видел радугу на небе,
На востоке, и тихонько
Говорил: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Это Мускодэ на небе;
Все цветы лесов зеленых,
Все болотные кувшинки,
На земле когда увянут,
Расцветают снова в небе».

Если сов он слышал в полночь,
Вой и хохот в чаще леса, —
Он, дрожа, кричал: «Кто это?»
Он шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Это совы собралися
И по-своему болтают,
Это ссорятся совята!»

Так малютка, внук Нокомис,
Изучил весь птичий говор,
Имена их, все их тайны:
Как они вьют гнезда летом,
Где живут они зимою;
Часто с ними вел беседы,
Звал их всех «мои цыплята».

Всех зверей язык узнал он,
Имена их, все их тайны:
Как бобер жилище строит,
Где орехи белка прячет,
Отчего резва косуля,
Отчего труслив Вабассо;
Часто с ними вел беседы,
Звал их «братья Гайаваты».

И рассказчик сказок Ягу,
Говорун, хвастун великий,
Много по свету бродивший,
Верный друг Нокомис старой,
Сделал лук для Гайаваты:
Лук из ясеня он сделал,
Стрелы сделал он из дуба,
Наконечники — из яшмы,
Тетиву — из кожи лани.

И сказал он Гайавате:
«Ну, мой сын, иди скорее
В лес, где держатся олени.
Застрели-ка там косулю
С разветвленными рогами».

Гордо взял свой лук и стрелы
Гайавата и отважно
В лес пустился; птицы звонко
Пели, по лесу порхая.
«Не стреляй в нас, Гайавата!» —
Опечи пел красногрудый;
«Не стреляй в нас, Гайавата!» —
Пел Овейса синеперый.

На дубу над Гайаватой
Вниз и вверх скакала белка,
Меж зеленых листьев дуба
С кашлем прыгала, смеялась
И, смеясь, пробормотала:
«Пощади, о Гайавата!»

И вприпрыжку белый кролик
Робко бросился с тропинки,
Стал вдали на задних лапках
И охотнику промолвил
Хоть и в шутку, но трусливо:
«Пощади, о Гайавата!»

Но не слушал Гайавата, —
Точно сонный брел он лесом,
Думал только об олене,
След его искал глазами,
След, что вел к речному броду,
По тропе к речному броду.

За ольховыми кустами
Сел и выждал он оленя,
Увидал два глаза в чаще,
Увидал над ней два рога,
Ноздри, поднятые к ветру,
Увидал и морду зверя
Под листвою, в пятнах света,
И, как легкий лист березы,
Сердце в нем затрепетало,
Как ольха, весь задрожал он,
Увидав над бродом зверя.

На одно колено ставши,
Он прицелился в оленя.
Только ветка шевельнулась,
Только листик закачался,
Но олень уж встрепенулся,
Отшатнувшись, топнул в землю,
Чутко встал, подняв копыто,
Прыгнул, точно ждал удара.

Ах, он шел навстречу смерти!
Как оса, стрела запела,
Как оса, в него впилася!

Мертвый он лежал у брода,
Меж деревьев, над рекою;
Сердце в нем уже не билось,
Но зато у Гайаваты
Сердце так и трепетало,
Как домой он нес оленя
И ему рукоплескали
Старый Ягу и Нокомис.

Из оленьей пестрой шкуры
Внуку плащ Нокомис сшила,
Созвала соседей в гости,
Пир дала в честь Гайаваты.
Вся деревня собралася,
Все соседи называли
Гайавату храбрым, сильным —
Сон-джи-тэгэ, Ман-го-тэйзи!

IV. ГАЙАВАТА И МЭДЖЕКИВИС

Миновали годы детства,
Возмужал мой Гайавата;
Игры юности беспечной,
Стариков житейский опыт,
Труд, охотничьи сноровки —
Все постиг он, все изведал.

Резвы ноги Гайаваты!
Запустив стрелу из лука,
Он бежал за ней так быстро,
Что стрелу опережал он.
Мощны руки Гайаваты!
Десять раз, не отдыхая,
Мог согнуть он лук упругий
Так легко, что догоняли
На лету друг друга стрелы.

Рукавицы Гайаваты,
Рукавицы, Минджикэвон,
Из оленьей мягкой шкуры,
Обладали дивной силой:
Сокрушать он мог в них скалы,
Раздроблять в песчинки камни.
Мокасины Гайаваты
Из оленьей мягкой шкуры
Волшебство в себе таили:
Привязавши их к лодыжкам,
Прикрепив к ногам ремнями,
С каждым шагом Гайавата
Мог по целой миле делать.

Об отце своем нередко
Он расспрашивал Нокомис,
И поведала Нокомис
Внуку тайну роковую:
Рассказала, как прекрасна,
Как нежна была Венона,
Как сгубил ее изменой
Вероломный Мэджекивис,
И, как уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.

Он сказал Нокомис старой:
«Я иду к отцу, Нокомис,
Я хочу его проведать
В царстве Западного Ветра,
У преддверия Заката».

Из вигвама выходил он,
Снарядившись в путь далекий,
В рукавицах, Минджикэвон,
И волшебных мокасинах.
Весь наряд его богатый
Из оленьей мягкой шкуры
Зернью вампума украшен
И щетиной дикобраза.
Голова его — в орлиных
Развевающихся перьях,
За плечом его, в колчане —
Из дубовых веток стрелы,
Оперенные искусно
И оправленные в яшму,
А в руках его — упругий
Лук из ясеня, согнутый
Тетивой из жил оленя.

Осторожная Нокомис
Говорила Гайавате:
«Не ходи, о Гайавата,
В царство Западного Ветра:
Он убьет тебя коварством,
Волшебством своим погубит».

Но отважный Гайавата
Не внимал ее советам,
Уходил он от вигвама,
С каждым шагом делал милю.
Мрачным лес ему казался,
Мрачным — свод небес над лесом,
Воздух — душным и горячим,
Полным дыма, полным гари,
Как в пожар лесов и прерий:
Словно уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.

Так держал он путь далекий
Все на запад и на запад
Легче быстрого оленя,
Легче лани и бизона,

Переплыл он Эсконабо,
Переплыл он Миссисипи,
Миновал Степные Горы,
Миновал степные страны
И Лисиц и Черноногих,
И пришел к Горам Скалистым,
В царство Западного Ветра,
В царство бурь, где на вершинах
Восседал Владыка Ветров,
Престарелый Мэджекивис.

С тайным страхом Гайавата
Пред отцом остановился:
Дико в воздухе клубились,
Облаками развевались
Волоса его седые,
Словно снег, они блестели,
Словно пламенные косы
Ишкуды, они сверкали.

С тайной радостью увидел
Мэджекивис Гайавату:
Это молодости годы
Перед ним воскресли к жизни,
Это встала из могилы
Красота Веноны нежной.

«Будь здоров, о Гайавата! —
Так промолвил Мэджекивис. —
Долго ждал тебя я в гости
В царство Западного Ветра!
Годы старости — печальны,
Годы юности — отрадны.
Ты напомнил мне былое,
Юность пылкую напомнил
И прекрасную Венону!»

Много дней прошло в беседе,
Долго мощный Мэджекивис
Похвалялся Гайавате
Прежней доблестью своею,
Приключеньями былыми,

Непреклонною отвагой;
Говорил, что дивной силой
Он от смерти заколдован.

Молча слушал Гайавата,
Как хвалился Мэджекивис,
Терпеливо и с улыбкой
Он сидел и молча слушал.
Ни угрозой, ни укором,
Ни одним суровым взглядом
Он не выказал досады,
Но, как уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.

И сказал он: «Мэджекивис!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?»
И могучий Мэджекивис
Величаво, благосклонно
Отвечал: «Ничто на свете,
Кроме вон того утеса,
Кроме Вавбика, утеса!»
И, взглянув на Гайавату
Взором мудрости спокойной,
По-отечески любуясь
Красотой его и мощью,
Он сказал: «О Гайавата!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?»

Помолчал одну минуту
Осторожный Гайавата,
Помолчал, как бы в сомненье,
Помолчал, как бы в раздумье,
И сказал: «Ничто на свете.
Лишь один тростник, Эпоква,
Лишь вон тот камыш высокий!»
И как только Мэджекивис,
Встав, простер к Эпокве руку,
Гайавата в страхе крикнул,
В лицемерном страхе крикнул:
«Каго, каго! — Не касайся!»

«Полно! — молвил Мэджекивис, —
Успокойся, — я не трону».

И опять они беседу
Продолжали; говорили
И о Вебоне прекрасном,
И о тучном Шавондази,
И о злом Кабибонокке;
Говорили о Веноне,
О ее рожденьи дивном,
О ее кончине грустной, —
Обо всем, что рассказала
Внуку старая Нокомис.

И воскликнул Гайавата:
«О коварный Мэджекивис!
Это ты убил Венону,
Ты сорвал цветок весенний,
Растоптал его ногами!
Признавайся! Признавайся!»
И могучий Мэджекивис
Тихо голову седую
Опустил в тоске глубокой,
В знак безмолвного согласья.

Быстро встал тогда, сверкая
Грозным взором, Гайавата,
На утес занес он руку
В рукавице, Минджикэвон,
Разломил его вершину,
Раздробил его в осколки,
Стал в отца швырять свирепо:
Словно уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.

Но могучий Мэджекивис
Камни гнал назад дыханьем,
Бурей гневного дыханья
Гнал назад, на Гайавату.
Он схватил рукой Эпокву,
Вырвал с мочками, с корнями, —
Над рекой из вязкой тины

Вырвал бешено Эпокву
Он под хохот Гайаваты.

И начался бой смертельный
Меж Скалистыми Горами!
Сам Орел Войны могучий
На гнезде поднялся с криком,
С резким криком сел на скалы,
Хлопал крыльями над ними.
Словно дерево под бурей,
Рассекал Эпоква воздух,
Словно град, летели камни
С треском с Вавбика, утеса,
И земля окрест дрожала,
И на тяжкий грохот боя
По горам гремело эхо,
Отзывалося: «Бэм-Вава!»

Отступать стал Мэджекивис,
Устремился он на запад,
По горам на дальний запад,
Отступал три дня, сражаясь,
Убегал, гонимый сыном,
До преддверия Заката,
До границ своих владений,
До конца земли, где солнце
В красном блеске утопает
На ночлег в воздушной бездне,
Опускаясь, как фламинго
Опускается зарею
На печальное болото.

«Удержись, о Гайавата! —
Наконец вскричал он громко. —
Ты убить меня не в силах,
Для бессмертного нет смерти,
Испытать тебя хотел я,
Испытать твою отвагу,
И награду заслужил ты!

Возвратись в родную землю,
К своему вернись народу,

С ним живи и с ним работай.
Ты расчистить должен реки,
Сделать землю плодоносной,
Умертвить чудовищ злобных,
Змей, Кинэбик, и гигантов,
Как убил я Мише-Мокву,
Исполина Мише-Мокву.

А когда твой час настанет,
И заблещут над тобою
Очи Погока из мрака, —
Разделю с тобой я царство,
И владыкою ты будешь
Над Кивайдином вовеки!»

Вот какая разыгралась
Битва в грозные дни Ша-ша,
В дни далекого былого,
В царстве Западного Ветра.
Но следы той славной битвы
И теперь охотник видит
По холмам и по долинам:
Видит шпажник исполинский
На прудах и вдоль потоков,
Видит Вавбика осколки
По холмам и по долинам.

На восток, в родную землю,
Гайавата путь направил.
Позабыл он горечь гнева,
Позабыл о мщеньи думы,
И вокруг него отрадой
И весельем все дышало.

Только раз он путь замедлил,
Только раз остановился,
Чтоб купить в стране Дакотов
Наконечников на стрелы.
Там, в долине, где смеялись,
Где блистали, низвергаясь
Меж зелеными дубами,
Водопады Миннегаги,

Жил старик, дакот суровый.
Делал он головки к стрелам,
Острия из халцедона,
Из кремня и крепкой яшмы,
Отшлифованные гладко,
Заостренные, как иглы.

Там жила с ним дочь невеста,
Быстроногая, как речка,
Своенравная, как брызги
Водопадов Миннегаги.
В блеске черных глаз играли
У нее и свет и тени —
Свет улыбки, тени гнева;
Смех ее звучал как песня,
Как поток, струились косы,
И Смеющейся Водою
В честь реки ее назвал он,
В честь веселых водопадов
Дал ей имя — Миннегага.

Так ужели Гайавата
Заходил в страну Дакотов,
Чтоб купить головок к стрелам,
Наконечников из яшмы,
Из кремня и халцедона?
Не затем ли, чтоб украдкой
Посмотреть на Миннегагу,
Встретить взор ее пугливый,
Услыхать одежды шорох
За дверною занавеской,
Как глядят на Миннегагу,
Что горит сквозь ветви леса,
Как внимают водопаду
За зеленой чащей леса?

Кто расскажет, что таится
В молодом и пылком сердце?
Как узнать, о чем в дороге
Сладко грезил Гайавата?
Все Нокомис рассказал он,
Возвратясь домой под вечер,

О борьбе и о беседе
С Мэджекивисом могучим,
Но о девушке, о стрелах
Не обмолвился ни словом!

V. ПОСТ ГАЙАВАТЫ

Вы услышите сказанье,
Как в лесной глуши постился
И молился Гайавата:
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастии, о благе
Всех племен и всех народов.

Пред постом он приготовил
Для себя в лесу жилище, —
Над блестящим Гитчи-Гюми,
В дни весеннего расцвета,
В светлый, теплый Месяц Листьев
Он вигвам себе построил
И, в виденьях, в дивных грезах,
Семь ночей и дней постился.

В первый день поста бродил он
По зеленым тихим рощам;
Видел кролика он в норке,
В чаще выпугнул оленя,
Слышал, как фазан кудахтал,
Как в дупле возилась белка,
Видел, как под тенью сосен
Вьет гнездо Омими, голубь,
Как стада гусей летели
С заунывным криком, с шумом
К диким северным болотам.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной. —
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

На другой день над рекою,
Вдоль по Мускодэ, бродил он,
Видел там он Маномони
И Минагу, голубику,
И Одамин, землянику,
Куст крыжовника, Шабомин,
И Бимагут, виноградник,
Что зеленою гирляндой,
Разливая сладкий запах,
По ольховым сучьям вьется.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной. —
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

В третий день сидел он долго,
Погруженный в размышленья,
Возле озера, над тихой,
Над прозрачною водою.
Видел он, как прыгал Нама,
Сыпля брызги, словно жемчуг;
Как резвился окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя,
Видел щуку, Маскенозу,
Сельдь речную, Окагавис,
Шогаши, морского рака.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной. —
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

На четвертый день до ночи
Он лежал в изнеможеньи
На листве в своем вигваме.
В полусне над ним роились
Грезы, смутные виденья;
Вдалеке вода сверкала
Зыбким золотом, и плавно
Все кружилось и горело
В пышном зареве заката.

И увидел он: подходит
В полусумраке пурпурном,
В пышном зареве заката,
Стройный юноша к вигваму.
Голова его — в блестящих,
Развевающихся перьях,
Кудри — мягки, золотисты,
А наряд — зелено-желтый.

У дверей остановившись,
Долго с жалостью, с участьем
Он смотрел на Гайавату,
На лицо его худое,
И, как вздохи Шавондази
В чаще леса, прозвучала
Речь его: «О Гайавата!
Голос твой услышан в небе,
Потому что ты молился
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастии, о благе
Всех племен и всех народов.

Для тебя Владыкой Жизни
Послан друг людей — Мондамин;
Послан он тебе поведать,
Что в борьбе, в труде, в терпеньи
Ты получишь все, что просишь.
Встань с ветвей, с зеленых листьев,
Встань с Мондамином бороться!»

Изнурен был Гайавата,
Слаб от голода, но быстро
Встал с ветвей, с зеленых листьев.
Из стемневшего вигвама
Вышел он на свет заката,
Вышел с юношей бороться —
И едва его коснулся,
Вновь почувствовал отвагу,
Ощутил в груди усталой
Бодрость, силу и надежду.

На лугу они кружились
В пышном зареве заката,
И все крепче, все сильнее
Гайавата становился.
Но спустились тени ночи,
И Шух-шух-га на болоте
Издала свой крик тоскливый,
Вопль и голода и скорби.

«Кончим! — вымолвил Мондамин,
Улыбаясь Гайавате. —
Завтра снова приготовься
На закате к испытанью».
И, сказав, исчез Мондамин.
Опустился ли он тучкой,
Иль поднялся, как туманы, —
Гайавата не заметил;
Видел только, что исчез он,
Истомив его борьбою,
Что внизу, в ночном тумане,
Смутно озеро белеет,
А вверху мерцают звезды.

Так два вечера — лишь только
Опускалось тихо солнце
С неба в западные воды,
Погружалось в них, краснея,
Словно уголь, раскаленный
В очаге Владыки Жизни, —
Приходил к нему Мондамин.
Молчаливо появлялся,
Как роса на землю сходит,
Принимающая форму
Лишь тогда, когда коснется
До травы или деревьев,
Но невидимая смертным
В час прихода и ухода.

На лугу они кружились
В пышном зареве заката;
Но спустились тени ночи,

Прокричала на болоте
Громко, жалобно Шух-шух-га,
И задумался Мондамин;
Стройный станом и прекрасный,
Он стоял в своем наряде;
В головном его уборе
Перья веяли, качались,
На челе его сверкали
Капли пота, как росинки.

И вскричал он: «Гайавата!
Храбро ты со мной боролся,
Трижды стойко ты боролся,
И пошлет Владыка Жизни
Надо мной тебе победу!»

А потом сказал с улыбкой:
«Завтра кончится твой искус —
И борьба и пост тяжелый;
Завтра ты меня поборешь;
Приготовь тогда мне ложе
Так, чтоб мог весенний дождик
Освежать меня, а солнце —
Согревать до самой ночи.
Мой наряд зелено-желтый,
Головной убор из перьев
Оборви с меня ты смело,
Схорони меня и землю
Разровняй и сделай мягкой.

Стереги мой сон глубокий,
Чтоб никто меня не трогал,
Чтобы плевелы и травы
Надо мной не зарастали,
Чтобы Кагаги, Царь-Ворон,
Не летал к моей могиле.
Стереги мой сон глубокий
До поры, когда проснусь я,
К солнцу светлому воспряну!»
И, сказав, исчез Мондамин.

Мирным сном спал Гайавата;
Слышал он, как пел уныло
Полуночник, Вавонэйса,
Над вигвамом одиноким;
Слышал он, как, убегая,
Сибовиша говорливый
Вел беседы с темным лесом;
Слышал шорох — вздохи веток,
Что склонялись, подымались,
С ветерком ночным качаясь.
Слышал все, но все сливалось
В дальний ропот, сонный шепот:
Мирным сном спал Гайавата.

На заре пришла Нокомис,
На седьмое утро пищи
Принесла для Гайаваты.
Со слезами говорила,
Что его погубит голод,
Если пищи он не примет.

Ничего он не отведал,
Ни к чему не прикоснулся,
Лишь промолвил ей: «Нокомис!
Подожди со мной заката,
Подожди, пока стемнеет
И Шух-шух-га громким криком
Возвестит, что день окончен!»

Плача шла домой Нокомис,
Все тоскуя, опасаясь,
Что его погубит голод.
Он же стал, томясь тоскою,
Ждать Мондамина. И тени
Потянулись от заката
По лесам и по долинам;
Опустилось тихо солнце
С неба в Западные Воды,
Как спускается зарею
В воду красный лист осенний
И в воде, краснея, тонет.

Глядь — уж тут Мондамин юный
У дверей стоит с приветом!
Голова его — в блестящих,
Развевающихся перьях,
Кудри — мягки, золотисты,
А наряд — зелено-желтый.

Как во сне, к нему навстречу
Встал измученный и бледный
Гайавата, но бесстрашно
Вышел — и бороться начал.

И слились земля и небо,
Замелькали пред глазами!
Как осетр в сетях трепещет,
Бьется бешено, чтоб сети
Разорвать и прыгнуть в воду,
Так в груди у Гайаваты
Сердце сильное стучало;
Словно огненные кольца,
Горизонт сверкал кровавый
И кружился с Гайаватой;
Сотни солнцев, разгораясь,
На борьбу его глядели.
Вдруг один среди поляны
Очутился Гайавата.

Он стоял, ошеломленный
Этой дикою борьбою,
И дрожал от напряженья;
А пред ним, в измятых перьях
И в изорванных одеждах,
Бездыханный, неподвижный,
На траве лежал Мондамин,
Мертвый, в зареве заката.

Победитель Гайавата
Сделал так, как приказал он:
Снял с Мондамина одежды,
Снял изломанные перья,
Схоронил его и землю
Разровнял и сделал мягкой.

И среди болот печальных
Цапля сизая, Шух-шух-га,
Издала свой крик тоскливый,
Вопль и жалобы и скорби.

В отчий дом, в вигвам Нокомис
Возвратился Гайавата,
И семь суток испытанья
В этот вечер завершились.
Но запомнил Гайавата
Те места, где он боролся,
Не покинул без призора
Ту могилу, где Мондамин
Почивал, в земле зарытый,
Под дождем и ярким солнцем.

День за днем над той могилой
Сторожил мой Гайавата,
Чтобы холм ее был мягким,
Не зарос травою сорной,
Прогоняя свистом, криком
Кагаги с его народом.

Наконец зеленый стебель
Показался над могилой,
А за ним — другой и третий,
И не кончилося лето,
Как в своем уборе пышном,
В золотистых, мягких косах,
Встал высокий, стройный маис.
И воскликнул Гайавата
В восхищении: «Мондамин!
Это друг людей Мондамин!»

Тотчас кликнул он Нокомис,
Кликнул Ягу, рассказал им
О своем виденьи дивном,
О своей борьбе, победе,
Показал зеленый маис —
Дар небесный всем народам,
Что для них быть должен пищей.

А поздней, когда, под осень,
Пожелтел созревший маис,
Пожелтели, стали тверды
Зерна маиса, как жемчуг,
Он собрал его початки,
Сняв с него листву сухую,
Как с Мондамина когда-то
Снял одежды, — и впервые
«Пир Мондамина» устроил,
Показал всему народу
Новый дар Владыки Жизни.

VI. ДРУЗЬЯ ГАЙАВАТЫ

Было два у Гайаваты
Неизменных, верных друга.
Сердце, душу Гайаваты
Знали в радостях и в горе
Только двое: Чайбайабос,
Музыкант, и мощный Квазинд.

Меж вигвамов их тропинка
Не могла в траве заглохнуть;
Сплетни, лживые наветы
Не могли посеять злобы
И раздора между ними:
Обо всем они держали
Лишь втроем совет согласный,
Обо всем с открытым сердцем
Говорили меж собою
И стремились только к благу
Всех племен и всех народов.

Лучшим другом Гайаваты
Был прекрасный Чайбайабос,
Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый.
Был, как воин, он отважен,
Но, как девушка, был нежен,
Словно ветка ивы, гибок,
Как олень рогатый, статен.

Если пел он, вся деревня
Собиралась песни слушать,
Жены, воины сходились,
И то нежностью, то страстью
Волновал их Чайбайабос.

Из тростинки сделав флейту,
Он играл так нежно, сладко,
Что в лесу смолкали птицы,
Затихал ручей игривый,
Замолкала Аджидомо,
А Вабассо осторожный
Приседал, смотрел и слушал.

Да! Примолкнул Сибовиша
И сказал: «О Чайбайабос!
Научи мои ты волны
Мелодичным, нежным звукам!»

Да! Завистливо Овэйса
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня безумным,
Страстным звукам диких песен!»

Да! И Опечи веселый
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня веселым,
Сладким звукам нежных песен!»

И, рыдая, Вавонэйса
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня тоскливым,
Скорбным звукам скорбных песен!»

Вся природа сладость звуков
У него перенимала,
Все сердца смягчал и трогал
Страстной песней Чайбайабос,
Ибо пел он о свободе,
Красоте, любви и мире,
Пел о смерти, о загробной
Бесконечной, вечной жизни,

Воспевал Страну Понима
И Селения Блаженных.

Дорог сердцу Гайаваты
Кроткий, милый Чайбайабос,
Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый!
Он любил его за нежность
И за чары звучных песен.

Дорог сердцу Гайаваты
Был и Квазинд — самый мощный
И незлобивый из смертных;
Он любил его за силу,
Доброту и простодушье.

Квазинд в юности ленив был,
Вял, мечтателен, беспечен;
Не играл ни с кем он в детстве,
Не удил в заливе рыбы,
Не охотился за зверем, —
Не похож он был на прочих.
Но постился Квазинд часто,
Своему молился Духу,
Покровителю молился.

«Квазинд, — мать ему сказала, —
Ты ни в чем мне не поможешь!
Лето ты, как сонный, бродишь
Праздно по полям и рощам,
Зиму греешься, согнувшись
Над костром среди вигвама;
В самый лютый зимний холод
Я хожу на ловлю рыбы, —
Ты и тут мне не поможешь!
У дверей висит мой невод,
Он намок и замерзает, —
Встань, возьми его, ленивец,
Выжми, высуши на солнце!»

Неохотно, но спокойно
Квазинд встал с золы остывшей,

Молча вышел из вигвама,
Скинул смерзшиеся сети,
Что висели у порога,
Стиснул их, как пук соломы,
И сломал, как пук соломы!
Он не мог не изломать их:
Вот насколько был он силен!

«Квазинд! — раз отец промолвил. —
Собирайся на охоту.
Лук и стрелы постоянно
Ты ломаешь, как тростинки,
Так хоть будешь мне добычу
Приносить домой из леса».

Вдоль ущелья, по теченью
Ручейка, они спускались
По следам бизонов, ланей,
Отпечатанным на иле,
И наткнулись на преграду:
Повалившиеся сосны
Поперек и вдоль дороги
Весь проход загромождали.

«Мы должны, — промолвил старец, —
Ворочаться: тут не влезешь!
Тут и белка не взберется,
Тут сурок пролезть не сможет».
И сейчас же вынул трубку,
Закурил и сел в раздумьи.
Но не выкурил он трубки,
Как уж путь был весь расчищен:
Все деревья Квазинд поднял,
Быстро вправо и налево
Раскидал, как стрелы, сосны,
Разметал, как копья, кедры.

«Квазинд! — юноши сказали,
Забавляясь на долине. —
Что же ты стоишь, глазеешь,
На утес облокотившись?

Выходи, давай бороться,
В цель бросать из пращи камни».

Вялый Квазинд не ответил,
Ничего им не ответил,
Только встал и, повернувшись,
Обхватил утес руками,
Из земли его он вырвал,
Раскачал над головою
И забросил прямо в реку,
Прямо в быструю Повэтин.
Так утес там и остался.

Раз по пенистой пучине,
По стремительной Повэтин,
Плыл с товарищами Квазинд
И вождя бобров, Амика,
Увидал среди потока:
С быстриной бобер боролся,
То всплывая, то ныряя.

Не задумавшись нимало,
Квазинд молча прыгнул в реку,
Скрылся в пенистой пучине,
Стал преследовать Амика
По ее водоворотам
И в воде пробыл так долго,
Что товарищи вскричали:
«Горе нам! Погиб наш Квазинд!
Не вернется больше Квазинд!»
Но торжественно он выплыл:
На плече его блестящем
Вождь бобров висел убитый,
И с него вода струилась.

Таковы у Гайаваты
Были верные два друга.
Долго с ними жил он в мире,
Много вел бесед сердечных,
Много думал дум о благе
Всех племен и всех народов.

VII. ПИРОГА ГАЙАВАТЫ

«Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине
Стройным станом над потоком!
Я свяжу себе пирогу,
Легкий челн себе построю,
И в воде он будет плавать,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка!

Скинь свой белый плащ, Береза!
Скинь свой плащ из белой кожи:
Скоро лето к нам вернется,
Жарко светит солнце в небе,
Белый плащ тебе не нужен!»

Так над быстрой Таквамино,
В глубине лесов дремучих,
Восклицал мой Гайавата
В час, когда все птицы пели,
Воспевали Месяц Листьев,
И, от сна восставши, солнце
Говорило: «Вот я — Гизис,
Я, великий Гизис, солнце!»

До корней затрепетала
Каждым листиком береза,
Говоря с покорным вздохом:
«Скинь мой плащ, о Гайавата!»

И ножом кору березы
Опоясал Гайавата
Ниже веток, выше корня,
Так, что брызнул сок наружу;
По стволу, с вершины к корню,
Он потом кору разрезал,
Деревянным клином поднял,
Осторожно снял с березы.

«Дай, о Кедр, ветвей зеленых,
Дай мне гибких, крепких сучьев,
Помоги пирогу сделать
И надежней и прочнее!»

По вершине кедра шумно
Ропот ужаса пронесся,
Стон и крик сопротивленья;
Но, склоняясь, прошептал он:
«Нá, руби, о Гайавата!»

И, срубивши сучья кедра,
Он связал из сучьев раму,
Как два лука, он согнул их,
Как два лука, он связал их.

«Дай корней своих, о Тэмрак,
Дай корней мне волокнистых:
Я свяжу свою пирогу,
Так свяжу ее корнями,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилася в пирогу!»

В свежем воздухе до корня
Задрожал, затрясся Тэмрак,
Но, склоняясь к Гайавате,
Он одним печальным вздохом,
Долгим вздохом отозвался:
«Все возьми, о Гайавата!»

Из земли он вырвал корни,
Вырвал, вытянул волокна,
Плотно сшил кору березы,
Плотно к ней приладил раму.

«Дай мне, Ель, смолы тягучей,
Дай смолы своей и соку:
Засмолю я швы в пироге,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилася в пирогу!»

Как шуршит песок прибрежный,
Зашуршали ветви ели,

И, в своем уборе черном,
Отвечала ель со стоном,
Отвечала со слезами:
«Собери, о Гайавата!»

И собрал он слезы ели,
Взял смолы ее тягучей,
Засмолил все швы в пироге,
Защитил от волн пирогу.

«Дай мне, Еж, колючих игол,
Все, о Еж, отдай мне иглы:
Я украшу ожерельем,
Уберу двумя звездами
Грудь красавицы пироги!»

Сонно глянул Еж угрюмый
Из дупла на Гайавату;
Словно блещущие стрелы,
Из дупла метнул он иглы,
Бормоча в усы лениво:
«Подбери их, Гайавата!»

По земле собрал он иглы,
Что блестели, точно стрелы;
Соком ягод их окрасил,
Соком желтым, красным, синим,
И пирогу в них оправил,
Сделал ей блестящий пояс,
Ожерелье дорогое,
Грудь убрал двумя звездами.

Так построил он пирогу
Над рекою, средь долины,
В глубине лесов дремучих,
И вся жизнь лесов была в ней,
Все их тайны, все их чары:
Гибкость лиственницы темной,
Крепость мощных сучьев кедра
И березы стройной легкость;
На воде она качалась,

Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка.

Весел не было на лодке,
В веслах он и не нуждался:
Мысль ему веслом служила,
А рулем служила воля;
Обогнать он мог хоть ветер,
Путь держать — куда хотелось.

Кончив труд, он кликнул друга,
Кликнул Квазинда на помощь,
Говоря: «Очистим реку
От коряг и желтых мелей!»

Быстро прыгнул в реку Квазинд,
Словно выдра, прыгнул в реку,
Как бобер, нырять в ней начал,
Погружаясь то по пояс,
То до самых мышек в воду.
С криком стал нырять он в воду,
Поднимать со дна коряги,
Вверх кидать песок руками,
А ногами — ил и травы.

И поплыл мой Гайавата
Вниз по быстрой Таквамино,
По ее водоворотам,
Через омуты и мели,
Вслед за Квазиндом могучим.

Вверх и вниз они проплыли,
Всюду были, где лежали
Корни, мертвые деревья
И пески широких мелей,
И расчистили дорогу,
Путь прямой и безопасный
От истоков меж горами
И до самых вод Повэтин,
До залива Таквамино.

VIII. ГАЙАВАТА И МИШЕ-НАМА

По заливу Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С длинной удочкой из кедра,
Из коры крученой кедра,
На березовой пироге
Плыл отважный Гайавата.

Сквозь слюду прозрачной влаги
Видел он, как ходят рыбы
Глубоко под дном пироги:
Как резвится окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя;
Как лежит на дне песчаном
Шогаши, омар ленивый,
Словно дремлющий тарантул.

На корме сел Гайавата
С длинной удочкой из кедра;
Точно веточки цикуты,
Колебал прохладный ветер
Перья в косах Гайаваты.
На носу его пироги
Села белка, Аджидомо;
Точно травку луговую,
Раздувал прохладный ветер
Мех на шубке Аджидомо.

На песчаном дне на белом
Дремлет мощный Мише-Нама,
Царь всех рыб, осетр тяжелый,
Раскрывает жабры тихо,
Тихо водит плавниками
И хвостом песок взметает.
В боевом вооруженьи,
Под щитами костяными
На плечах, на лбу широком,
В боевых нарядных красках —
Голубых, пурпурных, желтых —
Он лежит на дне песчаном;
И над ним-то Гайавата

Стал в березовой пироге
С длинной удочкой из кедра.

«Встань, возьми мою приманку! —
Крикнул в воду Гайавата, —
Встань со дна, о Мише-Нама,
Подымись к моей пироге,
Выходи на состязанье!»
В глубину прозрачной влаги
Он лесу свою забросил,
Долго ждал ответа Намы,
Тщетно ждал ответа Намы
И кричал ему все громче:
«Встань, царь рыб, возьми приманку!»

Не ответил Мише-Нама.
Важно, медленно махая
Плавниками, он спокойно
Вверх смотрел на Гайавату,
Долго слушал без вниманья
Крик его нетерпеливый,
Наконец сказал Кенозе,
Жадной щуке, Маскенозе:
«Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!»

В сильных пальцах Гайаваты
Сразу удочка согнулась;
Он рванул ее так сильно,
Что пирога дыбом встала,
Поднялася над водою,
Словно белый ствол березы
С резвой белкой на вершине.

Но когда пред Гайаватой
На волнах затрепетала,
Приближаясь, Маскеноза, —
Гневом вспыхнул Гайавата
И воскликнул: «Иза, иза! —
Стыд тебе, о Маскеноза!
Ты лишь щука, ты не Нама,
Не тебе я кинул вызов!»

Со стыдом на дно вернулась,
Опустилась Маскеноза;
А могучий Мише-Нама
Обратился к Угудвошу,
Неуклюжему Самглаву:
«Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!»

Словно белый, полный месяц,
Встал, качаясь и сверкая,
Угудвош, Самглав тяжелый,
И, схватив лесу, так сильно
Закружился вместе с нею,
Что вверху, в водовороте,
Завертелася пирога,
Волны, с плеском разбегаясь,
По всему пошли заливу,
А с песчаных белых мелей,
С отдаленного прибрежья,
Закивали, зашумели
Тростники и длинный шпажник.

Но когда пред Гайаватой
Из воды поднялся белый
И тяжелый круг Самглава,
Громко крикнул Гайавата:
«Иза, иза! — стыд Самглаву!
Угудвош ты, а не Нама,
Не тебе я кинул вызов!»

Тихо вниз пошел, качаясь
И блестя, как полный месяц,
Угудвош прозрачно-белый,
И опять могучий Нама
Услыхал нетерпеливый,
Дерзкий вызов, прозвучавший
По всему Большому Морю.

Сам тогда он с дна поднялся,
Весь дрожа от дикой злобы,
Боевой блистая краской
И доспехами бряцая,

Быстро прыгнул он к пироге,
Быстро выскочил всем телом
На сверкающую воду
И своей гигантской пастью
Поглотил в одно мгновенье
Гайавату и пирогу.

Как бревно по водопаду,
По широким, черным волнам,
Как в глубокую пещеру,
Соскользнула в пасть пирога.
Но, очнувшись в полном мраке,
Безнадежно оглянувшись,
Вдруг наткнулся Гайавата
На большое сердце Намы!
Тяжело оно стучало
И дрожало в этом мраке.

И во гневе мощной дланью
Стиснул сердце Гайавата,
Стиснул так, что Мише-Нама
Всеми фибрами затрясся,
Зашумел водой, забился,
Ослабел, ошеломленный
Нестерпимой болью в сердце.

Поперек тогда поставил
Легкий челн свой Гайавата,
Чтоб из чрева Мише-Намы,
В суматохе и тревоге,
Не упасть и не погибнуть.
Рядом белка, Аджидомо,
Резво прыгала, болтала,
Помогала Гайавате
И трудилась с ним все время.

И сказал ей Гайавата:
«О мой маленький товарищ!
Храбро ты со мной трудилась,
Так прими же, Аджидомо,
Благодарность Гайаваты
И то имя, что сказал я:

Этим именем все дети
Будут звать тебя отныне!»

И опять забился Нама,
Заметался, задыхаясь,
А потом затих — и волны
Понесли его к прибрежью.
И когда под Гайаватой
Зашуршал прибрежный щебень,
Понял он, что Мише-Нама,
Бездыханный, неподвижный,
Принесен волной к прибрежью.

Тут бессвязный крик и вопли
Услыхал он над собою,
Услыхал шум длинных крыльев,
Переполнивший весь воздух,
Увидал полоску света
Меж широких ребер Намы
И Кайошк, крикливых чаек,
Что блестящими глазами
На него смотрели зорко
И друг другу говорили:
«Это брат наш, Гайавата!»

И в восторге Гайавата
Крикнул им, как из пещеры:
«О Кайошк, морские чайки,
Братья, сестры Гайаваты!
Умертвил я Мише-Наму, —
Помогите же мне выйти
Поскорее на свободу,
Рвите клювами, когтями
Бок широкий Мише-Намы,
И отныне и вовеки
Прославлять вас будут люди,
Называть, как я вас на́звал!»

Дикой, шумной стаей чайки
Принялися за работу,
Быстро щели проклевали
Меж широких ребер Намы,

И от смерти в чреве Намы,
От погибели, от плена,
От могилы под водою
Был избавлен Гайавата.

Возле самого вигвама
Стал на берег Гайавата;
Тотчас крикнул он Нокомис,
Вызвал старую Нокомис
Посмотреть на Мише-Наму:
Мертвый он лежал у моря,
И его клевали чайки.

«Умертвил я Мише-Наму,
Победил его! — сказал он. —
Вон над ним уж вьются чайки.
То друзья мои, Нокомис!
Не гони их прочь, не трогай:
Я от смерти в чреве Намы
Был сейчас избавлен ими.
Пусть они свой пир окончат,
Пусть зобы наполнят пищей;
А когда, с заходом солнца,
Улетят они на гнезда,
Принеси котлы и чаши,
Заготовь к зиме нам жиру».

И Нокомис до заката
Просидела на прибрежье.
Вот и месяц, солнце ночи,
Встал над тихою водою,
Вот и чайки с шумным криком,
Кончив пир свой, поднялися,
Полетели к отдаленным
Островам на Гитчи-Гюми,
И сквозь зарево заката
Долго их мелькали крылья.

Мирным сном спал Гайавата;
А Нокомис терпеливо
Принялася за работу
И трудилась в лунном свете

До зари, пока не стало
Небо красным на востоке.
А когда сменило солнце
Бледный месяц, — с отдаленных
Островов на Гитчи-Гюми
Воротились стаи чаек,
С криком кинулись на пищу.

Трое суток, чередуясь
С престарелою Нокомис,
Чайки жир срывали с Намы.
Наконец меж голых ребер
Волны начали плескаться,
Чайки скрылись, улетели,
И остались на прибрежье
Только кости Мише-Намы.

IX. ГАЙАВАТА И ЖЕМЧУЖНОЕ ПЕРО

На прибрежье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
Вышла старая Нокомис,
Простирая в гневе руку
Над водой к стране заката,
К тучам огненным заката.

В гневе солнце заходило,
Пролагая путь багряный,
Зажигая тучи в небе,
Как вожди сжигают степи,
Отступая пред врагами;
А луна, ночное солнце,
Вдруг восстала из засады
И направилась в погоню
По следам его кровавым,
В ярком зареве пожара.

И Нокомис, простирая
Руку слабую к закату,
Говорила Гайавате:

«Там живет волшебник злобный,
Меджисогвон, Дух Богатства,
Тот, кого Пером Жемчужным
Называют все народы;
Там озера смоляные
Разливаются, чернея,
До багряных туч заката;
Там, среди трясины мрачной,
Вьются огненные змеи,
Змеи страшные, Кинэбик!
То хранители и слуги
Меджисогвона-убийцы.

Это им убит коварно
Мой отец, когда на землю
Он с луны за мной спустился
И меня искал повсюду.
Это злобный Меджисогвон
Посылает к нам недуги,
Посылает лихорадки,
Дышит белой мглою с тундры,
Дышит сыростью болотных,
Смертоносных испарений!

Лук возьми свой, Гайавата,
Острых стрел возьми с собою,
Томагаук, Поггэвогон,
Рукавицы, Минджикэвон,
И березовую лодку.
Желтым жиром Мише-Намы
Смажь бока ее, чтоб легче
Было плыть ей по болотам,
И убей ты чародея,
Отомсти врагу Нокомис,
Отомсти врагу народа!»

Быстро в путь вооружился
Благородный Гайавата;
Легкий челн он сдвинул в воду,
Потрепал его рукою,
Говоря: «Вперед, пирога,
Друг мой верный и любимый,

К змеям огненным, Кинэбик,
К смоляным озерам черным!»

Гордо вдаль неслась пирога,
Грозно песню боевую
Пел отважный Гайавата;
А над ним Киню могучий,
Боевой орел могучий,
Вождь пернатых, с диким криком
В небесах кругами плавал.

Скоро он и змей увидел,
Исполинских змей увидел,
Что лежали средь болота,
Ежась, искрясь средь болота,
На пути сплетаясь в кольца,
Подымаясь, наполняя
Воздух огненным дыханьем,
Чтоб никто не мог проникнуть
К Меджисогвону в жилище.

Но бесстрашный Гайавата,
Громко крикнув, так сказал им:
«Прочь с дороги, о Кинэбик!
Прочь с дороги Гайаваты!»
А они, свирепо ежась,
Отвечали Гайавате
Свистом, огненным дыханьем:
«Отступи, о Шогодайя!
Воротись к Нокомис старой!»

И тогда во гневе поднял
Мощный лук свой Гайавата,
Сбросил с плеч колчан — и начал
Поражать их беспощадно:
Каждый звук тугой и крепкой
Тетивы был криком смерти,
Каждый свист стрелы певучей —
Песнью смерти и победы!

Тяжело в воде кровавой
Змеи мертвые качались,

И победно Гайавата
Плыл меж ними, восклицая:
«О, вперед, моя пирога,
К смоляным озерам черным!»

Желтым жиром Мише-Намы
Он бока и нос пироги
Густо смазал, чтобы легче
Было плыть ей по болотам.
И до света одиноко
Плыл он в этом сонном море,
Плыл в воде, густой и черной,
Вековой корой покрытой
От размытых и гниющих
Камышей и листьев лилий;
И безжизненно и мрачно
Перед ним вода блестела,
Озаренная луною,
Озаренная мерцаньем
Огоньков, что зажигают
Души мертвых на стоянках
В час тоскливой, долгой ночи.

Белым месячным сияньем
Тихий воздух был наполнен;
Тени ночи по болотам
Далеко кругом чернели;
А москиты Гайавате
Пели песню боевую;
Светляки, блестя, кружились,
Чтобы сбить его с дороги,
И в густой воде Дагинда
Тяжело зашевелилась,
Тупо желтыми глазами
Поглядела на пирогу,
Зарыдала — и исчезла;
И мгновенно огласилось
Все кругом стозвучным свистом,
И Шух-шух-га издалека
С камышового прибрежья
Возвестила громким криком
О прибытии героя!

Так держал путь Гайавата,
Так держал он путь на запад,
Плыл всю ночь, пока не скрылся
С неба бледный, полный месяц.
А когда пригрело солнце,
Стало плечи жечь лучами,
Увидал он пред собою
На холме Вигвам Жемчужный —
Меджисогвона жилище.

Вновь тогда своей пироге
Он сказал: «Вперед!» — и быстро,
Величаво и победно
Пронеслась она средь лилий,
Чрез густой прибрежный шпажник.
И на берег Гайавата
Вышел, ног не замочивши.

Тотчас взял он лук свой верный,
Утвердил в песке, коленом
Надавил посередине
И могучей тетивою
Запустил стрелу-певунью,
Запустил в Вигвам Жемчужный,
Как гонца с своим посланьем,
С гордым вызовом на битву:
«Выходи, о Меджисогвон:
Гайавата ожидает».

Быстро вышел Меджисогвон
Из Жемчужного Вигвама,
Быстро вышел он, могучий,
Рослый и широкоплечий,
Сумрачный и страшный видом,
С головы до ног покрытый
Украшеньями, оружьем,
В алых, синих, желтых красках,
Словно небо на рассвете,
В развевающихся перьях
Из орлиных длинных крыльев.

«А, да это Гайавата! —
Громко крикнул он с насмешкой,

И, как гром, тот крик раздался. —
Отступи, о Шогодайя!
Уходи скорее к бабам,
Уходи к Нокомис старой!
Я убью тебя на месте,
Как ее отца убил я!»

Но без страха, без смущенья
Отвечал мой Гайавата:
«Хвастовством и грубым словом
Не сразишь, как томагавком;
Дело лучше слов бесплодных
И острей насмешек стрелы.
Лучше действовать, чем хвастать!»

И начался бой великий,
Бой, невиданный под солнцем!
От восхода до заката —
Целый летний день он длился,
Ибо стрелы Гайаваты
Бесполезно ударялись
О жемчужную кольчугу.
Бесполезны были даже
Рукавицы, Минджикэвон,
И тяжелый томагаук:
Раздроблять он мог утесы,
Но колец не мог разбить он
В заколдованной кольчуге.

Наконец, перед закатом,
Весь израненный, усталый,
С расщепленным томагавком,
С рукавицами, в лохмотьях
И с тремя стрелами только,
Гайавата безнадежно
На упругий лук склонился
Под старинною сосною;
Мох с ветвей ее тянулся,
А на пне грибы желтели —
Мертвецов печальных обувь.

Вдруг зеленый дятел, Мэма,
Закричал над Гайаватой:

«Целься в темя, Гайавата,
Прямо в темя чародея,
В корни кос ударь стрелою:
Только там и уязвим он!»

В легких перьях, в халцедоне,
Понеслась стрела-певунья
В тот момент, как Меджисогвон
Поднимал тяжелый камень,
И вонзилась прямо в темя,
В корни длинных кос вонзилась,
И споткнулся, зашатался
Меджисогвон, словно буйвол,
Да, как буйвол, пораженный
На лугу, покрытом снегом.

Вслед за первою стрелою
Полетела и вторая,
Понеслась быстрее первой,
Поразила глубже первой;
И колени чародея,
Как тростник, затрепетали,
Как тростник, под ним согнулись.

А последняя взвилася
Легче всех — и Меджисогвон
Увидал перед собою
Очи огненные смерти,
Услыхал из мрака голос,
Голос Погока призывный.
Без дыхания, без жизни
Пал могучий Меджисогвон
На песок пред Гайаватой.

Благодарный Гайавата
Взял тогда немного крови
И, позвав с сосны печальной
Дятла, выкрасил той кровью
На головке дятла гребень
За его услугу в битве;
И доныне Мэма носит
Хохолок из красных перьев.

После, в знак своей победы,
В память битвы с чародеем,
Он сорвал с него кольчугу
И оставил без призора
На песке прибрежном тело.
На песке оно лежало,
Погребенное по пояс,
Головой поникнув в воду,
А над ним кружился с криком
Боевой орел могучий,
Плавал медленно кругами,
Тихо-тихо вниз спускаясь.

Из вигвама чародея
Гайавата снес в пирогу
Все сокровища, весь вампум,
Снес меха бобров, бизонов,
Соболей и горностаев,
Нитки жемчуга, колчаны
И серебряные стрелы —
И поплыл домой, ликуя,
С громкой песнею победы.

Там к нему на берег вышли
Престарелая Нокомис,
Чайбайабос, мощный Квазинд;
А народ героя встретил
Пляской, пеньем, восклицая:
«Слава, слава Гайавате!
Побежден им Меджисогвон,
Побежден волшебник злобный!»

Навсегда остался дорог
Гайавате дятел, Мэма.
В честь его и в память битвы
Он свою украсил трубку
Хохолком из красных перьев,
Гребешком багровым Мэмы,
А богатство чародея
Разделил с своим народом,
Разделил по равной части.

X. СВАТОВСТВО ГАЙАВАТЫ

«Муж с женой подобен луку,
Луку с крепкой тетивою;
Хоть она его сгибает,
Но ему сама послушна,
Хоть она его и тянет,
Но сама с ним неразлучна;
Порознь оба бесполезны!» —

Так раздумывал нередко
Гайавата и томился
То отчаяньем, то страстью,
То тревожною надеждой,
Предаваясь пылким грезам
О прекрасной Миннегаге
Из страны Дакотов диких.

Осторожная Нокомис
Говорила Гайавате:
«Не женись на чужеземке,
Не ищи жены по свету!
Дочь соседа, хоть простая, —
Что очаг в родном вигваме,
Красота же чужеземки —
Это лунный свет холодный,
Это звездный блеск далекий!»

Так Нокомис говорила.
Но разумно Гайавата
Отвечал ей: «О Нокомис!
Мил очаг в родном вигваме,
Но милей мне звезды в небе,
Ясный месяц мне милее!»

Строго старая Нокомис
Говорила: «Нам не нужно
Праздных рук и ног ленивых;
Приведи жену такую,
Чтоб работала с любовью,
Чтоб проворны были руки,
Ноги двигались охотно!»

Улыбаясь, Гайавата
Молвил: «Я в земле Дакотов
Стрелоделателя знаю;
У него есть дочь невеста,
Что прекрасней всех прекрасных;
Я введу ее в вигвам твой,
И она тебе в работе
Будет дочерью покорной,
Будет лунным, звездным светом,
Огоньком в твоем вигваме,
Солнцем нашего народа!»

Но опять свое твердила
Осторожная Нокомис:
«Не вводи в мое жилище
Чужеземку, дочь Дакота!
Злобны дикие Дакоты,
Часто мы воюем с ними,
Распри наши не забыты,
Раны наши не закрылись!»

Усмехаясь, Гайавата
И на это ей ответил:
«Потому-то и пойду я
За невестой в край Дакотов,
Для того пойду, Нокомис,
Чтоб окончить наши распри,
Залечить навеки раны!»

И пошел в страну красавиц,
В край Дакотов, Гайавата,
В путь далекий по долинам,
В тишине равнин пустынных,
В тишине лесов дремучих.

С каждым шагом делал милю
Он в волшебных мокасинах;
Но быстрей бежали мысли,
И дорога бесконечной
Показалась Гайавате!
Наконец в безмолвье леса

Услыхал он гул потоков,
Услыхал призывный грохот
Водопадов Миннегаги.
«О, как весел, — прошептал он, —
Как отраден этот голос,
Призывающий в молчаньи!»

Меж деревьев, где играли
Свет и тени, он увидел
Стадо чуткое оленей.
«Не сплошай!» — сказал он луку,
«Будь верней!» — стреле промолвил,
И когда стрела-певунья,
Как оса, впилась в оленя,
Он взвалил его на плечи
И пошел еще быстрее.

У дверей в своем вигваме,
Вместе с милой Миннегагой,
Стрелоделатель работал.
Он точил на стрелы яшму,
Халцедон точил блестящий,
А она плела в раздумье
Тростниковые циновки;
Все о том, что будет с нею,
Тихо девушка мечтала,
А старик о прошлом думал.

Вспоминал он, как, бывало,
Вот такими же стрелами
Поражал он на долинах
Робких ланей и бизонов,
Поражал в лугах зеленых
На лету гусей крикливых;
Вспоминал и о великих
Боевых отрядах прежних,
Покупавших эти стрелы.
Ах, уж нет теперь подобных
Славных воинов на свете!
Ныне воины что бабы:
Языком болтают только!

Миннегага же в раздумье
Вспоминала, как весною
Приходил к отцу охотник,
Стройный юноша-красавец
Из земли Оджибуэев,
Как сидел он в их вигваме,
А простившись, обернулся,
На нее взглянул украдкой.
Сам отец потом нередко
В нем хвалил и ум и храбрость.
Только будет ли он снова
К водопадам Миннегаги?
И в раздумье Миннегага
Вдаль рассеянно глядела,
Опускала праздно руки.

Вдруг почудился ей шорох,
Чья-то поступь в чаще леса,
Шум ветвей, — и чрез мгновенье,
Разрумяненный ходьбою,
С мертвой ланью за плечами,
Стал пред нею Гайавата.

Строгий взор старик на гостя
Быстро вскинул от работы,
Но, узнавши Гайавату,
Отложил стрелу, поднялся
И просил войти в жилище.
«Будь здоров, о Гайавата!» —
Гайавате он промолвил.

Пред невестой Гайавата
Сбросил с плеч свою добычу,
Положил пред ней оленя;
А она, подняв ресницы,
Отвечала Гайавате
Кроткой лаской и приветом:
«Будь здоров, о Гайавата!»

Из оленьей крепкой кожи
Сделан был вигвам просторный,

Побелен, богато убран
И дакотскими богами
Разрисован и расписан.
Двери были так высоки,
Что, входя, едва нагнулся
Гайавата на пороге,
Чуть коснулся занавесок
Головой в орлиных перьях.

Встала с места Миннегага,
Отложив свою работу,
Принесла к обеду пищи,
За водой к ручью сходила
И стыдливо подавала
С пищей глиняные миски,
А с водой — ковши из липы.
После села, стала слушать
Разговор отца и гостя,
Но сама во всей беседе
Ни словечка не сказала!

Да, как будто сквозь дремоту
Услыхала Миннегага
О Нокомис престарелой,
Воспитавшей Гайавату,
О друзьях его любимых
И о счастье, о довольстве
На земле Оджибуэев,
В тишине долин веселых.

«После многих лет раздора,
Многих лет борьбы кровавой
Мир настал теперь в селеньях
Оджибвэев и Дакотов! —
Так закончил Гайавата,
А потом прибавил тихо: —
Чтобы этот мир упрочить,
Закрепить союз сердечный,
Закрепить навеки дружбу,
Дочь свою отдай мне в жены,
Отпусти в мой край родимый,
Отпусти к нам Миннегагу!»

Призадумался немного
Старец, прежде чем ответить,
Покурил в молчаньи трубку,
Посмотрел на гостя гордо,
Посмотрел на дочь с любовью
И ответил очень важно:
«Это воля Миннегаги.
Как решишь ты, Миннегага?»

И смутилась Миннегага
И еще милей и краше
Стала в девичьем смущеньи.
Робко рядом с Гайаватой
Опустилась Миннегага
И, краснея, отвечала:
«Я пойду с тобою, муж мой!»

Так решила Миннегага!
Так сосватал Гайавата,
Взял красавицу невесту
Из страны Дакотов диких!

Из вигвама рядом с нею
Он пошел в родную землю.
По лесам и по долинам
Шли они рука с рукою,
Оставляя одиноким
Старика отца в вигваме,
Покидая водопады,
Водопады Миннегаги,
Что взывали издалека:
«Добрый путь, о Миннегага!»

А старик, простившись с ними,
Сел на солнышко к порогу
И, копаясь за работой,
Бормотал: «Вот так-то дочки!
Любишь их, лелеешь, холишь,
А дождешься их опоры,
Глядь — уж юноша приходит,
Чужеземец, что на флейте
Поиграет да побродит

По деревне, выбирая
Покрасивее невесту, —
И простись навеки с дочкой!»

Весел был их путь далекий
По холмам и по долинам,
По горам и по ущельям,
В тишине лесов дремучих!
Быстро время пролетало,
Хоть и тихо Гайавата
Шел теперь — для Миннегаги,
Чтоб она не утомилась.

На руках через стремнины
Нес он девушку с любовью, —
Легким перышком казалась
Эта ноша Гайавате.
В дебрях леса, под ветвями,
Он прокладывал тропинки,
На ночь ей шалаш построил,
Постелил постель из листьев
И развел костер у входа
Из сухих сосновых шишек.

Ветерки, что вечно бродят
По лесам и по долинам,
Путь держали вместе с ними;
Звезды чутко охраняли
Мирный сон их темной ночью;
Белка с дуба зорким взглядом
За влюбленными следила,
А Вабассо, белый кролик,
Убегал от них с тропинки
И, привстав на задних лапках,
Из норы глядел украдкой
С любопытством и со страхом.

Весел был их путь далекий!
Птицы сладко щебетали,
Птицы звонко пели песни
Мирной радости и счастья.
«Ты счастлив, о Гайавата,

С кроткой, любящей женою!» —
Пел Овейса синеперый.
«Ты счастлива, Миннегага,
С благородным, мудрым мужем!» —
Опечи пел красногрудый.

Солнце ласково глядело
Сквозь тенистые деревья,
Говорило им: «О дети!
Злоба — тьма, любовь — свет солнца,
Жизнь играет тьмой и светом, —
Правь любовью, Гайавата!»

Месяц с неба в час полночный
Заглянул в шалаш, наполнил
Мрак таинственным сияньем
И шепнул им: «Дети, дети!
Ночь тиха, а день тревожен;
Жены слабы и покорны,
А мужья властолюбивы, —
Правь терпеньем, Миннегага!»

Так они достигли дома,
Так в вигвам Нокомис старой
Возвратился Гайавата
Из страны Дакотов диких,
Из страны красивых женщин,
С Миннегагою прекрасной.
И была она в вигваме
Огоньком его вечерним,
Светом лунным, светом звездным,
Светлым солнцем для народа.

XI. СВАДЕБНЫЙ ПИР ГАЙАВАТЫ

Стану петь, как По-Пок-Кивис,
Как красавец Йенадиззи
Танцевал под звуки флейты,
Как учтивый Чайбайабос,
Сладкогласный Чайбайабос
Песни пел любви-томленья,

И как Ягу, дивный мастер
И рассказывать и хвастать,
Сказки сказывал на свадьбе,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!

Пышный пир дала Нокомис,
Пышно праздновала свадьбу!
Чаши были все из липы,
Ярко-белые и с глянцем,
Ложки были все из рога,
Ярко-черные и с глянцем.

В знак торжественного пира,
Приглашения на свадьбу,
Всем соседям ветви ивы
В этот день она послала;
И соседи собралися
К пиру в праздничных нарядах,
В дорогих мехах и перьях,
В разноцветных ярких красках,
В пестром вампуме и бусах.

На пиру они сначала
Осетра и щуку ели,
Приготовленных Нокомис;
После — пимикан олений,
Пимикан и мозг бизона,
Горб быка и ляжку лани,
Рис и желтые лепешки
Из толченой кукурузы.

Но радушный Гайавата,
Миннегага и Нокомис
При гостях не сели к пище:
Только потчевали молча,
Только молча им служили.
А когда обед был кончен,
Хлопотливая Нокомис
Из большого меха выдры
Тотчас каменные трубки

Табаком набила южным,
Табаком с травой пахучей
И с корою красной ивы.

После ласково сказала:
«Протанцуй нам, По-Пок-Кивис,
Танец Нищего веселый,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И красавец По-Пок-Кивис,
Беззаботный Йенадиззи,
Озорник, всегда готовый
Веселиться и буянить,
Тотчас встал среди собранья.
Ловок был он в плясках, в танцах,
В состязаньях и забавах,
Смел и ловок в разных играх,
Даже в самых трудных играх!
На деревне По-Пок-Кивис
Слыл пропащим человеком,
Игроком, лентяем, трусом;
Но насмешки и прозванья
Не смущали Йенадиззи:
Ведь зато он был красавец
И большой любимец женщин!

Он стоял в одежде белой
Из пушистой ланьей шкуры,
Окаймленной горностаем,
Густо вампумом расшитой
И ежовою щетиной;
В головном его уборе
Колыхался пух лебяжий;
На козловых мокасинах
Красовались иглы, бисер
И хвосты лисиц — на пятках,
А в руках держал он трубку
И большое опахало.

Краской желтою и красной,
Краской алою и синей

Все лицо его сияло;
В косы, смазанные маслом,
И с пробором, как у женщин,
Вплетены гирлянды были
Из пахучих трав и листьев.
Вот как убран и наряжен
Встал красавец По-Пок-Кивис,
Встал при звуках флейт и песен,
Голосов и барабанов
И свой дивный танец начал.

Танцевал он прежде важно,
Выступая меж деревьев —
То под тенью, то на солнце —
Мягким шагом, как пантера;
После — все быстрей, быстрее,
Закружился, завертелся,
Вкруг вигвама начал прыгать
Через головы сидящих,
Так, что ветер, пыль и листья
Понеслись за ним кругами!

А потом вдоль Гитчи-Гюми,
По песчаному прибрежью,
Как безумный, он помчался,
Ударяя с дикой силой
Мокасинами о землю,
Так, что ветер стал уж бурей,
Засвистал песок, вздымаясь,
Словно вьюга по пустыне,
И покрылося прибрежье
Все холмами Нэго-Воджу!
Так веселый По-Пок-Кивис
Танец Нищего окончил
И, окончив, возвратился
К месту пира, сел с гостями,
Сел, спокойно улыбаясь
И махая опахалом.

После друга Гайаваты,
Чайбайабоса, просили:
«Спой нам песню, Чайбайабос,

Песню страсти, песню неги,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И прекрасный Чайбайабос
Спел им нежно, сладкозвучно,
Спел в волнении глубоком
Песню страсти, песню неги;
Все смотря на Гайавату,
Все смотря на Миннегагу,
Тихо пел он эту песню:

«Онэвэ! Проснись, родная!
Ты, лесной цветочек дикий,
Ты, лугов зеленых птичка,
Птичка дикая, певунья!

Взор твой кроткий, взор косули,
Так отраден, так отраден,
Как роса для нежных лилий
В час вечерний на долине!

А твое дыханье сладко,
Как цветов благоуханье,
Как дыханье их зарею
В Месяц Падающих Листьев!

Не стремлюсь ли я всем сердцем
К сердцу милой, к сердцу милой,
Как ростки стремятся к солнцу
В тихий Месяц Светлой Ночи?

Онэвэ! Трепещет сердце
И поет тебе в восторге,
Как поют, вздыхают ветви
В ясный Месяц Земляники!

Загрустишь ли ты, родная, —
И мое темнеет сердце,
Как река, когда над нею
Облака бросают тени!

Улыбнешься ли, родная, —
Сердце вновь дрожит и блещет,
Как под солнцем блещут волны,
Что рябит холодный ветер!

Пусть улыбкою сияют
Небеса, земля и воды, —
Не могу я улыбаться,
Если милой я не вижу!

Я с тобой, с тобой! Взгляни же,
Кровь трепещущего сердца!
О, проснись! Проснись, родная!
Онэвэ! Проснись, родная!»

Так прекрасный Чайбайабос
Песню пел любви-томленья;
И хвастливый старый Ягу,
Удивительный рассказчик,
Слушал с завистью, как гости
Восторгались сладким пеньем;
Но потом, по их улыбкам,
По глазам и по движеньям
Увидал, что все собранье
С нетерпеньем ожидает
И его веселых басен,
Непомерно лживых сказок.

Очень был хвастлив мой Ягу!
В самых дивных приключеньях,
В самых смелых предприятьях —
Всюду был героем Ягу:
Он узнал их не по слухам,
Он воочию их видел!

Если б только Ягу слушать,
Если б только Ягу верить,
То нигде никто из лука
Не стреляет лучше Ягу,
Не убил так много ланей,
Не поймал так много рыбы
Иль речных бобров в капканы.

Кто резвее всех в деревне?
Кто всех дальше может плавать?
Кто ныряет всех смелее?
Кто постранствовал по свету
И диковин насмотрелся?
Уж, конечно, это Ягу,
Удивительный рассказчик.

Имя Ягу стало шуткой
И пословицей в народе;
И когда хвастун-охотник
Чересчур охотой хвастал
Или воин завирался,
Возвратившись с поля битвы,
Все кричали: «Ягу, Ягу!
Новый Ягу появился!»

Это он связал когда-то
Из коры зеленой липы
Люльку жилами оленя
Для малютки Гайаваты.
Это он ему позднее
Показал, как надо делать
Лук из ясеня упругий,
А из сучьев дуба — стрелы.
Вот каков был этот Ягу,
Безобразный, старый Ягу,
Удивительный рассказчик!

И промолвила Нокомис:
«Расскажи нам, добрый Ягу,
Почудесней сказку, басню,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И ответил Ягу тотчас:
«Вы услышите сегодня
Повесть — дивное сказанье
О волшебнике Оссэо,
Что сошел с Звезды Вечерней!»

XII. СЫН ВЕЧЕРНЕЙ ЗВЕЗДЫ

То не солнце ли заходит
Над равниной водяною?
Иль то раненый фламинго
Тихо плавает, летает,
Обагряет волны кровью,
Кровью, падающей с перьев,
Наполняет воздух блеском,
Блеском длинных красных перьев?

Да, то солнце утопает,
Погружаясь в Гитчи-Гюми;
Небеса горят багрянцем,
Воды блещут алой краской!
Нет, то плавает фламинго,
В волны красные ныряя;
К небесам простер он крылья
И окрасил волны кровью!

Огонек Звезды Вечерней
Тает, в пурпуре трепещет,
В полумгле висит над морем.
Нет, то вампум серебрится
На груди Владыки Жизни,
То Великий Дух проходит
Над темнеющим закатом!

На закат смотрел с восторгом
Долго, долго старый Ягу;
Вдруг воскликнул: «Посмотрите!
Посмотрите на священный
Огонек Звезды Вечерней!
Вы услышите сказанье
О волшебнике Оссэо,
Что сошел с Звезды Вечерней!

В незапамятные годы,
В дни, когда еще для смертных
Небеса и сами боги
Были ближе и доступней,
Жил на севере охотник

С молодыми дочерями;
Десять было их, красавиц,
Стройных, гибких, словно ива,
Но прекрасней всех меж ними
Овини была, меньшая.

Вышли девушки все замуж,
Все за воинов отважных,
Овини одна не скоро
Жениха себе сыскала.
Своенравна и сурова,
Молчалива и печальна
Овини была — и долго
Женихов, красавцев юных,
Прогоняла прочь с насмешкой,
А потом взяла да вышла
За убогого Оссэо!
Нищий, старый, безобразный,
Вечно кашлял он, как белка.

Ах, но сердце у Оссэо
Было юным и прекрасным!
Он сошел с Звезды Заката,
Он был сын Звезды Вечерней,
Сын Звезды любви и страсти!
И огонь ее, и чары,
И краса, и блеск лучистый —
Все в груди его таилось,
Все в речах его сверкало!

Женихи, любовь которых
Овини отвергла гордо —
Йенадиззи в ожерельях,
В пышных перьях, ярких красках, —
Насмехалися над нею;
Но она им так сказала:
«Что за дело мне до ваших
Ожерелий, красок, перьев
И насмешек непристойных!
Я счастлива за Оссэо!»

Раз в ненастный, темный вечер
Шли веселою толпою

На веселый праздник сестры, —
Шли на званый пир с мужьями;
Тихо следовал за ними
С молодой женой Оссэо.
Все шутили и смеялись —
Эти двое шли в молчаньи.

На закат смотрел Оссэо,
Взор подняв, как бы с мольбою;
Отставал, смотрел с мольбою
На Звезду любви и страсти,
На трепещущий и нежный
Огонек Звезды Вечерней;
И расслышали все сестры,
Как шептал Оссэо тихо:
«Ах, шовэн нэмэшин,Ноза!
Сжалься, сжалься, о отец мой!»

«Слышишь? — старшая сказала. —
Он отца о чем-то просит!
Право, жаль, что старикашка
Не споткнется на дороге,
Головы себе не сломит!»
И смеялись сестры злобно
Непристойным, громким смехом.

На пути их, в дебрях леса,
Дуб лежал, погибший в бурю,
Дуб-гигант, покрытый мохом,
Полусгнивший под листвою,
Почерневший и дуплистый.
Увидав его, Оссэо
Испустил вдруг крик тоскливый
И в дупло, как в яму, прыгнул.
Старым, дряхлым, безобразным
Он упал в него, а вышел —
Сильным, стройным и высоким,
Статным юношей, красавцем!

Так вернулася к Оссэо
Красота его и юность;
Но — увы! — за ним мгновенно

Овини преобразилась!
Стала древнею старухой,
Дряхлой, жалкою старухой,
Поплелась с клюкой, согнувшись,
И смеялись все над нею
Непристойным, громким смехом.

Но Оссэо не смеялся,
Овини он не покинул,
Нежно взял ее сухую
Руку — темную, в морщинах,
Как дубовый лист зимою,
Называл своею милой,
Милым другом, Нинимуша,
И пришел с ней к месту пира,
Сел за трапезу в вигваме.
Тот вигвам в лесу построен
В честь святой Звезды Заката.

Очарованный мечтами,
На пиру сидел Оссэо.
Все шутили, веселились,
Но печален был Оссэо!
Не притронулся он к пище,
Не сказал ни с кем ни слова,
Не слыхал речей веселых;
Лишь смотрел с тоской во взоре
То на Овини, то кверху,
На сверкающие звезды.

И пронесся тихий шепот,
Тихий голос, зазвучавший
Из воздушного пространства,
От далеких звезд небесных.
Мелодично, смутно, нежно
Говорил он: «О Оссэо!
О возлюбленный, о сын мой!
Тяготели над тобою
Чары злобы, темной силы,
Но разрушены те чары;
Встань, прийди ко мне, Оссэо!

Яств отведай этих дивных,
Яств вкуси благословенных,
Что стоят перед тобою;
В них волшебная есть сила:
Их вкусив, ты станешь духом;
Все твои котлы и блюда
Не простой посудой будут:
Серебром котлы заблещут,
Блюда — в вампум превратятся.
Будут все огнем светиться,
Блеском раковин пурпурных.

И спадет проклятье с женщин,
Иго тягостной работы:
В птиц они все превратятся,
Засияют звездным светом,
Ярким отблеском заката
На вечерних нежных тучках».

Так сказал небесный голос:
Но слова его понятны
Были только для Оссэо,
Остальным же он казался
Грустным пеньем Вавонэйсы,
Пеньем птиц во мраке леса,
В отдаленных чащах леса.

Вдруг жилище задрожало,
Зашаталось, задрожало,
И почувствовали гости,
Что возносятся на воздух!
В небеса, к далеким звездам,
В темноте ветвистых сосен,
Плыл вигвам, минуя ветви,
Миновал — и вот все блюда
Засияли алой краской,
Все котлы из сизой глины —
Вмиг серебряными стали,
Все шесты вигвама ярко
Засверкали в звездном свете,
Как серебряные прутья,

А его простая кровля —
Как жуков блестящих крылья.

Поглядел кругом Оссэо
И увидел, что и сестры
И мужья сестер-красавиц
В разных птиц все превратились:
Были тут скворцы с дроздами,
Были сойки и сороки,
И все прыгали, порхали,
Охорашивались, пели,
Щеголяли блеском перьев,
Распускали хвост, как веер.

Только Овини осталась
Дряхлой, жалкою старухой
И в тоске сидела молча.
Но, взглянувши вверх, Оссэо
Испустил вдруг крик тоскливый,
Вопль отчаянья, как прежде,
Над дуплистым старым дубом,
И мгновенно к ней вернулась
Красота ее и юность;
Все ее лохмотья стали
Белым мехом горностая,
А клюка — пером блестящим,
Да, серебряным, блестящим!

И опять вигвам поднялся,
В облаках поплыл прозрачных,
По воздушному теченью,
И пристал к Звезде Вечерней, —
На звезду спустился тихо,
Как снежинка на снежинку,
Как листок на волны речки,
Как пушок репейный в воду.

Там с приветливой улыбкой
Вышел к ним отец Оссэо,
Старец с кротким, ясным взором,
С серебристыми кудрями,
И сказал: «Повесь, Оссэо,

Клетку с птицами своими,
Клетку с пестрой птичьей стаей,
У дверей в моем вигваме!»

У дверей повесив клетку,
Он вошел в вигвам с женою,
И тогда отец Оссэо,
Властелин Звезды Вечерней,
Им сказал: «О мой Оссэо!
Я мольбы твои услышал,
Возвратил тебе, Оссэо,
Красоту твою и юность,
Превратил сестер с мужьями
В разноперых птиц за шутки,
За насмешки над тобою.
Не сумел никто меж ними
Оценить в убогом старце,
В жалком образе калеки
Сердца пылкого Оссэо,
Сердца вечно молодого.
Только Овини сумела
Оценить тебя, Оссэо!

Там, на звездочке, что светит
От Звезды Вечерней влево,
Чародей живет, Вэбино,
Дух и зависти и злобы;
Превратил тебя он в старца.
Берегись лучей Вэбино:
В них волшебная есть сила, —
Это стрелы чародея!»

Долго, в мире и согласьи,
На Звезде Вечерней мирной
Жил с отцом своим Оссэо;
Долго в клетке над вигвамом
Птицы пели и порхали
На серебряных шесточках,
И супруга молодая
Родила Оссэо сына:
В мать он вышел красотою,
А в отца — дородным видом.

Мальчик рос, мужал с летами,
И отец, ему в утеху,
Сделал лук и стрел наделал,
Отворил большую клетку
И пустил всех птиц на волю,
Чтоб, стреляя в теток, в дядей,
Позабавился малютка.

Там и сям они кружились,
Наполняя воздух звонким
Пеньем счастья и свободы,
Блеском перьев разноцветных;
Но напряг свой лук упругий,
Запустил стрелу из лука
Мальчик, маленький охотник, —
И упала с ветки птичка,
В ярких перышках, на землю,
Насмерть раненная в сердце.

Но — о, чудо! — уж не птицу
Видит он перед собою,
А красавицу младую
С роковой стрелою в сердце!

Кровь ее едва упала
На священную планету,
Как разрушилися чары,
И стрелок отважный, юный
Вдруг почувствовал, что кто-то,
По воздушному пространству,
В облаках его спускает
На зеленый, злачный остров
Посреди Большого Моря.

Вслед за ним блестящей стаей
Птицы падали, летели,
Как осеннею порою
Листья падают, пестрея;
А за птицами спустился
И вигвам с блестящей кровлей
На серебряных стропилах,
И принес с собой Оссэо,
Овини принес с собою.

Вновь тут птицы превратились,
Получили образ смертных,
Образ смертных, но не рост их:
Все Пигмеями остались,
Да, Пигмеями — Пок-Вэджис,
И на острове скалистом,
На его прибрежных мелях
И доныне хороводы
Водят летними ночами,
Под Вечернею Звездою.

Это их чертог блестящий
Виден в тихий летний вечер;
Рыбаки с прибрежья часто
Слышат их веселый говор,
Видят танцы в звездном свете».

Кончив свой рассказ чудесный,
Кончив сказку, старый Ягу
Всех гостей обвел глазами
И торжественно промолвил:
«Есть возвышенные души,
Есть непонятые люди!
Я знавал таких немало.
Зубоскалы их нередко
Даже на смех подымают,
Но насмешники должны бы
Чаще думать об Оссэо!»

Очарованные гости
Повесть слушали с восторгом
И рассказчика хвалили,
Но шепталися друг с другом:
«Неужель Оссэо — Ягу,
Мы же — тетушки и дяди?»

После снова Чайбайабос
Пел им песнь любви-томленья,
Пел им нежно, сладкозвучно
И с задумчивой печалью
Песню девушки, скорбящей
Об Алгонкине, о милом.

«Горе мне, когда о милом,
Ах, о милом я мечтаю,
Все о нем томлюсь-тоскую,
Об Алгонкине, о милом!

Ах, когда мы расставались,
Он на память дал мне вампум,
Белоснежный дал мне вампум,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

«Я пойду с тобой, — шептал он, —
Ах, в твою страну родную;
О, позволь мне», — прошептал он,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

«Далеко, — я отвечала, —
Далеко, — я прошептала, —
Ах, страна моя родная,
Мой возлюбленный, Алгонкин!»

Обернувшись, я глядела,
На него с тоской глядела,
И в мои глядел он очи,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Он один стоял под ивой,
Под густой плакучей ивой,
Что роняла слезы в воду,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Горе мне, когда о милом,
Ах, о милом я мечтаю,
Все о нем томлюсь-тоскую,
Об Алгонкине, о милом!»

Вот как праздновали свадьбу!
Вот как пир увеселяли
По-Пок-Кивис — бурной пляской,
Ягу — сказкою волшебной,
Чайбайабос — нежной песней.
С песней кончился и праздник,

Разошлись со свадьбы гости
И оставили счастливых
Гайавату с Миннегагой
Под покровом темной ночи.

XIII. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОЛЕЙ

Пой, о песнь о Гайавате,
Пой дни радости и счастья,
Безмятежные дни мира
На земле Оджибуэев!
Пой таинственный Мондамин,
Пой полей благословенье!

Погребен топор кровавый,
Погребен навеки в землю
Тяжкий, грозный томагаук;
Позабыты клики битвы, —
Мир настал среди народов.
Мирно мог теперь охотник
Строить белую пирогу,
На бобров капканы ставить
И ловить сетями рыбу;
Мирно женщины трудились:
Гнали сладкий сок из клена,
Дикий рис в лугах сбирали
И выделывали кожи.

Вкруг счастливого селенья
Зеленели пышно нивы, —
Вырастал Мондамин стройный
В глянцевитых длинных перьях,
В золотистых мягких косах.
Это женщины весною
Обрабатывали нивы, —
Хоронили в землю маис
На равнинах плодородных;
Это женщины под осень
Желтый плащ с него срывали,
Обрывали косы, перья,
Как учил их Гайавата.

Раз, когда посев был кончен,
Рассудительный и мудрый
Гайавата обратился
К Миннегаге и сказал ей:
«Ты должна сегодня ночью
Дать полям благословенье;
Ты должна волшебным кругом
Обвести свои посевы,
Чтоб ничто им не вредило,
Чтоб никто их не коснулся!

В час ночной, когда все тихо,
В час, когда все тьмой покрыто,
В час, когда Дух Сна, Нэпавин,
Затворяет все вигвамы,
И ничье не слышит ухо,
И ничье не видит око, —
С ложа встань ты осторожно,
Все сними с себя одежды,
Обойди свои посевы,
Обойди кругом все нивы,
Только косами прикрыта,
Только тьмой ночной одета.

И обильней будет жатва;
От следов твоих на ниве
Круг останется волшебный,
И тогда ни ржа, ни черви,
Ни стрекозы, Куо-ни-ши,
Ни тарантул, Соббикаши,
Ни кузнечик, Па-пок-кина,
Ни могучий Вэ-мок-квана,
Царь всех гусениц мохнатых,
Никогда не переступят
Круг священный и волшебный!»

Так промолвил Гайавата;
А ворóн голодных стая,
Жадный Кáгаги, Царь-Ворон,
С шайкой черных мародеров,
Отдыхали в ближней роще

И смеялись так, что сосны
Содрогалися от смеха,
От зловещего их смеха
Над словами Гайаваты.
«Ах, мудрец, ах, заговорщик!» —
Говорили птицы громко.

Вот простерлась ночь немая
Над полями и лесами;
Вот и скорбный Вавонэйса
В темноте запел тоскливо,
Притворил Дух Сна, Нэпавин,
Двери каждого вигвама,
И во мраке Миннегага
Поднялась безмолвно с ложа;
Все сняла она одежды
И, окутанная тьмою,
Без смущенья и без страха
Обошла свои посевы,
Начертала по равнине
Круг волшебный и священный.

Только Полночь созерцала
Красоту ее во мраке;
Только смолкший Вавонэйса
Слышал тихое дыханье,
Трепет сердца Миннегаги;
Плотно мантией священной
Ночи мрак ее окутал,
Чтоб никто не мог хвастливо
Говорить: «Ее я видел!»

На заре, лишь день забрезжил,
Кагаги, Царь-Ворон, скликал
Шайку черных мародеров —
Всех дроздов, ворон и соек,
Что шумели на деревьях,
И бесстрашно устремился
На посевы Гайаваты,
На зеленую могилу,
Где покоился Мондамин.

«Мы Мондамина подымем
Из его могилы тесной! —
Говорили мародеры. —
Нам не страшен след священный,
Нам не страшен круг волшебный,
Обведенный Миннегагой!»

Но разумный Гайавата
Все предвидел, все обдумал:
Слышал он, как издевались
Над его словами птицы.
«Ко, друзья мои, — сказал он, —
Ко, мой Кагаги, Царь-Ворон!
Ты с своею шайкой долго
Будешь помнить Гайавату!»

Он проснулся до рассвета,
Он для черных мародеров
Весь посев покрыл сетями,
Сам же лег в сосновой роще,
Стал в засаде терпеливо
Поджидать ворон и соек,
Поджидать дроздов и галок.

Вскоре птицами все поле
Запестрело и покрылось;
Дикой, шумною ватагой,
С криком, карканьем нестройным,
Принялись они за дело;
Но, при всем своем лукавстве,
Осторожности и знаньи,
Разных хитростей военных,
Не заметили, что скрыта
Недалеко их погибель,
И нежданно очутились
Все в тенетах Гайаваты.

Грозно встал тогда он с места,
Грозно вышел из засады, —
И объял великий ужас
Даже самых храбрых пленных!
Без пощады истреблял он

Их направо и налево,
И десятками их трупы
На шестах высоких вешал
Вкруг посевов освященных
В знак своей кровавой мести!

Только Кагаги, Царь-Ворон,
Предводитель мародеров,
Пощажен был Гайаватой
И заложником оставлен.
Он понес его к вигваму
И веревкою из вяза,
Боевой веревкой пленных,
Привязал его на кровле.

«Кагаги, тебя, — сказал он, —
Как зачинщика разбоя,
Предводителя злодеев,
Оскорбивших Гайавату,
Я заложником оставлю:
Ты порукою мне будешь,
Что враги мои смирились!»

И остался черный пленник
Над вигвамом Гайаваты;
Злобно хмурился он, сидя
В блеске утреннего солнца,
Дико каркал он с досады,
Хлопал крыльями большими, —
Тщетно рвался на свободу,
Тщетно звал друзей на помощь.

Лето шло, и Шавондази
Посылал, вздыхая страстно,
Из полдневных стран на север
Негу пламенных лобзаний.
Рос и зрел на солнце маис
И во всем великолепьи
Наконец предстал на нивах:
Нарядился в кисти, в перья,
В разноцветные одежды;
А блестящие початки

Налилися сладким соком,
Засверкали из подсохших,
Разорвавшихся покровов.

И сказала Миннегаге
Престарелая Нокомис:
«Вот и Месяц Листопада!
Дикий рис в лугах уж собран,
И готов к уборке маис;
Время нам идти на нивы
И с Мондамином бороться —
Снять с него все перья, кисти,
Снять наряд зелено-желтый!»

И сейчас же Миннегага
Вышла весело из дома
С престарелою Нокомис,
И они созвали женщин,
Молодежь к себе созвали,
Чтоб сбирать созревший маис,
Чтоб лущить его початки.

Под душистой тенью сосен,
На траве лесной опушки
Старцы, воины сидели
И, покуривая трубки,
Важно, молча любовались
На веселую работу
Молодых людей и женщин,
Важно слушали в молчаньи
Шумный говор, смех и пенье:
Словно Опечи на кровле,
Пели девушки на ниве,
Как сороки, стрекотали
И смеялись, точно сойки.

Если девушке счастливой
Попадался очень спелый,
Весь пурпуровый початок,
«Нэшка! — все кругом кричали. —
Ты счастливица, — ты скоро
За красавца замуж выйдешь!»

«Уг!» — согласно отзывались
Из-под темных сосен старцы.

Если ж кто-нибудь на ниве
Находил кривой початок,
Вялый, ржавчиной покрытый,
Все смеялись, пели хором,
Шли, хромая и согнувшись,
Точно дряхлый старикашка,
Шли и громко пели хором:
«Вагэмин, степной воришка,
Пэмосэд, ночной грабитель!»

И звенело поле смехом;
А на кровле Гайаваты
Каркал Кагаги, Царь-Ворон,
Бился в ярости бессильной.
И на всех соседних елях
Раздавались, не смолкая,
Крики черных мародеров.
«Уг!» — с улыбкой отзывались
Из-под темных сосен старцы.

XIV. ПИСЬМЕНА

«Посмотри, как быстро в жизни
Все забвенье поглощает!
Блекнут славные преданья,
Блекнут подвиги героев;
Гибнут знанья и искусство
Мудрых Мидов и Вэбинов,
Гибнут дивные виденья,
Грезы вещих Джосакидов!

Память о великих людях
Умирает вместе с ними;
Мудрость наших дней исчезнет,
Не достигнет до потомства,
К поколеньям, что сокрыты
В тьме таинственной, великой
Дней безгласных, дней грядущих.

На гробницах наших предков
Нет ни знаков, ни рисунков.
Кто в могилах — мы не знаем,
Знаем только — наши предки;
Но какой их род иль племя,
Но какой их древний тотем —
Бобр, Орел, Медведь — не знаем;
Знаем только: «это предки».

При свиданьи — с глазу на глаз
Мы ведем свои беседы;
Но, расставшись, мы вверяем
Наши тайны тем, которых
Посылаем мы друг к другу;
А посланники нередко
Искажают наши вести
Иль другим их открывают».

Так сказал себе однажды
Гайавата, размышляя
О родном своем народе
И бродя в лесу пустынном.

Из мешка он вынул краски,
Всех цветов он вынул краски
И на гладкой на бересте
Много сделал тайных знаков,
Дивных и фигур и знаков;
Все они изображали
Наши мысли, наши речи.

Гитчи Манито Могучий
Как яйцо был нарисован;
Выдающиеся точки
На яйце обозначали
Все четыре ветра неба.
«Вездесущ Владыка Жизни» —
Вот что значил этот символ.

Гитчи Манито Могучий,
Властелин всех Духов Злобы,
Был представлен на рисунке

Как Великий Змей, Кинэбик.
«Пресмыкается Дух Злобы,
Но лукав и изворотлив» —
Вот что значил этот символ.

Белый круг был знаком жизни,
Черный круг был знаком смерти;
Дальше шли изображенья
Неба, звезд, луны и солнца,
Вод, лесов и горных высей,
И всего, что населяет
Землю вместе с человеком.

Для земли нарисовал он
Краской линию прямую,
Для небес — дугу над нею,
Для восхода — точку слева,
Для заката — точку справа,
А для полдня — на вершине.
Все пространство под дугою
Белый день обозначало,
Звезды в центре — время ночи,
А волнистые полоски —
Тучи, дождь и непогоду.

След, направленный к вигваму,
Был эмблемой приглашенья,
Знаком дружеского пира;
Окровавленные руки,
Грозно поднятые кверху, —
Знаком гнева и угрозы.

Кончив труд свой, Гайавата
Показал его народу,
Разъяснил его значенье
И промолвил: «Посмотрите!
На могилах ваших предков
Нет ни символов, ни знаков.
Так пойдите, нарисуйте
Каждый — свой домашний символ,
Древний прадедовский тотем,
Чтоб грядущим поколеньям
Можно было различать их».

И на столбиках могильных
Все тогда нарисовали
Каждый — свой фамильный тотем,
Каждый — свой домашний символ:
Журавля, Бобра, Медведя,
Черепаху иль Оленя.
Это было указаньем,
Что под столбиком могильным
Погребен начальник рода.

А пророки, Джосакиды,
Заклинатели, Вэбины,
И врачи недугов, Миды,
Начертали на бересте
И на коже много страшных,
Много ярких, разноцветных
И таинственных рисунков
Для своих волшебных гимнов:
Каждый был с глубоким смыслом,
Каждый символом был песни.

Вот Великий Дух, Создатель,
Озаряет светом небо;
Вот Великий Змей, Кинэбик,
Приподняв кровавый гребень,
Извиваясь, смотрит в небо;
Вот Журавль, Орел и Филин
Рядом с Вещим Пеликаном;
Вот идущие по небу
Обезглавленные люди
И пронзенные стрелами
Трупы воинов могучих;
Вот поднявшиеся грозно
Руки смерти в пятнах крови,
И могилы, и герои,
Захватившие в объятья
Небеса и землю разом!

Таковы рисунки были
На коре и ланьей коже;
Песни битвы и охоты,
Песни Мидов и Вэбинов —

Все имело свой рисунок!
Каждый был с глубоким смыслом,
Каждый символом был песни.

Песнь любви, которой чары
Всех врачебных средств сильнее
И сильнее заклинаний,
И опасней всякой битвы,
Не была забыта тоже.
Вот как в символах и знаках
Песнь любви изображалась:

Нарисован очень ярко
Человек багряной краской —
Музыкант, любовник пылкий.
Смысл таков: «Я обладаю
Дивной властью надо всеми!»

Дальше — он поет, играя
На волшебном барабане,
Что должно сказать: «Внемли мне!
Это мой ты слышишь голос!»

Дальше — эта же фигура,
Но под кровлею вигвама.
Смысл таков: «Я буду с милой.
Нет преград для пылкой страсти!»

Дальше — женщина с мужчиной,
Стоя рядом, крепко сжали
Руки с нежностью друг другу.
«Все твое я вижу сердце
И румянец твой стыдливый!» —
Вот что значил символ этот.

Дальше — девушка средь моря,
На клочке земли, средь моря;
Песня этого рисунка
Такова: «Пусть ты далеко!
Пусть нас море разделяет!
Но любви моей и страсти
Над тобой всесильны чары!»

Дальше — юноша влюбленный
К спящей девушке склонился
И, склонившись, тихо шепчет,
Говорит: «Хоть ты далеко,
В царстве Сна, в стране Молчанья,
Но любви ты слышишь голос!»

А последняя фигура —
Сердце в самой середине
Заколдованного круга.
«Вся душа твоя и сердце
Предо мной теперь открыты!» —
Вот что значил символ этот.

Так, в своих заботах мудрых
О народе, Гайавата
Научил его искусству
И письма и рисованья
На бересте глянцевитой,
На оленьей белой коже
И на столбиках могильных.

XV. ПЛАЧ ГАЙАВАТЫ

Видя мудрость Гайаваты,
Видя, как он неизменно
С Чайбайабосом был дружен,
Злые духи устрашились
Их стремлений благородных
И, собравшись, заключили
Против них союз коварный.

Осторожный Гайавата
Говорил нередко другу:
«Брат мой, будь всегда со мною!
Духов Злых остерегайся!»
Но беспечный Чайбайабос
Только встряхивал кудрями,
Только нежно улыбался.
«О, не бойся, брат мой милый:

Надо мной бессильны Духи!» —
Отвечал он Гайавате.

Раз, когда зима покрыла
Синим льдом Большое Море
И метель, кружась, шипела
В почерневших листьях дуба,
Осыпала снегом ели,
И в снегу они стояли,
Точно белые вигвамы, —
Взявши лук, надевши лыжи,
Не внимая просьбам брата,
Не страшась коварных Духов,
Смело вышел Чайбайабос
На охоту за оленем.

Как стрела, олень рогатый
По Большому Морю мчался;
С ветром, снегом, словно буря,
Он преследовал оленя,
Позабыв в пылу охоты
Все советы Гайаваты.

А в воде сидели Духи,
Стерегли его в засаде,
Подломили лед коварный,
Увлекли певца в пучину,
Погребли в песках подводных.
Энктаги, владыка моря,
Вероломный бог Дакотов,
Утопил его в студеной,
Зыбкой бездне Гитчи-Гюми.

И с прибрежья Гайавата
Испустил такой ужасный
Крик отчаянья, что волки
На лугах завыли в страхе,
Встрепенулися бизоны,
А в горах раскаты грома
Эхом грянули: «Бэм-Вава!»

Черной краской лоб покрыл он,
Плащ на голову накинул
И в вигваме, полный скорби,
Семь недель сидел и плакал,
Однозвучно повторяя:

«Он погиб, он умер, нежный,
Сладкогласный Чайбайабос!
Он покинул нас навеки,
Он ушел в страну, где льются
Неземные песнопенья!
О мой брат! О Чайбайабос!»

И задумчивые пихты
Тихо веяли своими
Опахалами из хвои,
Из зеленой, темной хвои,
Над печальным Гайаватой;
И вздыхали и скорбели,
Утешая Гайавату.

И весна пришла, и рощи
Долго-долго поджидали,
Не придет ли Чайбайабос?
И вздыхал тростник в долине,
И вздыхал с ним Сибовиша.

На деревьях пел Овейса,
Пел Овейса синеперый:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки!»

Опечи пел на вигваме,
Опечи пел красногрудый:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки!»

А в лесу, во мраке ночи,
Раздавался заунывный,
Скорбный голос Вавонэйсы:
«Чайбайабос! Чайбайабос!

Он покинул нас навеки,
Сладкогласный Чайбайабос!»

Собрались тогда все Миды,
Джосакиды и Вэбины,
И, построив в чаще леса,
Близ вигвама Гайаваты,
Свой приют — Вигвам Священный,
Важно, медленно и молча
Все пошли за Гайаватой,
Взяв с собой. мешки и сумки, —
Кожи выдр, бобров и рысей,
Где хранились корни, травы,
Исцелявшие недуги.

Услыхав их приближенье,
Перестал взывать он к другу,
Перестал стенать и плакать,
Не промолвил им ни слова,
Только плащ с лица откинул,
Смыл с лица печали краску,
Смыл в молчании глубоком
И к Священному Вигваму,
Как во сне, пошел за ними.

Там его поили зельем,
Наколдованным настоем
Из корней и трав целебных:
Нама-Вэск — зеленой мяты
И Вэбино-Вэск — сурепки,
Там над ним забили в бубны
И запели заклинанья,
Гимн таинственный запели:

«Вот я сам, я сам с тобою,
Я, Седой Орел могучий!
Собирайтесь и внимайте,
Белоперые вороны!
Гулкий гром мне помогает,
Дух незримый помогает,
Слышу всюду их призывы,
Голоса их слышу в небе!

Брат мой! Встань, исполнись силы,
Исцелись, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

«Все друзья мои — все змеи!
Слушай — кожей соколиной
Я тряхну над головою!
Манг, нырок, тебя убью я,
Прострелю стрелою сердце!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Исцелись, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

«Вот я, вот пророк великий!
Говорю — и сею ужас,
Говорю — и весь трепещет
Мой вигвам, Вигвам Священный!
А иду — свод неба гнется,
Содрогаясь подо мною!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Говори, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

И, мешками потрясая,
Танцевали танец Мидов
Вкруг больного Гайаваты, —
И вскочил он, встрепенулся,
Исцелился от недуга,
От безумья лютой скорби!
Как уходит лед весною,
Миновали дни печали,
Как уходят с неба тучи,
Думы черные сокрылись.

После к другу Гайаваты,
К Чайбайабосу взывали,

Чтоб восстал он из могилы,
Из песков Большого Моря,
И настолько властны были
Заклинанья и призывы,
Что услышал Чайбайабос
Их в пучине Гитчи-Гюми,
Из песков он встал, внимая
Звукам бубнов, пенью гимнов,
И пришел к дверям вигвама,
Повинуясь заклинаньям.

Там ему, в дверную щелку,
Дали уголь раскаленный,
Нарекли его владыкой
В царстве духов, в царстве мертвых
И, прощаясь, приказали
Разводить костры для мертвых,
Для печальных их ночлегов
На пути в Страну Понима.

Из родимого селенья,
От родных и близких сердцу
По зеленым чащам леса,
Как дымок, как тень, безмолвно
Удалился Чайбайабос.
Где касался он деревьев —
Не качалися деревья,
Где ступал — трава не мялась,
Не шумела под ногами.

Так четыре дня и ночи
Шел он медленной стопою
По дороге всех усопших;
Земляникою усопших
На пути своем питался,
Переправился на дубе
Чрез печальную их реку,
По Серебряным Озерам
Плыл на Каменной Пироге,
И в Селения Блаженных,
В царство духов, в царство теней,
Принесло его теченье.

На пути он много видел
Бледных духов, нагруженных,
Истомленных тяжкой ношей:
И одеждой, и оружьем,
И горшками с разной пищей,
Что друзья им надавали
На дорогу в край Понима.

Горько жаловались духи:
«Ах, зачем на нас живые
Возлагают бремя это!
Лучше б мы пошли нагими,
Лучше б голод мы терпели,
Чем нести такое бремя! —
Истомил нас путь далекий!»

Гайавата же надолго
Свой родной вигвам оставил,
На Восток пошел, на Запад,
Поучал употребленью
Трав целебных и волшебных.
Так священное искусство
Врачевания недугов
В первый раз познали люди.

XVI. ПО-ПОК-КИВИС

Стану петь, как По-Пок-Кивис,
Как красавец Йенадиззи
Взбудоражил всю деревню
Дерзкой удалью своею;
Как, спасаясь только чудом,
Он бежал от Гайаваты,
И какой конец печальный
Был чудесным приключеньям.

На прибрежье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
На песчаном Нэго-Воджу
Жил красавец По-Пок-Кивис.

Это он во время свадьбы
Гайаваты с Миннегагой
Так безумно и разгульно
Танцевал под звуки флейты,
Это он в безумном танце
Накидал песок холмами
На прибрежье Гитчи-Гюми.

Заскучавши от безделья,
Вышел раз он из вигвама
И направился поспешно
Прямо к Ягу, где сбиралась
Слушать сказки и преданья
Молодежь со всей деревни.

Старый Ягу в это время
Забавлял гостей рассказом
Об Оджиге, о кунице:
Как она пробила небо,
Как вскарабкалась на небо,
Лето выпустила с неба;
Как сначала подвиг этот
Совершить пыталась выдра,
Как барсук с бобром и рысью
На вершины гор взбирались,
Бились в небо головами,
Бились лапами, но небо
Только трескалось над ними;
Как отважилась на подвиг
Наконец и росомаха.

«Подскочила росомаха, —
Говорил гостям рассказчик, —
Подскочила — и над нею
Так и вздулся свод небесный,
Словно лед в реке весною!
Подскочила снова — небо
Гулко треснуло над нею,
Словно льдина в половодье!
Подскочила напоследок —
Небо вдребезги разбила,
Скрылась в небе, а за нею

И Оджиг в одно мгновенье
Очутилася на небе!»

«Слушай! — крикнул По-Пок-Кивис,
Появляясь на пороге. —
Надоели эти сказки!
Надоели хуже мудрых
Поучений Гайаваты!
Мы отыщем для забавы
Кое-что получше сказок».

Тут, торжественно раскрывши
Свой кошель из волчьей кожи,
По-Пок-Кивис вынул чашу
И фигуры Погасэна:
Томагаук, Поггэвогон,
Рыбку маленькую, Киго,
Пару змей и пару пешек,
Три утенка и четыре
Медных диска, Озавабик.
Все фигуры, кроме дисков,
Темных сверху, светлых снизу,
Были сделаны из кости
И покрыты яркой краской, —
Красной сверху, белой снизу.

Положив фигуры в чашу,
Он встряхнул, перемешал их,
Кинул наземь пред собою
И выкрикивал, что вышло:
«Красным кверху пали кости,
А змея, Кинэбик, стала
На блестящем медном диске;
Счетом сто и тридцать восемь!»

И опять смешал фигуры,
Положил опять их в чашу,
Кинул наземь пред собою
И выкрикивал, что вышло:
«Белым кверху пали змеи,
Белым кверху пали пешки,

Красным — прочие фигуры;
Пятьдесят и восемь счетом!»

Так учил их По-Пок-Кивис,
Так, играя для примера,
Он метал и объяснял им
Все приемы Погасэна.
Двадцать глаз за ним следили,
Разгораясь любопытством.

«Много игр, — промолвил Ягу, —
Много игр, опасных, трудных,
В разных странах, в разных землях
На своем веку я видел.
Кто играет с старым Ягу,
Должен быть на редкость ловок!
Не хвалися, По-Пок-Кивис!
Будешь ты сейчас обыгран,
Жестоко наказан мною!»

Началась игра, и дико
Увлеклись игрою гости!
На одежду, на оружье,
До полночи, до рассвета,
Старики и молодые —
Все играли, все метали,
И лукавый По-Пок-Кивис
Обыграл их без пощады!
Взял все лучшие одежды,
Взял оружье боевое,
Пояса и ожерелья,
Перья, трубки и кисеты!
Двадцать глаз пред ним сверкали,
Как глаза волков голодных.

Напоследок он промолвил:
«Я в товарище нуждаюсь:
В путешествиях и дома
Я всегда один, и нужен
Мне помощник, Мэшинова,
Кто б носил за мною трубку.
Весь мой выигрыш богатый —

Все меха и украшенья,
Все оружие и перья —
Все в один я кон поставлю
Вот на этого красавца!»
То был юноша высокий
По шестнадцатому году,
Сирота, племянник Ягу.

Как огонь сверкает в трубке,
Под седой золой краснея,
Засверкали взоры Ягу
Под нависшими бровями.
«Уг!» — ответил он свирепо.
«Уг!» — ответили и гости.

И, костлявыми руками
Стиснув чашу роковую,
Ягу с яростью подбросил
И рассыпал вкруг фигуры.

Красным кверху пали пешки,
Красным кверху пали змеи,
Красным кверху и утята,
Озавабики — все черным,
Белым только рыбка, Киго;
Только пять всего по счету!

Улыбаясь, По-Пок-Кивис
Положил фигуры в чашу,
Ловко вскинул их на воздух
И рассыпал пред собою:
Красной, белой, черной краской
На земле они блестели,
А меж ними встала пешка,
Встал Инайнивэг, подобно
По-Пок-Кивису-красавцу,
Говорившему с улыбкой:
«Пять десятков! Все за мною!»

Двадцать глаз горели злобой,
Как глаза волков голодных,

В тот момент, как По-Пок-Кивис
Встал и вышел из вигвама,
А за ним племянник Ягу,
Стройный юноша высокий,
Уносил оленьи кожи,
Горностаевые шубы,
Пояса и ожерелья,
Перья, трубки и оружье!

«Отнеси мою добычу
В мой вигвам на Нэго-Воджу!» —
Властно молвил По-Пок-Кивис,
Пышным веером играя.

От игры и от куренья
У него горели веки,
И отрадно грудь дышала
Летней утренней прохладой.
В рощах звонко пели птицы,
По лугам ручьи шумели,
А в груди у Йенадиззи
Пело сердце от восторга,
Пело весело, как птица,
Билось гордо, как источник.
Гордо шел он по деревне
В сером сумраке рассвета,
Пышным веером играя,
И прошел по всей деревне
До последнего вигвама,
До жилища Гайаваты.

Тишина была в вигваме.
На порог никто не вышел
К По-Пок-Кивису с приветом;
Только птицы у порога
Пели, прыгали, порхали,
Там и сям сбирая зерна;
Только Кагаги с вигвама
Встретил гостя хриплым криком,
С криком крыльями захлопал,
Взором огненным сверкая.

«Все ушли! Жилище пусто! —
Так промолвил По-Пок-Кивис,
Замышляя злую шутку. —
Нет ни глупой Миннегаги,
Ни хозяина, ни бабки;
Тут теперь что хочешь делай!»

Стиснув ворона за горло,
Он вертел им, как трещоткой,
Как мешком с травой целебной,
Придушил его и бросил,
Чтоб висел он над вигвамом,
На позор его владельцу,
На позор для Гайаваты.

А потом вошел в жилище,
Раскидал кругом порога
Всю хозяйственную утварь,
Раскидал куда попало
Все котлы, горшки и миски,
Мех бобров и горностаев,
Шкуры буйволов и рысей,
На позор Нокомис старой,
На позор для Миннегаги.

Беззаботно напевая
И посвистывая белкам,
Шел он по лесу, а белки
Грызли желуди на ветках,
Шелухой в него кидали;
Беззаботно пел он птицам,
И за темною листвою
Так же весело и звонко
Отвечали пеньем птицы.

Со скалистого прибрежья
Он смотрел на Гитчи-Гюми,
Лег на самом видном месте
И с злорадством дожидался
Возвращенья Гайаваты.

На спине, раскинув руки,
Он дремал в полдневном зное.
Далеко под ним плескались,
Омывали берег волны,
Высоко над ним сияло
Голубою бездной небо,
А кругом носились птицы,
Стаи птиц носились с криком
И почти что задевали
По-Пок-Кивиса крылами.

Он убил их много-много,
Он десятками швырял их
Со скалистого прибрежья
Прямо в волны Гитчи-Гюми.
И Кайошк, морская чайка,
Наконец вскричала громко:
«Это дерзкий По-Пок-Кивис!
Это он нас избивает!
Где же брат наш, Гайавата?
Известите Гайавату!»

XVII. ПОГОНЯ ЗА ПО-ПОК-КИВИСОМ

Гневом вспыхнул Гайавата,
Возвратившись на деревню,
Увидав народ в смятеньи,
Услыхавши, что наделал
Дерзкий, хитрый По-Пок-Кивис.

Задыхался он от гнева;
Злобно стискивая зубы,
Он шептал врагу проклятья,
Бормотал, гудел, как шершень.
«Я убью его, — сказал он, —
Я убью, найду злодея!
Как бы ни был путь мой долог,
Как бы ни был путь мой труден,
Гнев мой все преодолеет,
Месть моя врага настигнет!»

Тотчас кликнул он соседей
И поспешно устремился
По следам его в погоню, —
По лесам, где проходил он
На прибрежье Гитчи-Гюми;
Но никто врага не встретил —
Отыскали только место
На траве, в кустах черники,
Где лежал он, отдыхая,
И примял цветы и травы.

Вдруг на Мускодэ зеленой,
На долине под горами,
Показался По-Пок-Кивис:
Сделав дерзкий знак рукою,
На бегу он обернулся,
И с горы, ему вдогонку,
Громко крикнул Гайавата:
«Как бы ни был путь мой долог,
Как бы ни был путь мой труден,
Гнев мой все преодолеет,
Месть моя тебя настигнет!»

Через скалы, через реки,
По кустарникам и чащам
Мчался хитрый По-Пок-Кивис,
Прыгал, словно антилопа.
Наконец остановился
Над прудом в лесной долине,
На плотине, возведенной
Осторожными бобрами,
Над разлившимся потоком,
Над затоном полусонным,
Где в воде росли деревья,
Где кувшинчики желтели,
Где камыш шептал, качаясь.

Над затоном По-Пок-Кивис
Стал на гать из пней и сучьев;
Сквозь нее вода сочилась,
А по ней ручьи бежали;
И со дна пруда к плотине

Выплыл бобр и стал большими,
Удивленными глазами
Из воды смотреть на гостя.

Над затоном По-Пок-Кивис
Пред бобром стоял в раздумье,
По ногам его струились
Ручейки сребристой влагой,
И с бобром заговорил он,
Так сказал ему с улыбкой:
«О мой друг Амик! Позволь мне
Отдохнуть в твоем вигваме,
Отдохнуть в воде прохладной, —
Преврати меня в Амика!»

Осторожно бобр ответил,
Помолчал и так ответил:
«Дай я с прочими бобрами
Посоветуюсь сначала».
И, ответив, опустился,
Как тяжелый камень, в воду,
Скрылся в чаще темно-бурых
Тростников и листьев лилий.

Над затоном По-Пок-Кивис
Ждал бобра на зыбкой гати;
Ручейки с невнятным плеском
По ногам его бежали,
Серебристыми струями
С гати падали на камни
И спокойно разливались
Меж камнями по долине;
А кругом листвой зеленой
Лес шумел, качались ветви,
И сквозь ветви свет и тени,
По земле скользя, играли.

Не спеша, поодиночке
Собрались бобры к плотине;
Осторожно показалась
Голова, потом другая,

Наконец весь пруд широкий
Рыльца черные покрыли,
Лоснясь в ярком блеске солнца.

И к бобрам с улыбкой хитрой
Обратился По-Пок-Кивис:
«О друзья мои! Покойно,
Хорошо у вас в вигвамах!
Все вы опытны и мудры,
Все на выдумки искусны,
Превратите же скорее
И меня в бобра, Амика!»

«Хорошо! — Амик ответил,
Царь бобров, Амик, ответил. —
Опускайся с нами в воду,
Опускайся в пруд с бобрами!»

Молча в тихий пруд с бобрами
Опустился По-Пок-Кивис.
Черной, гладкой и блестящей
Стала вся его одежда,
А хвосты лисиц на пятках
В толстый черный хвост слилися,
И бобром стал По-Пок-Кивис.

«О друзья мои, — сказал он, —
Я хочу быть выше, больше,
Больше всех бобров на свете».
«Хорошо, — Амик ответил, —
Вот когда придем в жилище,
В наш вигвам на дне потока,
В десять раз ты станешь больше».

Так под темною водою
Шел с бобрами По-Пок-Кивис,
Под водою, где лежали
Ветви, пни и груды корма,
И пришел с бобрами к арке,
Что вела в вигвам обширный.

Там опять он превратился,
В десять раз стал выше, больше,
И бобры ему сказали:
«Будь у нас вождем отныне,
Будь над нами властелином».

Но недолго По-Пок-Кивис
Мог почетом наслаждаться:
Бобр, поставленный на страже
В чаще шпажников и лилий,
Вдруг воскликнул: «Гайавата!
Гайавата на плотине!»

Вслед за этим раздалися
На плотине крики, говор,
Треск валежника и топот,
А вода заволновалась,
Стала падать, понижаться,
И бобры поняли в страхе,
Что плотина прорвалася.

С треском рухнула и крыша
Их просторного вигвама;
В щели крыши засверкало
Солнце яркими лучами,
И бобры поспешно скрылись
Под водой, где было глубже;
Но могучий По-Пок-Кивис
Не пролез за ними в двери:
Он от гордости и пищи,
Как пузырь, распух, раздулся.

В щели крыши Гайавата
На него смотрел и громко
Восклицал: «О По-Пок-Кивис!
Тщетны все твои уловки,
Бесполезны превращенья, —
Не спасешься, По-Пок-Кивис!»

Без пощады колотили
По-Пок-Кивиса дубины,

Молотили, словно маис,
На куски разбили череп.
Шесть охотников высоких
Положили на носилки,
Понесли его в деревню;
Но не умер По-Пок-Кивис,
Джиби, дух его, не умер.

Он барахтался, метался,
Изгибаясь и качаясь,
Как дверные занавески
Изгибаются, качаясь,
Если ветер дует в двери,
И опять собрался с силой,
Принял образ человека,
Встал и в бегство устремился
По-Пок-Кивисом лукавым.

Но от взоров Гайаваты
Не успел в лесу он скрыться;
В голубой и мягкий сумрак
Под ветвями дальних сосен,
К светлой просеке за ними
Вихрем мчался По-Пок-Кивис,
Нагибая ветви с шумом,
Но сквозь шум ветвей он слышал,
Что его, как бурный ливень,
Настигает Гайавата.

Задыхаясь, По-Пок-Кивис
Наконец остановился
Перед озером широким,
По которому средь лилий,
В тростниках, меж островами,
Тихо плавали казарки,
То скрываясь в тень деревьев,
То сверкая в блеске солнца,
Подымая кверху клювы,
Глубоко ныряя в воду.

«Пишнэкэ! — воскликнул громко
По-Пок-Кивис. — Превратите

Поскорей меня в казарку,
Только в самую большую, —
В десять раз сильней и больше,
Чем другие все казарки!»

Но едва они успели
Превратить его в казарку —
В исполинскую казарку
С круглой лоснящейся грудью,
С парой темных мощных крыльев
И с большим широким клювом, —
Как из леса с громким криком
Стал пред ними Гайавата!

С громким криком поднялися
И казарки над водою,
Поднялися шумной стаей
Из озерных трав и лилий
И сказали: «По-Пок-Кивис!
Будь теперь поосторожней, —
Берегись смотреть на землю,
Чтобы не было несчастья,
Чтоб беды не приключилось!»

Смело путь они держали,
Путь на дальний, дикий север,
Пролетали то в тумане,
То в сияньи ярком солнца,
Ночевали и кормились
В камышах болот пустынных
И с зарей пустились дальше.
Плавно мчал их южный ветер,
Дул свежо и сильно в крылья.

Вдруг донесся к ним неясный,
Отдаленный шум и говор,
Донеслись людские речи
Из селения под ними:
То народ с земли дивился
На невиданные крылья
По-Пок-Кивиса-казарки, —

Эти крылья были шире,
Чем дверные занавески.

По-Пок-Кивис слышал крики,
Слышал голос Гайаваты,
Слышал громкий голос Ягу,
Позабыл совет казарок,
С высоты взглянул на землю —
И в одно мгновенье ветер
Подхватил его, смял крылья
И понес, вертя, на землю.

Тщетно справиться хотел он,
Тщетно думал удержаться!
Вихрем падая на землю,
Он порой то землю видел,
То казарок в синем небе,
Видел, что земля все ближе,
А простор небес — все дальше,
Слышал громкий смех и говор,
Слышал крики все яснее,
Потерял из глаз казарок,
Увидал внизу вигвамы
И с размаху пал на землю, —
С тяжким стуком средь народа
Пала мертвая казарка!

Но его лукавый Джиби,
Дух его, в одно мгновенье
Принял образ человека,
По-Пок-Кивиса-красавца,
И опять пустился в бегство,
И опять за ним в погоню
Устремился Гайавата,
Восклицая: «Как бы ни был
Путь мой долог и опасен,
Гнев мой все преодолеет,
Месть моя тебя настигнет!»

В двух шагах был По-Пок-Кивис,
В двух шагах от Гайаваты,

Но мгновенно закружился,
Поднял вихрем пыль и листья
И исчез в дупле дубовом,
Перекинулся змеею,
Проскользнул змеей под корни.

Быстро правою рукою
Искрошил весь дуб на щепки
Гайавата, — но напрасно!
Вновь лукавый По-Пок-Кивис
Принял образ человека
И помчался в бурном вихре
К Живописным Скалам красным,
Что с прибрежья озирают
Всю страну и Гитчи-Гюми.

И Владыка Гор могучий,
Горный Манито могучий
Распахнул пред ним ущелье,
Распахнул широко пропасть, —
Скрыл его от Гайаваты
В мрачном каменном жилище,
Ввел его с радушной лаской
В тьму своих пещер угрюмых.

А снаружи Гайавата,
Пред закрытым входом стоя,
Рукавицей, Минджикэвон,
Пробивал в горе пещеры
И кричал в великом гневе:
«Отопри! Я Гайавата!»
Но Владыка Гор не отпер,
Не ответил Гайавате
Из своих пещер безмолвных,
Из скалистой мрачной бездны.

И простер он руки к небу,
Призывая Эннэмики
И Вэвэссимо на помощь,
И пришли они во мраке,
С ночью, с бурей, с ураганом,

Пронеслись по Гитчи-Гюми
С отдаленных Гор Громовых,
И услышал По-Пок-Кивис
Тяжкий грохот Эннэмики,
Увидал он блеск огнистый
Глаз Вэвэссимо и в страхе
Задрожал и притаился.

Тяжкой палицей своею
Скалы молния разбила
Над преддверием пещеры,
Грянул гром в ее средину,
Говоря: «Где По-Пок-Кивис?» —
И рассыпались утесы,
И среди развалин мертвым
Пал лукавый По-Пок-Кивис,
Пал красавец Йенадиззи.

Благородный Гайавата
Вынул дух его из тела
И сказал: «О По-Пок-Кивис!
Никогда уж ты не примешь
Снова образ человека,
Никогда не будешь больше
Танцевать с беспечным смехом,
Но высоко в синем небе
Будешь ты парить и плавать,
Будешь ты Киню отныне —
Боевым Орлом могучим!»

И живут с тех пор в народе
Песни, сказки и преданья
О красавце Йенадиззи;
И зимой, когда в деревне
Вихри снежные гуляют,
А в трубе вигвама свищет,
Завывает буйный ветер, —
«Это хитрый По-Пок-Кивис
В пляске бешеной несется!» —
Говорят друг другу люди.

XVIII. СМЕРТЬ КВАЗИНДА

Далеко прошел по свету
Слух о Квазинде могучем:
Он соперников не ведал,
Он себе не ведал равных.
И завистливое племя
Злобных Гномов и Пигмеев,
Злобных духов Пок-Уэджис,
Погубить его решило.

«Если этот дерзкий Квазинд,
Ненавистный всем нам Квазинд,
Поживет еще на свете,
Все губя, уничтожая,
Удивляя все народы
Дивной силою своею, —
Что же будет с Пок-Уэджис? —
Говорили Пок-Уэджис. —
Он растопчет нас, раздавит,
Он подводным злобным духам
Всех нас кинет на съеденье!»

Так, пылая лютой злобой,
Совещались Пок-Уэджис
И убить его решили,
Да, убить его, — избавить
Мир от Квазинда навеки!

Сила Квазинда и слабость
Только в темени таилась:
Только в темя можно было
Насмерть Квазинда поранить,
Но и то одним оружьем —
Голубой еловой шишкой.
Роковая тайна эта
Не была известна смертным,
Но коварные Пигмеи,
Пок-Уэджис, знали тайну,
Знали, как врага осилить.

И они набрали шишек,
Голубых еловых шишек

По лесам над Таквамино,
Отнесли их и сложили
На ее высокий берег,
Там, где красные утесы
Нависают над водою,
Сами спрятались и стали
Поджидать врага в засаде.

Было это в полдень летом;
Тих был сонный знойный воздух,
Неподвижно спали тени,
В полусне река струилась;
По реке, блестя на солнце,
Насекомые скользили,
В знойном воздухе далеко
Раздавалось их жужжанье,
Их напевы боевые.

По реке плыл мощный Квазинд,
По теченью плыл лениво,
По дремотной Таквамино,
Плыл в березовой пироге,
Истомленный тяжким зноем,
Усыпленный тишиною.

По ветвям, к реке склоненным,
По кудрям берез плакучих,
Осторожно опустился
На него Дух Сна, Нэпавин;
В сонме спутников незримых,
Во главе воздушной рати,
По ветвям сошел Нэпавин,
Бирюзовой Дэш-кво-ни-ши,
Стрекозою, стал он тихо
Над пловцом усталым реять.

Квазинд слышал чей-то шепот,
Смутный, словно вздохи сосен,
Словно дальний ропот моря,
Словно дальний шум прибоя,
И почувствовал удары

Томагауков воздушных,
Поражавших прямо в темя,
Управляемых несметной
Ратью Духов Сна незримых.

И от первого удара
Обняла его дремота,
От второго — он бессильно
Опустил весло в пирогу,
После третьего — окрестность
Перед ним покрылась тьмою:
Крепким сном забылся Квазинд.

Так и плыл он по теченью, —
Как слепой, сидел в пироге,
Сонный плыл по Таквамино,
Под прибрежными лесами,
Мимо трепетных березок,
Мимо вражеской засады,
Мимо лагеря Пигмеев.

Градом сыпалися шишки,
Голубые шишки елей
В темя Квазинда с прибрежья.
«Смерть врагу!» — раздался громкий
Боевой крик Пок-Уэджис.

И упал на борт пироги
И свалился в реку Квазинд,
Головою вниз, как выдра,
В воду сонную свалился,
А пирога, кверху килем,
Поплыла одна, блуждая
По теченью Таквамино.

Так погиб могучий Квазинд.
Но хранилось долго-долго
Имя Квазинда в народе,
И когда в лесах зимою
Бушевали, выли бури,
С треском гнули и ломали

Ветви стонущих деревьев, —
«Квазинд! — люди говорили. —
Это Квазинд собирает
На костер себе валежник!»

XIX. ПРИВИДЕНИЯ

Никогда хохлатый коршун
Не спускается в пустыне
Над пораненным бизоном
Без того, чтоб на добычу
И второй не опустился;
За вторым же в синем небе
Тотчас явится и третий,
Так что вскорости от крыльев
Собирающейся стаи
Даже воздух потемнеет.

И беда одна не ходит;
Сторожат друг друга беды;
Чуть одна из них нагрянет —
Вслед за ней спешат другие
И, как птицы, вьются, вьются
Черной стаей над добычей,
Так что белый свет померкнет
От отчаянья и скорби.

Вот опять на хмурый север
Мощный Пибоан вернулся!
Ледяным своим дыханьем
Превратил он воды в камень
На реках и на озерах,
С кос стряхнул он хлопья снега,
И поля покрылись белой,
Ровной снежной пеленою,
Будто сам Владыка Жизни
Сгладил их рукой своею.

По лесам, под песни вьюги,
Зверолов бродил на лыжах;

В деревнях, в вигвамах теплых,
Мирно женщины трудились,
Молотили кукурузу
И выделывали кожи;
Молодежь же проводила
Время в играх и забавах,
В танцах, в беганье на лыжах.

Темным вечером однажды
Престарелая Нокомис
С Миннегагою сидела
За работою в вигваме,
Чутко слушая в молчаньи,
Не идет ли Гайавата,
Запоздавший на охоте.

Свет костра багряной краской
Разрисовывал их лица,
Трепетал в глазах Нокомис
Серебристым лунным блеском,
А в глазах у Миннегаги —
Блеском солнца над водою;
Дым, клубами собираясь,
Уходил в трубу над ними,
По углам вигвама тени
Изгибалися за ними.

И открылась тихо-тихо
Занавеска над порогом;
Ярче пламя запылало,
Дым сильней заволновался —
И две женщины безмолвно,
Без привета и без зова,
Чрез порог переступили,
Проскользнули по вигваму
В самый дальний, темный угол,
Сели там и притаились.

По обличью, по одежде
Это были чужеземки;
Бледны, мрачны были обе,
И с безмолвною тоскою,

Содрогаясь, как от стужи,
Из угла они глядели.

То не ветер ли полночный
Загудел в трубе вигвама?
Не сова ли, Куку-кугу,
Застонала в мрачных соснах?
Голос вдруг изрек в молчаньи:
«Это мертвые восстали,
Это души погребенных
К вам пришли из Стран Понима,
Из страны Загробной Жизни!»

Скоро из лесу, с охоты,
Возвратился Гайавата,
Весь осыпан белым снегом
И с оленем за плечами.
Перед милой Миннегагой
Он сложил свою добычу
И теперь еще прекрасней
Показался Миннегаге,
Чем в тот день, когда за нею
Он пришел в страну Дакотов,
Положил пред ней оленя,
В знак своих желаний тайных,
В знак своей любви сердечной.

Положив, он обернулся,
Увидал в углу двух женщин
И сказал себе: «Кто это?
Странны гостьи Миннегаги!»
Но расспрашивать не стал их,
Только с ласковым приветом
Попросил их разделить с ним
Кров его, очаг и пищу.

Гостьи бледные ни слова
Не сказали Гайавате;
Но когда готов был ужин
И олень уже разрезан,
Из угла они вскочили,

Завладели лучшей долей,
Долей милой Миннегаги,
Не спросясь схватили дерзко
Нежный, белый жир оленя,
Съели с жадностью, как звери,
И опять забились в угол,
В самый дальний, темный угол.

Промолчала Миннегага,
Промолчал и Гайавата,
Промолчала и Нокомис;
Лица их спокойны были.
Только Миннегага тихо
Прошептала с состраданьем,
Говоря: «Их мучит голод;
Пусть берут что им по вкусу,
Пусть едят, — их мучит голод».

Много зорь зажглось, погасло,
Много дней стряхнули ночи,
Как стряхают хлопья снега
Сосны темные на землю;
День за днем сидели молча
Гостьи бледные в вигваме;
Ночью, даже в непогоду,
В ближний лес они ходили,
Чтоб набрать сосновых шишек,
Чтоб набрать ветвей для топки,
Но едва светало, снова
Появлялися в вигваме.

И всегда, когда с охоты
Возвращался Гайавата,
В час, когда готов был ужин
И олень уже разрезан,
Гостьи бледные бесшумно
Из угла к нему кидались,
Не спросясь хватали жадно
Нежный, белый жир оленя,
Долю милой Миннегаги,
И скрывались в темный угол.

Никогда не упрекнул их
Даже взглядом Гайавата,
Никогда не возмутилась
Престарелая Нокомис,
Никогда не показала
Недовольства Миннегага;
Все они терпели молча,
Чтоб права святые гостя
Не нарушить грубым взглядом,
Не нарушить грубым словом.

В полночь раз, когда печально
Догорал костер, краснея,
И мерцал дрожащим светом
В полусумраке вигвама,
Бодрый, чуткий Гайавата
Вдруг услышал чьи-то вздохи,
Чьи-то горькие рыданья.

С ложа встал он осторожно,
Встал с косматых шкур бизона
И, отдернувши над ложем
Из оленьей кожи полог,
Увидал, что это Тени,
Гостьи бледные, вздыхают,
Плачут в тишине полночной.

И промолвил он: «О гостьи!
Что так мучит ваше сердце?
Что рыдать вас заставляет?
Не Нокомис ли вас, гостьи,
Ненароком оскорбила?
Иль пред вами Миннегага
Позабыла долг хозяйки?»

Тени смолкли, перестали
Горько сетовать и плакать
И сказали тихо-тихо:
«Мы усопших, мертвых души,
Души тех, что жили с вами;
Мы пришли из Стран Понима,

С островов Загробной Жизни,
Испытать вас и наставить.

Вопли скорби достигают
К нам, в Селения Блаженных:
То живые погребенных
Призывают вновь на землю,
Мучат нас бесплодной скорбью;
И вернулись мы на землю,
Но узнали скоро-скоро,
Что везде мы только в тягость,
Что для всех мы стали чужды:
Нет нам места, — нет возврата
Мертвецам из-за могилы!

Помни это, Гайавата,
И скажи всему народу,
Чтоб отныне и вовеки
Вопли их не огорчали
Отошедших в мир Понима,
К нам, в Селения Блаженных.

Не кладите тяжкой ноши
С мертвецами в их могилы,
Ни мехов, ни украшений,
Ни котлов, ни чаш из глины, —
Эта ноша мучит духов.
Дайте лишь немного пищи,
Дайте лишь огня в дорогу.

Дух четыре грустных ночи
И четыре дня проводит
На пути в страну Понима;
Потому-то и должны вы
Над могилами усопших
С первой ночи до последней
Жечь костры неугасимо,
Освещать дорогу духам,
Озарять веселым светом
Их печальные ночлеги.

Мы идем, прости навеки,
Благородный Гайавата!
И тебя мы искушали,
И твое терпенье долго
Мы испытывали дерзко,
Но всегда ты оставался
Благородным и великим.
Не слабей же, Гайавата,
Не слабей, не падай духом:
Ждет тебя еще труднее
И борьба и испытанье!»

И внезапно тьма упала
И наполнила жилище,
Гайавата же в молчаньи
Услыхал одежды шорох,
Услыхал, что кто-то поднял
Занавеску над порогом,
Увидал на небе звезды
И почувствовал дыханье
Зимней полночи морозной,
Но уже не видел духов,
Теней бледных и печальных
Из далеких Стран Понима,
Из страны Загробной Жизни.

XX. ГОЛОД

О, зима! О, дни жестокой,
Бесконечной зимней стужи!
Лед все толще, толще, толще
Становился на озерах;
Снег все больше, больше, больше
Заносил луга и степи;
Все грозней шумели вьюги
По лесам, вокруг селенья.

Еле-еле из вигвама,
Занесенного снегами,
Мог пробраться в лес охотник;
В рукавицах и на лыжах

Тщетно по лесу бродил он,
Тщетно он искал добычи, —
Не видал ни птиц, ни зверя,
Не видал следов оленя,
Не видал следов Бабассо.
Страшен был, как привиденье,
Лес блестящий и пустынный,
И, от голода, от стужи
Потеряв сознанье, падал,
Погибал в снегах охотник.

О, Всесильный Бюкадэвин!
О, могучий Акозивин!
О, безмолвный, грозный Погок!
О, жестокие мученья,
Плач детей и вопли женщин!

Всю тоскующую землю
Изнурил недуг и голод,
Небеса и самый воздух
Лютым голодом томились,
И горели в небе звезды,
Как глаза волков голодных!

Вновь в вигваме Гайаваты
Поселилися два гостя:
Так же мрачно и безмолвно,
Как и прежние два гостя,
Без привета и без зова
В дом вошли они и сели
Прямо рядом с Миннегагой,
Не сводя с нее свирепых,
Впалых глаз ни на минуту.

И один сказал ей: «Видишь?
Пред тобою — Бюкадэвин.
И другой сказал ей: Видишь?
Пред тобою — Акозивин!»

И от этих слов и взглядов
Содрогнулось, сжалось страхом
Сердце милой Миннегаги;

Без ответа опустилась,
Скрыв лицо, она на ложе
И томилась, трепетала,
Холодея и сгорая,
От зловещих слов и взглядов.

Как безумный, устремился
В лес на лыжах Гайавата;
Стиснув зубы, затаивши
В сердце боль смертельной скорби,
Мчался он, и капли пота
На челе его смерзались.

В меховых своих одеждах,
В рукавицах, Минджикэвон,
С мощным луком наготове
И с колчаном за плечами,
Он бежал все дальше, дальше
По лесам пустым и мертвым.

«Гитчи Манито! — вскричал он,
Обращая взоры к небу
С беспредельною тоскою, —
Пощади нас, о Всесильный,
Дай нам пищи, иль погибнем!
Пищи дай для Миннегаги —
Умирает Миннегага!»

Гулко в дебрях молчаливых,
В бесконечных дебрях бора,
Прозвучали вопли эти,
Но никто не отозвался,
Кроме отклика лесного,
Повторявшего тоскливо:
«Миннегага! Миннегага!»

До заката одиноко
Он бродил в лесах печальных,
В темных чащах, где когда-то
Шел он с милой Миннегагой,
С молодой женою рядом,
Из далеких стран Дакотов.

Весел был их путь в то время!
Все цветы благоухали,
Все лесные птицы пели,
Все ручьи сверкали солнцем,
И сказала Миннегага
С беззаветною любовью:
«Я пойду с тобою, муж мой!»

А в вигваме, близ Нокомис,
Близ пришельцев молчаливых,
Карауливших добычу,
Уж томилась пред кончиной,
Умирала Миннегага.

«Слышишь? — вдруг она сказала. —
Слышишь шум и гул далекий
Водопадов Миннегаги?
Он зовет меня, Нокомис!»

«Нет, дитя мое, — печально
Отвечала ей Нокомис, —
Это бор гудит от ветра».

«Глянь! — сказала Миннегага. —
Вон — отец мой! Одиноко
Он стоит и мне кивает
Из родимого вигвама!»

«Нет, дитя мое, — печально
Отвечала ей Нокомис, —
Это дым плывет, кивает!»

«Ах! — вскричала Миннегага. —
Это Погока сверкают
Очи грозные из мрака,
Это он мне стиснул руку
Ледяной своей рукою!
Гайавата, Гайавата!»

И несчастный Гайавата
Издалека, издалека,
Из-за гор и дебрей леса,

Услыхал тот крик внезапный,
Скорбный голос Миннегаги,
Призывающий во мраке:
«Гайавата! Гайавата!»
По долинам, по сугробам,
Под ветвями белых сосен,
Нависавшими от снега,
Он бежал с тяжелым сердцем,
И услышал он тоскливый
Плач Нокомис престарелой:
«Вагономин! Вагономин!
Лучше б я сама погибла,
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин! Вагономин!»

И в вигвам он устремился,
И увидел, как Нокомис
С плачем медленно качалась,
Увидал и Миннегагу,
Неподвижную на ложе,
И такой издал ужасный
Крик отчаянья, что звезды
В небесах затрепетали,
А леса с глубоким стоном
Потряслись до основанья.

Осторожно и безмолвно
Сел он к ложу Миннегаги,
Сел к ногам ее холодным,
К тем ногам, что никогда уж
Не пойдут за Гайаватой,
Никогда к нему из дома
Уж не выбегут навстречу.

Он лицо закрыл руками,
Семь ночей и дней у ложа
Просидел в оцепененьи,
Без движенья, без сознанья:
День царит иль тьма ночная?

И простились с Миннегагой;
Приготовили могилу

Ей в лесу глухом и темном,
Под печальною цикутой,
Обернули Миннегагу
Белым мехом горностая,
Закидали белым снегом,
Словно мехом горностая, —
И простились с Миннегагой.

А с закатом на могиле
Был зажжен костер из хвои,
Чтоб душе четыре ночи
Освещал он путь далекий,
Путь в Селения Блаженных.
Из вигвама Гайавате
Видно было, как горел он,
Озаряя из-под низу
Ветви черные цикуты.
И не раз в час долгой ночи
Подымался Гайавата
На своем бессонном ложе,
Ложе милой Миннегаги,
И стоял, следил с порога,
Чтобы пламя не погасло,
Дух во мраке не остался.

«О, прости, прости! — сказал он. —
О, прости, моя родная!
Все мое с тобою сердце
Схоронил я, Миннегага,
Вся душа моя стремится
За тобою, Миннегага!
Не ходи, не возвращайся
К нам на труд и на страданья,
В мир, где голод, лихорадка
Мучат душу, мучат тело!
Скоро подвиг свой я кончу,
Скоро буду я с тобою
В царстве светлого Понима,
Бесконечной, вечной жизни!»

XXI. СЛЕД БЕЛОГО

Средь долины, над рекою,
Над замерзшею рекою,
Там сидел в своем вигваме
Одинокий, грустный старец.
Волоса его лежали
На плечах сугробом снега,
Плащ его из белой кожи,
Вобивайон, был в лохмотьях,
А костер среди вигвама
Чуть светился, догорая,
И дрожал от стужи старец,
Ослепленный снежной вьюгой,
Оглушенный свистом бури,
Оглушенный гулом леса.

Угли пеплом уж белели,
Пламя тихо умирало,
Как неслышно появился
Стройный юноша в вигваме.
На щеках его румянец
Разливался алой краской,
Очи кроткие сияли,
Как весенней ночью звезды,
А чело его венчала
Из пахучих трав гирлянда.
Улыбаясь и улыбкой
Все, как солнцем, озаряя,
Он вошел в вигвам с цветами,
И цветы его дышали
Нежным, сладким ароматом.

«О мой сын, — воскликнул старец, —
Как отрадно видеть гостя!
Сядь со мною на циновку,
Сядь сюда, к огню поближе,
Будем вместе ждать рассвета.
Ты свои мне порасскажешь
Приключения и встречи,
Я — свои: свершил я в жизни
Не один великий подвиг!»

Тут он вынул Трубку Мира,
Очень старую, чудную,
С красной каменной головкой,
С чубуком из трости, в перьях,
Наложил ее корою,
Закурил ее от угля,
Подал гостю-чужеземцу
И повел такие речи:

«Стоит мне своим дыханьем
Только раз на землю дунуть,
Остановятся все реки,
Вся вода окаменеет!»

Улыбаясь, гость ответил:
«Стоит мне своим дыханьем
Только раз на землю дунуть,
Зацветут цветы в долинах,
Запоют, заплещут реки!»

«Стоит мне тряхнуть во гневе
Головой своей седою, —
Молвил старец, мрачно хмурясь, —
Всю страну снега покроют,
Вся листва спадет с деревьев,
Все поблекнет и погибнет,
С рек и с тундр, с болотных топей
Улетят и гусь и цапля
К отдаленным, теплым странам;
И куда бы ни пришел я,
Звери дикие лесные
В норы прячутся, в пещеры,
Как кремень, земля твердеет!»

«Стоит мне тряхнуть кудрями, —
Молвил гость с улыбкой кроткой, —
Благодатный теплый ливень
Оросит поля и долы,
Воскресит цветы и травы;
На озера и болота
Возвратятся гусь и цапля,
С юга ласточка примчится,

Запоют лесные птицы;
И куда бы ни пришел я,
Луг колышется цветами,
Лес звучит веселым пеньем,
От листвы темнеют чащи!»

За беседой ночь минула;
Из далеких стран Востока,
Из серебряных чертогов,
Словно воин в ярких красках,
Солнце вышло и сказало:
«Вот и я! Любуйтесь солнцем,
Гизисом, могучим солнцем!»

Онемел при этом старец.
От земли теплом пахнуло,
Над вигвамом стали сладко
Опечи петь и Овейса,
Зажурчал ручей в долине,
Нежный запах трав весенних
Из долин в вигвам повеял,
И при ярком блеске солнца
Увидал Сэгвон яснее
Старца лик холодный, мертвый:
То был Пибоан могучий.

По щекам его бежали,
Как весенние потоки,
Слезы теплые струями,
Сам же он все уменьшался
В блеске радостного солнца —
Паром таял в блеске солнца,
Влагой всачивался в землю,
И Сэгвон среди вигвама,
Там, где ночью мокрый хворост
В очаге дымился, тлея,
Увидал цветок весенний,
Первоцвет, привет весенний,
Мискодит в зеленых листьях.

Так на север после стужи,
После лютой зимней стужи,

Вновь пришла весна, а с нею
Зацвели цветы и травы,
Возвратились с юга птицы.

С ветром путь держа на север,
В небе стаями летели,
Мчались лебеди, как стрелы,
Как большие стрелы в перьях,
И скликалися, как люди;
Плыли гуси длинной цепью,
Изгибавшейся, подобно
Тетиве из жил оленя,
Разорвавшейся на луке;
В одиночку и попарно,
С быстрым, резким свистом крыльев,
Высоко нырки летели,
Пролетали на болота
Мушкодаза и Шух-шух-га.

В чащах леса и в долинах
Пел Овейса синеперый,
Над вигвамами, на кровлях,
Опечи пел красногрудый,
Под густым наметом сосен
Ворковал Омими, голубь,
И печальный Гайавата,
Онемевший от печали,
Услыхал их зов веселый,
Услыхал — и тихо вышел
Из угрюмого вигвама
Любоваться вешним солнцем,
Красотой земли и неба.

Из далекого похода
В царство яркого рассвета,
В царство Вебона, к Востоку,
Возвратился старый Ягу,
И принес он много-много
Удивительных новинок.

Вся деревня собралася
Слушать, как хвалился Ягу

Приключеньями своими,
Но со смехом говорила:
«Уг! Да это точно — Ягу!
Кто другой так может хвастать!»

Он сказал, что видел море
Больше, чем Большое Море,
Много больше Гитчи-Гюми
И с такой водою горькой,
Что никто не пьет ту воду.
Тут все воины и жены
Друг на друга поглядели,
Улыбнулися друг другу
И шепнули: «Это враки!
Ко! — шепнули. — Это враки!»

В нем, сказал он, в этом море
Плыл огромный челн крылатый,
Шла крылатая пирога,
Больше целой рощи сосен,
Выше самых старых сосен.
Тут все воины и старцы
Поглядели друг на друга,
Засмеялись и сказали:
«Ко, не верится нам что-то!»

Из жерла ее, сказал он,
Вдруг раздался гром, в честь Ягу,
Стрелы молнии сверкнули.
Тут все воины и жены
Без стыда захохотали.
«Ко, — сказали, — вот так сказка!»

В ней, сказал он, плыли люди,
Да, сказал он, в этой лодке
Я сто воинов увидел.
Лица воинов тех были
Белой выкрашены краской,
Подбородки же покрыты
Были густо волосами.
Тут уж все над бедным Ягу
Стали громко издеваться,

Закричали. Зашумели,
Словно во́роны на соснах,
Словно серые воро́ны.
«Ко! — кричали все со смехом. —
Кто ж тебе поверит, Ягу!»

Гайавата не смеялся, —
Он на шутки и насмешки
Строго им в ответ промолвил:
«Ягу правду говорит нам;
Было мне дано виденье,
Видел сам я челн крылатый,
Видел сам я бледнолицых,
Бородатых чужеземцев
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета.

Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
С ними шлет свои веленья,
Шлет свои нам приказанья.
Где живут они — там вьются
Амо, делатели меда,
Мухи с жалами роятся.
Где идут они — повсюду
Вырастает вслед за ними
Мискодит, краса природы.

И когда мы их увидим,
Мы должны их, словно братьев,
Встретить с лаской и приветом.
Гитчи Манито могучий
Это мне сказал в виденьи.

Он открыл мне в том виденьи
И грядущее, — все тайны
Дней, от нас еще далеких.
Видел я густые рати
Неизвестных нам народов,
Надвигавшихся на Запад,
Переполнивших все страны.
Разны были их наречья,

Но одно в них билось сердце,
И кипела неустанно
Их веселая работа:
Топоры в лесах звенели,
Города в лугах дымились,
На реках и на озерах
Плыли с молнией и громом
Окрыленные пироги.

А потом уже иное
Предо мной прошло виденье, —
Смутно, словно за туманом:
Видел я, что гибнут наши
Племена в борьбе кровавой,
Восставая друг на друга,
Позабыв мои советы;
Видел с грустью их остатки,
Отступавшие на Запад,
Убегавшие в смятеньи,
Как рассеянные тучи,
Как сухие листья в бурю!»

XXII. ЭПИЛОГ

На прибрежье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
Тихим, ясным летним утром
Гайавата в ожиданьи
У дверей стоял вигвама.

Воздух полон был прохлады,
Вся земля дышала счастьем,
А над нею, в блеске солнца,
На закат, к соседней роще,
Золотистыми роями
Пролетали пчелы, Амо,
Пели в ярком блеске солнца.

Ясно глубь небес сияла,
Тихо было Гитчи-Гюми;
У прибрежья прыгал Нама,

Искрясь в брызгах, в блеске солнца;
На прибрежье лес зеленый
Возвышался над водою,
Созерцал свои вершины,
Отраженные водою.

Светел взор был Гайаваты:
Скорбь с лица его исчезла,
Как туман с восходом солнца,
Как ночная мгла с рассветом;
С торжествующей улыбкой,
Полный радости и счастья,
Словно тот, кто видит в грезах
То, что скоро совершится,
Гайавата в ожиданьи
У дверей стоял вигвама.

К солнцу руки протянул он,
Обратил к нему ладони,
И меж пальцев свет и тени
По лицу его играли,
По плечам его открытым;
Так лучи, скользя меж листьев,
Освещают дуб могучий.

По воде, в дали неясной,
Что-то белое летело,
Что-то плыло и мелькало
В легком утреннем тумане,
Опускалось, подымалось,
Подходя все ближе, ближе.

Не летит ли там Шух-шух-га?
Не ныряет ли гагара?
Не плывет ли Птица-баба?
Или это Во-би-вава
Брызги стряхивает с перьев
С шеи длинной и блестящей?

Нет, не гусь, не цапля это,
Не нырок, не Птица-баба
По воде плывет, мелькает

В легком утреннем тумане:
То березовая лодка,
Опускаясь, подымаясь,
В брызгах искрится на солнце,
И плывут в той лодке люди
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета;
То наставник бледнолицых,
Их пророк в одежде черной,
По воде с проводниками
И с друзьями путь свой держит.

И, простерши к небу руки,
В знак сердечного привета,
С торжествующей улыбкой
Ждал их славный Гайавата,
Ждал, пока под их пирогой
Захрустит прибрежный щебень,
Зашуршит песчаный берег
И наставник бледнолицых
На песчаный берег выйдет.

И когда наставник вышел,
Громко, радостно воскликнув,
Так промолвил Гайавата:
«Светел день, о чужеземцы,
День, в который вы пришли к нам!
Все селенье наше ждет вас,
Все вигвамы вам открыты.

Никогда еще так пышно
Не цвела земля цветами,
Никогда на небе солнце
Не сияло так, как ныне,
В день, когда из стран Востока
Вы пришли в селенье наше!
Никогда Большое Море
Не бывало так спокойно,
Так прозрачно и свободно
От подводных скал и мелей:
Там, где шла пирога ваша,
Нет теперь ни скал, ни мелей!

Никогда табак наш не был
Так душист и так приятен,
Никогда не зеленели
Наши нивы так, как ныне,
В день, когда из стран Востока
Вы пришли в селенье наше!»

И наставник бледнолицых,
Их пророк в одежде черной,
Отвечал ему приветом:
«Мир тебе, о Гайавата!
Мир твоей стране родимой,
Мир молитвы, мир прощенья,
Мир Христа и свет Марии!»

И радушный Гайавата
Ввел гостей в свое жилище,
Посадил их там на шкурах
Горностаев и бизонов,
А Нокомис подала им
Пищу в мисках из березы,
Воду в ковшиках из липы
И зажгла им Трубку Мира.

Все пророки, Джосакиды,
Все волшебники, Вэбины,
Все врачи недугов, Миды,
С ними воины и старцы
Собралися пред вигвамом,
Чтоб почтить гостей приветом.
Тесным кругом у порога
На земле они сидели
И курили трубки молча,
А когда к ним из вигвама
Вышли гости, так сказали:
«Всех нас радует, о братья,
Что пришли вы навестить нас
Из далеких стран Востока!»

И наставник бледнолицых
Рассказал тогда народу,
Что пришел он им поведать

О святой Марии-деве,
О ее предвечном Сыне.
Рассказал, как в дни былые
Он сошел на землю к людям,
Как он жил в посте, в молитве,
Как учил он, как евреи,
Богом про́клятое племя,
На кресте его распяли,
Как восстал он из могилы,
Вновь ходил с учениками
И с земли вознесся в небо.

И народ ему ответил:
«Мы словам твоим внимали,
Мы внимали мудрой речи,
Мы должны о ней подумать.
Всех нас радует, о братья,
Что пришли вы навестить нас
Из далеких стран Востока!»

И, простясь, все удалились,
Разошлись к своим вигвамам,
Рассказали на деревне
Юным воинам и женам,
Что прислал Владыка Жизни
К ним гостей из стран Востока.

От жары, в затишье полдня,
Тяжким воздух становился;
В полусне шептались сосны
Позади вигвамов душных,
В полусне плескались волны
На песчаное прибрежье,
А на нивах, не смолкая,
Пел кузнечик, Па-пок-кина.
Спали гости Гайаваты,
Истомленные жарою,
В душном сумраке вигвама.

Тихо вечер приближался,
Освежая знойный воздух,

И метало солнце стрелы,
Пробивая чащи леса,
В тайники его врываясь,
Все осматривая зорко.
Спали гости Гайаваты
В тихом сумраке вигвама.

С мягких шкур встал Гайавата
И простился он с Нокомис,
Тихим шепотом сказал ей,
Чтоб гостей не потревожить:

«Ухожу я, о Нокомис,
Ухожу я в путь далекий,
Ухожу в страну Заката,
В край Кивайдина родимый.
Но гостей моих, Нокомис,
На тебя я оставляю:
Сохраняй их и заботься,
Чтоб ни страх, ни подозренье,
Ни печаль их не смущали;
Чтоб в вигваме Гайаваты
Им всегда готовы были
И приют, и кров, и пища».

Так сказав ей, он покинул
Отчий дом, пошел в селенье
И простился там с народом,
Говоря такие речи:

«Ухожу я, о народ мой,
Ухожу я в путь далекий.
Много зим и много весен
И придет и вновь исчезнет,
Прежде чем я вас увижу;
Но гостей моих оставил
Я в родном моем вигваме:
Наставленьям их внимайте,
Слову, мудрости внимайте,
Ибо их Владыка Жизни
К нам прислал из царства света».

На прибрежье Гайавата
Обернулся на прощанье,
На сверкающие волны
Сдвинул легкую пирогу,
От кремнистого прибрежья
Оттолкнул ее на волны,
«На закат!» — сказал ей тихо
И пустился в путь далекий.

И закат огнем багряным
Облака зажег, и небо,
Словно прерии, пылало;
Длинным огненным потоком
Отражался в Гитчи-Гюми
Солнца след, и, удаляясь
Все на запад и на запад,
Плыл по нем к заре огнистой,
Плыл в багряные туманы,
Плыл к закату Гайавата.

И народ с прибрежья долго
Провожал его глазами,
Видел, как его пирога
Поднялась высоко к небу
В море солнечного блеска —
И сокрылася в тумане,
Точно бледный полумесяц,
Потонувший тихо-тихо
В полумгле, в дали багряной.

И сказал: «Прости навеки,
Ты прости, о Гайавата!»
И лесов пустынных недра
Содрогнулись — и пронесся
Тяжкий вздох во мраке леса,
Вздох: «Прости, о Гайавата!»
И о берег волны с шумом
Разбивались и рыдали,
И звучал их стон печальный,
Стон: «Прости, о Гайавата!»
И Шух-шух-га на болоте

Испустила крик тоскливый,
Крик: «Прости, о Гайавата!»

Так в пурпурной мгле вечерней,
В славе гаснущего солнца,
Удалился Гайавата
В край Кивайдина родимый,
Отошел в Страну Понима,
К Островам Блаженных — в царство
Бесконечной, вечной жизни!

СЛОВАРЬ ИНДЕЙСКИХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПОЭМЕ

Аджидóмо — белка.
Амик — бобр.
Амо — пчела.

Бимáгут — виноградник.
Бэм-вáва — звук грома.

Вабáссо — кролик; север.
Ва-ва-тэйзи — светляк.
Вáва — дикий гусь.
Вáвбик — утес.
Вавонэйса — полуночник (птица).
Вагонóмин — крик горя.
Вáмпум — ожерелья, пояса и различные украшения из раковин и бус.
Во-би-вáва — белый гусь.
Вобивáйо — кожаный плащ.
Вэбино — волшебник.
Вэбино-Вэск — сурепка.
Вэ-мок-квáна — гусеница.

Гитчи-Гюми — Верхнее озеро.

Дагинда — гигантская лягушка.
Джиби — дух.
Джосакиды — пророки.
Дэш-кво-нэ-ши — стрекоза.

Иза — стыдись!
Инáйнивэг — пешка (в игре в кости).

Йшкудá — огонь, комета.
Йенадиззи — щеголь, франт.

Кагаги — ворон.
Кáго — не тронь!
Кайóшк — морская чайка.
Кивáйдин — северо-западный ветер.
Кинэбик — змея.
Киню — орел.
Ко — нет.
Куку-Кугу — сова.
Куо-ни-ши — стрекоза.
Кэнóза, Маскеноза — щука.

Манг — нырок.
Ман-гó-тэйзи — отважный.
Маномони — дикий рис.
Месяц Светлых Ночей — апрель.
Месяц Листьев — май.
Месяц Земляники — июнь.
Месяц Падающих Листьев — сентябрь.
Месяц Лыж — ноябрь.
Миды — врачи.
Минáга — черника.
Минджикэвон — рукавицы.
Минни-вáва — шорох деревьев.
Мискодит — «След Белого» (цветок).
Мише-Мóква — Великий Медведь.
Мише-Нáма — Великий Осетр.
Мондáмин — маис.
Мушкодáза — глухарка.
Мэдвэй-óшка — плеск воды.
Мэма — зеленый дятел.
Мэшинóва — прислужник.

Нáма — осетр.
Нáма-Вэск — зеленая мята.
Нинимуша — милый друг.
Нóза — отец.
Нэго-Вóджу — дюны Верхнего озера.
Нэпáвин — сон, дух сна.
Нэшка — смотри!

Овейся — сивоворонка (птица).
Одамин — земляника.
Озавабик — медный диск (в игре в кости).
Окагавис — речная сельдь.
Омими — голубь.
Онэвэ — проснись, встань!
Опечи — красногрудка (птица).

Па-пок-кина — кузнечик.
Пибоан — зима.
Пимикан — высушенное оленье мясо.
Пишнэкэ — казарка (птица).
Поггэвогон — палица.
Погок — смерть.
Пок-Уэджис — пигмеи.
Понима — загробная жизнь.

Сава — окунь.
Сибовиша — ручей.
Соббикаши — тарантул.
Сон-джи-тэгэ — сильный.
Сэгвон — весна.

Тэмрак — лиственница.

Уг — да.
Угодвош — самглав, луна-рыба.

Читовэйк — зуек.

Ша-ша — далекое прошлое.
Шебамик — крыжовник.
Шингебис — нырок.
Шишэбвэг — утенок (фигурка в игре в кости).
Шовэн-нэмэшин — сжалься!
Шогаши — морской рак.
Шогодайя — трус.
Шошо — ласточка.
Шух-шух-га — цапля.

Энктаги — Бог Воды.
Эннимики — гром.
Эпоква — тростник



ПРИМЕЧАНИЯ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Настоящее издание стихотворений И. А. Бунина не претендует на полноту охвата его поэтического наследия и является «избранным».

Стихотворения И. А. Бунина печатаются в последних авторских редакциях.

В заметке И. А. Бунина, предваряющей его «Собрание сочинений», изданное в Берлине в 1934—1936 годах в одиннадцати томах, сказано, что автор просит читателей, критиков и переводчиков «пользоваться только этим текстом». Однако в дальнейшем, начиная с 1947 года, И. А. Бунин стал вносить поправки и в это издание и продолжал работу над ним вплоть до последнего года жизни. Мы учли эти поправки (в недавнее время экземпляр «Собрания сочинений» с правкой И. А. Бунина был доставлен из Парижа в Москву).

Вместе с тем по подбору стихов берлинское «Собрание сочинений» крайне неполно: в него вошло не больше трети поэтического наследия И. А. Бунина. Поэтому при составлении настоящего сборника мы широко пользовались также «Полным собранием сочинений» И. А. Бунина, изданным в Петрограде в 1915 году в шести томах. В текст первого и третьего томов этого издания И. А. Бунин также внес существенные исправления (последние из них датированы 16 декабря 1952 года), и мы тоже учли их при подготовке настоящего сборника (исправленные И. А. Буниным книги сейчас также находятся в Москве).

В тех случаях, когда стихи печатаются по двум указанным изданиям — берлинскому и петроградскому (а таких случаев большинство), особых оговорок в примечаниях, как правило, не содержится.

При составлении сборника нами использованы в качестве текстологического источника также и многие другие, ранние и поздние, публикации стихов И. А. Бунина. Стихи 1916—1925 годов даны по текстам последних прижизненных изданий И. А. Бунина, вышедших за рубежом и частично также исправленных автором для нового, предполагавшегося им собрания сочинений. В этих случаях источник текста указан в примечаниях. Зарубежные издания

явились источником установления окончательного текста и для некоторых стихотворений дореволюционной поры.

Стихотворения расположены в хронологическом порядке, и в этом смысле наше издание во многом исправляет ту произвольную последовательность и в ряде случаев неверную хронологию, которые отличают «Полное собрание сочинений» 1915 года. В тех случаях, когда дата написания стихотворения точно не могла быть установлена, но есть все основания отнести его к циклическим датам, — оно помещено в соответствующем разделе книги. Стихи 1903—1911 годов, как правило, точно не датировались автором в прижизненных публикациях и потому в большинстве своем не датированы и в нашем издании.

Ввиду неразработанности библиографии по Бунину, а также недоступности многих зарубежных изданий, не установлено время и место первой публикации ряда стихотворений, в частности — написанных после 1917 года.

В примечаниях приводятся лишь наиболее существенные варианты.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1886—1902 ГОДОВ

«Шире, грудь, распахнись для принятия» (стр. 31). Печатается по «Полн. собр. соч.», т. I (1915).

Поэт (стр. 31). Печатается по «Полн. собр. соч.», т. I (1915).

Деревенский нищий (стр. 32). Впервые — «Родина», 1887, № 20. Подзаголовок («Первое напечатанное стихотворение») принадлежит Бунину. Фактически первым напечатанным стихотворением Бунина является «Над могилой С. Я. Надсона» («Родина», 1887, № 8, от 22 февраля).

Затишье (стр. 33). Впервые — «Книжки Недели», 1888, сентябрь.

«Высоко полный месяц стоит» (стр. 33). Впервые — сборник стихов Бунина «Под открытым небом» (М., 1898), под заглавием «Осенняя ночь».

«Помню — долгий зимний вечер» (стр. 34). Впервые — сборник Бунина «Стихотворения 1887—1891 гг.» (Орел, 1891). Здесь после первой строфы окончательного текста — еще одна:

Я лежу в своей кроватке,
Истомленный и больной,
Мать с безмолвной, тайной грустью
Наклонилась надо мной.

И после заключительной строфы — еще три:

Дорогая! Снова болен
Я и телом и душой.
Зимний вечер одинокий
Веет темною тоской, —

И встает передо мною
Все печальней и грустней
Вереница дней печальных
Бедной юности моей.

Отчего же, как бывало,
Не звучит мне голос твой?
Отчего ж теперь не могут
Мне мечты принесть покой?!

Полевые цветы (стр. 35). Впервые — сборник стихов и рассказов Бунина «Полевые цветы» (М., 1901).

«В темнеющих полях, как в безграничном море» (стр. 35). Впервые — сборник «Под открытым небом» (1898). В 1952 году Бунин вычеркнул вторую строфу:

Из зреющих хлебов, как теплое дыханье,
Порою ветерок касается чела.
Но спят уже хлеба. Царит кругом молчанье,
Молчат перепела.

«Пустыня, грусть в степных просторах» (стр. 36). Впервые — «Собр. соч.», т. I (Берлин, 1936).

«Не пугай меня грозою» (стр. 36). Впервые — «Книжки Недели», 1888, декабрь.

«Туча растаяла. Влажным теплом» (стр. 37). Впервые — сборник «Под открытым небом» (1898), где заключительное двустишие напечатано полностью:

Пахнет черемухой... Сладостным сном
Веет в затишье ночном...

«Какая теплая и темная заря!» (стр. 37). Впервые — альманах «Искры», I (1895).

«Бледнеет ночь.. Туманов пелена» (стр. 38). Впервые — сборник «Стихотворения 1887—1891 гг.» (1891).

«Осыпаются астры в садах» (стр. 38). Впервые — сборник «Стихотворения 1887—1891 гг.» (1891).

«В полночь выхожу один из дома» (стр. 39). Впервые — «Собр. соч.», т. I (1936).

«Пустынные поля, пейзажи деревень» (стр. 39) Впервые — сборник «Стихотворения 1887—1891 гг.» (1891).

«Зимней свежестью пахнуло» (стр. 40). Впервые — сборник «Стихотворения 1887—1891 гг.» (1891).

«Не видно птиц. Покорно чахнет» (стр. 40). Впервые — «Мир божий», 1898, № 10. В первоначальной редакции после второй строфы — еще одна:

И далеко в лесу багряном
Кустарник виден на горе,
И луг, синеющий туманом
На ранней утренней заре.

И после третьей — также одна:

Теснятся тучи небосводом,
Синеет резко даль под ним,
И бодро конь идет по всходам,
По взметам, вязким и сырым

«Как все вокруг сурово, снежно» (стр. 41). Впервые — «Собр. соч.», т. I (1936).

Цыганка (стр. 41). Впервые — «Собр. соч.», т. I (1936).

«Как печально, как скоро померкла» (стр. 42). Впервые — сборник стихов Бунина «Листопад» (М., 1901).

«Один встречаю я дни радостной недели» (стр. 42). Впервые — сборник Бунина «Листопад» (1901).

«Далеко за морем» (стр. 43) Впервые — «Северный вестник», 1889, № 7. Здесь после первой строфы — еще две:

Грустно мне, родная,
Отчего-то стало
В этот тихий вечер..
Посмотри на берег:
Ночь уж наступила,
В темноте огнями
Отражаясь в бухте,
Город весь горит...

Смутно выступает
Силуэт мечети,
И толпы́ душистых
Стройных кипарисов
На бульварах дремлют,
Словно их чарует
Сумрак южной ночи,
Душной и немой...

«Месяц задумчивый, полночь глубокая» (стр. 43). Впервые — сборник «Листопад» (1901).

«Лес, — и ясно лазурное небо глядится» (стр. 44) Впервые — «Север», 1897, № 22.

«Нет, не о том я сожалею» (стр. 44) Впервые — «Мир божий», 1893, № 5. Здесь — еще одна, заключительная, строфа:

Один за книгою — порою
Я вдруг как будто прозревал,
Мне животворный свет сиял,
И преклонялся я душою
Пред тем, кто мыслил и страдал,
Пред тем, кому еще доступны
Стремленья высшей красоты,
Пред тем, «чьи мысли неподкупны
И целомудренны мечты»!..

«Ту звезду, что качалася в темной воде» (стр. 45). Впервые — «Мир божий», 1901, № 11, под заглавием «Былое». Здесь — еще одна, заключительная, строфа:

И как будто не я по зарям там бродил,
И как будто не я там любил и грустил...
Милый девичий образ поблек, как цветы...
Незабвенны лишь вы, молодые мечты.

Родине (стр. 45). Впервые — «Южное обозрение» (Одесса), 1898, 4 октября. Здесь датировано: «Ялта, 28 сентября 1898 г.».

Соловьи (стр. 46). Впервые — сборник «Под открытым небом» (1898).

«Бушует полая вода» (стр. 47). Впервые — сборник «Под открытым небом» (1898). Печатается по сборнику стихов и прозы Бунина «Начальная любовь» (Прага, 1921).

«Еще от дома на дворе» (стр. 48). Впервые — сборник «Листопад» (1901). В 1952 году Бунин вычеркнул заключительную строфу:

А за деревнею, где межи
В поля привольные бегут,
Где хуторки белеют реже, —
Ржи наливают и цветут,
В лазури жаворонки реют,
Поют про степь наперебой,
И, как мираж, курганы мреют
В дали воздушно-голубой.

Валёк — деревянный брусок для выколачивания белья при полосканьи.

«Свежеют с каждым днем и молодеют сосны» (стр. 48). Впервые — сборник «Под открытым небом» (1898).

«Догорел апрельский светлый вечер» (стр. 49). Впервые — сборник «Под открытым небом» (1898).

На пруде (стр. 49). Впервые — сборник «Под открытым небом» (1898).

Мать (стр. 50). Впервые — «Мир божий», 1898, № 1. Здесь заканчивалось следующими стихами:

Далеко хутор мой родной;
Давно прошли те дни и ночи,
Когда я видел пред собой
Ее заплаканные очи.
Но не забыть их никогда!
Во тьме житейского ненастья,
В часы раздумья и труда
Я вспоминаю их как счастье —
Как радость детства моего,
Как утешенье пред разлукой,
Как ласку нежную того,
Кто дал мне жизнь своею мукой!..

«Ночь идет — и темнеет» (стр. 51). Впервые — сборник «Листопад» (1901).

В поезде (стр. 51). Впервые — сборник «Под открытым небом» (1898).

«Крупный дождь в лесу зеленом» (стр. 52). Впервые — газета «Жизнь и искусство» (Киев), 1898, 22 ноября. Здесь после первой строфы окончательного текста — еще одна:

По долинам и по чащам,
Ароматным и блестящим,
Там Весна идет.
К жизни, к счастью, к юной страсти
Песней, полной юной власти,
Весело зовет.

И после второй строфы — также одна:

На призыв — в далеких чащах,
Ароматных и блестящих,
Дразнишь эхом ты.
Но кому оно ответит?
Кто хоть раз с восторгом встретит
Милые черты?

Троица (стр. 53). Впервые — «Воскресенье», 1901, № 20. Здесь начиналось следующей строфой:

День светлой Троицы, весны и обновленья!..
Как дышится легко, как ясен небосвод!
На солнечных лугах из ближнего селенья
Веселый благовест торжественно плывет.

«За рекой луга зазеленели» (стр. 53). Впервые — «Север», 1898, № 19. В 1952 году Бунин вычеркнул заключительную строфу:

Горько мне, что сердце так устало,
А душа горячих сил полна,
Что для сердца скорбного настала,
Может быть, последняя весна.

«В стороне далекой от родного края» (стр. 54). Впервые — «Русское богатство», 1900, № 12. Здесь — еще одна, заключительная, строфа:

В стороне далекой от родного края
Грезится мне юность как далекий сон —
Светлый сон, в котором снилося мне счастье,
Утро дней весенних, ясный небосклон.
Но проходят годы — и мечты бледнеют...
Счастье обмануло молодость мою...
Пусть оно порою мне смущает душу,
Пусть я дни былые, как мечту, люблю —
Я былым надеждам мой привет прощальный
С горькою улыбкой и печалью шлю!

«Могилы, ветряки, дороги и курганы» (стр. 55). Впервые — «Журнал для всех», 1900, № 12, под заглавием «Степная ночь».

«Неуловимый свет разлился над землею» (стр. 55). Впервые — «Север», 1896, № 6, под заглавием «Степная ночь». Здесь после первой строфы — еще одна:

Далеко на степи... Как сладко пахнет ржами
Там в этот ранний час! Как чутко ржи стоят,
Склонясь над заповедными межами,
Они степные тайны сторожат.

Кобчик — хищная птица из семейства соколиных.

«Если б только можно было» (стр. 56). Впервые — «Южное обозрение», 1899, 17 октября

«Нагая степь пустыней веет» (стр 56). Впервые — сборник «Листопад» (1901). Здесь стихотворение завершалось следующими строфами:

Но мил ты мне, мой хутор бедный,
Мой невеселый край родной,
Твоею глушью заповедной,
Твоею грустной красотой!

Как с другом юности далекой,
С тобою будет легче мне
И сумрак осени глубокой
И холод ночи одинокой
В угрюмой зимней тишине.

Ковыль (стр. 57). Впервые — сборник Бунина «Стихи и рассказы» (М., 1900). Эпиграф — из «Слова о полку Игореве». *Вежи* — кочевые шатры, шалаши. *Яруги* — овраги.

«Как дымкой даль полей закрыв на полчаса» (стр. 58). Впервые — «Наблюдатель», 1891, № 6, под заглавием «В лесу» и в следующей редакции:

Как флером голубым, закрыв на полчаса
Окрестность, — дождь прошел косыми полосами;
И снова глубоко сияют небеса
    Над орошенными полями.
Тепло и аромат... Свежеет зелень ржи,
На солнце бархатней становится пшеница,
И в молодом лесу, в березках у межи
    Болтают веселее птицы.
Пойдем же в лес! .. Свежа и зелена
Березок куща там, и девственны, не смяты
Меж ними ландыши. Цветущая весна
Там разлила свои лесные ароматы.
Пойдем туда... И снова, может быть,
Напомнит нам весна и роща молодая,
Как молоды еще с тобой мы, дорогая,
Что можем мы еще и верить и любить.

«Когда на темный город сходит» (стр. 58). Впервые — «Мир божий», 1898, № 2, под заглавием «Ночная вьюга».

«Что в том, что где-то, на далеком» (стр. 59). Впервые — «Собр. соч.», т. I (1936).

«Поздний час. Корабль и тих и темен» (стр. 59). Впервые — «Южное обозрение», 1899, № 972.

«Долог был во мраке ночи» (стр. 60). Впервые — «Нива», 1896, № 19, под заглавием «В море». Здесь после 24-го стиха шли следующие:

Дышит ветер жизни новой,
Убегает мрак суровый,
День все ближе — и, гляди,
Вместе с солнцем восходящим
Пена золотом кипящим
Загорелась впереди.

Костер (стр. 61). Впервые — сборник Бунина «Под открытым небом» (1898), под заглавием «Лес в сентябре». *Жемчужников* Алексей Михайлович (1821—1908) — поэт, оказавший Бунину поддержку в начальный период его литературной деятельности.

«Ночь наступила, день угас» (стр. 62). Впервые — «Мир божий», 1897, № 12 Здесь между первой и второй строфой окончательного текста — еще одна:

Опять я здесь, опять со мною
Мой тихий хутор — и кругом
Все веет ласкою степною
В прозрачном сумраке ночном.
И безмятежно спят селенья,
И безмятежно спит земля...
Мир вам, родимые поля!
Мир вам, былые треволненья.

Родина (стр. 62). Впервые — «Полн. собр. соч.», т. I (1915).

«В окошко из темной каюты» (стр. 62). Впервые — «Собр. соч.», т. I (1936).

Кипарисы (стр. 63). Впервые — «Южное обозрение», 1899, № 707. *Яйла* — плоскогорье в Крыму.

На Днепре (стр. 64). Впервые — «Жизнь», 1900, № 9.

«Счастлив я, когда ты голубые» (стр. 64). Впервые — «Литературные приложения к «Ниве», 1896, кн. 9.

Три ночи (стр. 65). Впервые — «Наблюдатель», 1890, № 8.

В степи (стр. 66). Впервые — «Южное обозрение», 1899, № 853, без посвящения и с подзаголовком «Из книги «Памяти Белинского». *Телешов* Николай Дмитриевич (род. в 1867) — писатель-реалист, примыкавший к горьковской школе.

«Отчего ты печально, вечернее небо?» (стр. 67). Впервые — «Мир божий», 1900, № 8, под заглавием «В море».

Северное море (стр. 68). Впервые — сборник «Под открытым небом» (1898).

«Вьется путь в снегах, в степи широкой» (стр. 68). Впервые — «Русское богатство», 1900, № 11, под заглавием «Зимний день».

На хуторе (стр. 69). Впервые — «Журнал для всех», 1899, № 1.

«Скачет пристяжная, снегом обдает» (стр. 70). Впервые — «Жизнь и искусство» (Киев), 1898, 28 ноября.

«Беру твою руку и долго смотрю на нее» (стр. 70). Впервые — «Собр. соч.», т. I (1936).

«Я к ней вошел в полночный час» (стр. 71). Впервые — «Собр. соч.», т. I (1936).

«При свете звезд померкших глаз сиянье» (стр. 71). Впервые — «Собр. соч.», т. I (1936).

«Снова сон, пленительный и сладкий» (стр. 71). Впервые — «Журнал для всех», 1900, № 9.

На дальнем севере (стр. 72). Печатается по «Полн. собр. соч.», т. I (1915).

Плеяды (стр. 72). Впервые — сборник Бунина «Стихи и рассказы» (1900). Здесь после второй строфы окончательного текста — еще одна:

Вот песня донеслась печально издалека...
Вот где-то воз скрипит...
И снова тишина... Спокойно и глубоко
Пустынный хутор спит.

Плеяды — созвездие.

«И вот опять уж по зарям» (стр. 73). Впервые — «Мир божий», 1898, № 10. Здесь — ещи три, заключительных, строфы:

И новых чувств томящий сон
Влечет в простор полей холодных,
В родной далекий небосклон,
За караваном птиц свободных...

О сердце! Слышишь ли их крик?
Куда он звал? Зачем глубокой
Тоскою в душу мне проник
И потонул в степи широкой?

Ответа нет... Заря ясна,
Светло и ярко запад рдеет,
Пустынна неба глубина,
И тихо воздух холодеет...

«Листья падают в саду» (стр. 73). Печатается по «Полн. собр. соч.», т. I (1915).

«Таинственно шумит лесная тишина» (стр. 74). Впервые — «Книжки Недели», 1900, № 9, под заглавием «Осень».

«Все лес и лес. А день темнеет» (стр. 75). Впервые — «Жизнь», 1900, № 9, под заглавием «Из сказки».

Листопад (стр. 75). Впервые — «Жизнь», 1900, № 10, с подзаголовком: «Осенняя поэма». В дореволюционных публикациях было посвящено М. Горькому. В первоначальной редакции стихотворение было гораздо пространнее. Здесь после стиха «Блестят, как сеть из серебра» (стр. 75) шли следующие:

Просе́ка узкая, как сени,
Уходит в терем, а по ней
Лежит ковер листвы осенней
Среди кустарников и пней.

Там, в потаенном чернолесье,
Всегда затишье: частый бор
Над ним темнеет в поднебесье
И окружает светлый двор.

После стиха «И снова все кругом замрет» (стр. 76):

Лес розовеет. А в ворота —
Среди двух высохших осин —
Глядят и синева долин,
И мелколесье, и болота,
И даль лиловых деревень...
Как хорошо! Но жаль чего-то,
И грустно Осени весь день.

Порой задумчиво выходит
Она на солнце из ворот
И бродит в поле, и не сводит
Очей с желтеющих болот.
Там, по лощинам и полянам,
Густых кустарников бугры
Раскинулись широким станом,
Как темно-красные шатры.
Там путь на юг. С немой печалью
На край небес глядит она,
Где даль слилась с небесной далью,
Мечтами тихими полна.
А день уходит. Небо ясно,
Прозрачный воздух сух и тих,
Леса алеют... И безгласно
Уходит светлый день от них.

После стиха «Предвестник долгого ненастья» (стр. 76) — еще четыре:

Все строже вдаль она глядит,
Все резче тайное страданье
В ее немых очах сквозит..
Какое вещее молчанье!

После стиха «И листьев сыростью гнилой» (стр. 77) — тоже четыре:

Наутро слабой и больною
Проснется Осень. На дворе
Темно и хмуро. За стеною
Бушует бор, как в ноябре...

После стиха «Над лесом держат перелет» (стр. 78) первоначально было:

Но дни идут. Свежеет просинь
Студеных далей.. Их простор
В поля иные тянет Осень.
Близка зима, стихает бор.

И вот встают столбами дыма
В селе на утренней заре;
Леса багряны, недвижимы *и т. д.*

После стиха «Повесят инеи сквозные» (стр. 79) вычеркнут один стих:

Воздвигнут арки кружевные.

Стожары — созвездие.

«Враждебных полон тайн на взгорье спящий лес» (стр. 79). Печатается по «Собр. соч.», т. I (1936). *Антарес* — звезда. *Валдайское серебро.* — Городок Валдай славился производством ямщицких колокольчиков.

«Затрепетали звезды в небе» (стр. 80). Впервые — «Собр. соч.», т. I (1936).

На распутье (стр. 80). Впервые — «Книжки Недели», 1900, октябрь. В сборнике «Листопад» (1901) посвящено художнику В. М. Васнецову. Стихотворение навеяно образами картины Васнецова «Витязь на распутье». В первоначальной редакции после четвертой строфы — еще три:

Я покинул остров Царь-Девицы,
Сине море, терем и сады,
Не ищу я по́ свету Жар-Птицы, —
Укажи мне ключ живой воды!

Светлый ключ, который воскрешает
Усыпленных мертвою водой
И цветами степи украшает,
Призывая к жизни молодой!

Но молчит угрюмо ворон вещий,
Неподвижно на кресте сидит
И угрюмо, зоркий и зловещий,
На меня и на коня глядит.

И после шестой строфы окончательного текста — еще три:

И ужели нет пути иного,
Где бы мог пройти я, не губя
Ни надежд, ни счастья, ни былого,
Ни коня, ни самого себя?

Веет поле тишиной великой!
Мертвецы в могилах древних спят.
Очарован красотою дикой,
Опускаю я покорно взгляд.

Вижу я курганы в тихом поле...
Много дней стоят они, и нет
Дела им до нашей бедной доли,
До мгновенных радостей и бед.

Вирь (стр. 81). Впервые — «Жизнь», 1900, № 9. Здесь — еще две, заключительные, строфы:

В старинной книге прочитал
Я эту повесть. Вирь доныне
Живет в лесу, где скит стоял,
Где лес безмолвен, как в пустыне.

Я верю грустным тем местам,
Я верю темному преданью...
Я посвящаю «Вирь» мечтам
И одинокому страданью!

В 1952 году Бунин вычеркнул еще две строфы — после четвертой окончательного текста:

Вирь тихо плачет меж ветвей,
Вирь сострадания не знает,
И человек идет за ней
И дней печальных не считает.

Безмолвной жалостью к себе,
Томленьем сладостным объятый,
Покорный горестной судьбе,
Он помнит лишь одни закаты.

«Нет солнца, но светлы пруды» (стр. 82). Впервые — сборник Бунина «Стихотворения 1889—1902» (1903), под заглавием «Счастье» и со вступительной строфой:

Весеннего ливня мы ждем...
Уж тучки синеют сердито
И в воздухе пахнет дождем,
А к югу все небо раскрыто...
Как чисто и весело в нем!

Последняя гроза (стр. 83). Впервые — «Мир божий», 1900, № 9.

Родник (стр. 84). Впервые — сборник Бунина «Полевые цветы» (1901). Печатается по сборнику Бунина «Начальная любовь» (1921).

В отъезжем поле (стр. 85). Впервые — «Жизнь», 1900, № 9. В сборнике «Листопад» (1901) было посвящено поэту В. Я. Брюсову. В 1952 году Бунин вычеркнул заключительную строфу:

Старых предков я наследье чую,
Зверем в поле осенью ночую,
На заре добычи жду... Скудна
Жизнь моя, расцветшая в неволе,
И хочу я слепо в диком поле
Силу страсти вычерпать до дна!

После половодья (стр. 85). Впервые — «Жизнь», 1900, № 9.

«Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет» (стр. 86). Впервые — «Жизнь», 1900, № 9.

«Когда деревья в светлый майский день» (стр. 86). Впервые — сборник «Листопад» (1901). Печатается по сборнику «Начальная любовь» (1921), в котором Бунин исключил вторую половину стихотворения.

Мне хорошо, мне грустно и легко
Тогда мечтать про молодость былую,
Мне радостно, что я еще тоскую
О том, что невозвратно-далеко.
Свой первый май невесело и бедно
И встретил я и нáвек проводил,
Но я любил, надеялся, грустил —
И не прошла весна моя бесследно.
Я не забыл ее святой привет,
Я знал ее несбыточные грезы,
Я до сих пор сквозь радостные слезы
Гляжу на их недолгий, нежный цвет!

«Вдали еще гремит, но тучи уж свалились» (стр. 86). Впервые — «Мир божий», 1900, № 8, под заглавием «В лесах над Десною».

«Еще утро не скоро, не скоро» (стр. 87). Впервые — «Жизнь», 1900, № 12, под заглавием «Перед зарею». Здесь — еще одна, предпоследняя, строфа:

Любим мы пред разлукой нежнее,
И теперь на душе у меня
Нет тоски: никогда мы дружнее
Не встречали и лучшего дня!

Печатается по сборнику «Начальная любовь» (1921).

По вечерней заре (стр. 87). Впервые — «Мир божий», 1900, № 8.

Учан-Су (стр. 88). Впервые — «Мир божий», 1900, № 8. В 1952 году Бунин вычеркнул заключительное четверостишие:

А горы в синей вышине!
А южный бор и сосен шепот!
— Под этот шум и влажный ропот
Стоишь, как в светлом полусне!

Учан-Су — водопад в Крыму.

Зной (стр. 88). Впервые — «Жизнь», 1900, № 12, с заключительной строфой:

А кругом истома сладострастья...
И под шум фонтанов запах роз
Мучит душу красотою счастья,
Красотою сонно-знойных грез.

Сумерки («Все — точно в полусне. Над серою водой») (стр. 89) Впервые — «Мир божий», 1901, № 1, под заглавием «На морских берегах».

«На мертвый якорь кинули бакан» (стр. 89). Впервые — «Жизнь», 1900, № 11, под заглавием «В бурю». Здесь вторая и третья строфы — в другой редакции:

Сливаясь в долгий и молящий стон,
Сквозь шум морской и ветра завыванье,
Звучит он как далекое рыданье, —
Призывный вопль и матерей и жен.

Но бурный мрак сгущается вдали,
Подходит ночь, и по волнам тяжелым
Ныряют и качаются за молом
Лишь старые, пустые корабли.

Бакан — пловучий знак, устанавливаемый на якоре для ограждения фарватера в опасных местах.

«Открыты жнивья золотые» (стр. 90). Впервые — «Журнал для всех», 1901, № 1. Здесь — еще одна, заключительная, строфа:

Глубок земли покой бесстрастный,
Пустая даль светла, как сон,
А надо всем — стеклянно-ясный,
Зеленоватый небосклон.

Сумерки («Как дым, седая мгла мороза») (стр. 90). Впервые — сборник «Знание», 1903, кн. I.

Развалины (стр. 91). Впервые — «Правда и жизнь», 1901, № 1. *Бригантина* — парусное судно.

«Был поздний час — и вдруг над темнотой» (стр 92). Впервые — «Журнал для всех», 1901, № 12. В сборнике Бунина «Новые стихотворения» (1902) — под заглавием «Ракета».

«Зеленый цвет морской воды» (стр. 92). Впервые — «Мир божий», 1901, № 11, под заглавием «На рассвете».

«Раскрылось небо голубое» (стр. 92). Впервые — «Мир божий», 1901, № 9. Здесь после первой строфы окончательного текста — еще одна:

Зато все ярче и нежнее
Живая неба бирюза,
И смотрят, весело синея,
В кустах подснежников глаза.

И после второй строфы — следующие три:

И нежный ветер, поднимая
Весенний шум своим крылом,
Пахнул широко лаской мая
И мягким солнечным теплом.

Сухие листья, запах пряный,
Атласный блеск березняка...
О, как за этою поляной
Просéка стройно-глубока!

Как утонченно-ярки краски,
Как даль светла и хороша!
Как жадно верит вещей ласке
Освобожденная душа!

В сборнике Бунина «Новые стихотворения» (1902) — под заглавием «Подснежники».

Ручей (стр. 93). Впервые — «Мир божий», 1901, № 9.

«На высоте, на снеговой вершине» (стр. 93). Впервые — «Русская мысль», 1902, № 2, под заглавием «В Альпах» и с подзаголовком: «Сонет на льдине».

«Еще и холоден и сыр» (стр. 94). Впервые — «Журнал для всех», 1902, № 1, под заглавием «Оттепель». В 1952 году Бунин вычеркнул две заключительные строфы:

Она повсюду разлита —
В лазури неба, в птичьем пеньи,
В снегах и вешнем дуновеньи, —
Она везде, где красота.

И, упиваясь красотой,
Лишь в ней дыша полней и шире,
Я знаю — все живое в мире
Живет в одной любви со мной.

«Мил мне жемчуг нежный, чистый дар морей!» (стр. 94). Впервые — «Мир божий», 1901, № 6.

«Дымится поле, рассвет белеет» (стр. 95). Впервые — сборник Бунина «Новые стихотворения» (1902), под заглавием «С кургана».

«Гроза прошла над лесом стороною» (стр. 95). Впервые — сборник «Новые стихотворения» (1902).

В старом городе (стр. 96). Впервые — «Мир божий», 1901, № 7.

«Облака, как призраки развалин» (стр. 97). Впервые — сборник Бунина «Стихотворения 1889—1902» (1903). В 1952 году Бунин вычеркнул две заключительные строфы:

Покоряясь смене, одиноко
Мы уходим... Скоро догорит
Наш закат... Но день уж недалеко, —
Он других улыбкой озарит.

Кто сумеет в эту ночь ответить,
Для чего лелеял я мечты?
Не затем ли, чтоб покорно встретить
Эту смену вечной красоты?

Элегия (стр. 97). Впервые — «Журнал для всех», 1901, № 8, под заглавием «Ночью».

На монастырском кладбище (стр. 98). Впервые — литературное приложение к газете «Приднепровский край», 1902, № 5—6. В сборнике Бунина «Новые стихотворения» (1902) — другая концовка:

Душа, затрепетав, как крылья вольной птицы,
Коснулась радостной и вечной красоты
И видит только даль и свет зари зеркальной
Под этот мерный гул, густой и музыкальный.

Ночь (стр. 98). Впервые — «Русская мысль», 1902, № 1.

«Зарницы лик, как сновиденье» (стр. 99). Впервые — «Мир божий», 1901, № 8, под заглавием «Зарницы».

«Спокойный взор, подобный взору лани» (стр. 100). Впервые — «Журнал для всех», 1901, № 6.

«Высоко наш флаг трепещет» (стр. 100). Впервые — сборник «Новые стихотворения» (1902), под заглавием «В море». Здесь — еще две, заключительные, строфы:

Я лицо и грудь подставил
Ветру с моря и с налета
   Вольный бег его ловлю, —

Я на ветер руль направил
И, как чайка, без отчета,
   Без раздумья жизнь люблю!

Утро (стр. 101). Впервые — сборник «Новые стихотворения» (1902).

Веснянка (стр. 101). Впервые — «Литературные приложения к «Ниве», 1901, кн. 12, под заглавием «Гроза». Печатается по сбор-

нику «Начальная любовь» (1921), где было исключено следующее окончание:

В вышине,
Сквозь жидкие, разорванные тучи,
Мелькали звезды. Ветер предрассветный
Пахнул с гречих медвяным ароматом,
И вдруг, открыв глаза, я улыбнулся.
«О да! — сказал я, радостно вздохнув. —
Я страсть сломил... Пойду к ней и скажу:
«Прости меня, — я изнемог, измучен, —
Люби других, — меня лишь пожалей.
Так горестно, так сладко жить на свете,
Любя неразделенною любовью,
Но чувствуя, что ты не одинок!»
И вновь вскочив, я вновь упал на землю.

Я замирал, я трепетал от скорби,
Стенал, как зверь, и плакал, расточая
Безумные и нежные слова...
Потом я обессилел. Наступило
Седое утро, тихое, сырое,
Овсы к земле приникли — и устало
Я головой склонился на межу...

Грозы не будет больше. Скоро осень.

«Пока я шел, я был так мал!» (стр. 103). Впервые — «Литературные приложения к «Ниве», 1901, кн. 9, под заглавием «На горах».

«Из тесной пропасти ущелья» (стр. 103). Впервые — «Мир божий», 1901, № 11, под заглавием «Просветы».

«Любил он ночи темные в шатре» (стр. 104) Впервые — «Мир божий», 1901, № 8, под заглавием «Курган». В первоначальном тексте между первой и второй строфами — еще одна:

Нагую даль он осенью любил
И никогда не мог насытить взора
Свободою пустынного простора
И широтою первобытных сил.

«Это было глухое, тяжелое время» (стр. 104). Впервые — «Мир божий», 1901, № 8. В 1952 году Бунин снял заглавие «Сон-цветок» и вычеркнул третью строфу первопечатного текста:

Замыкалось кольцом море спелого хлеба.
Жизни не было в нем. Уж давно отцвели
Те цветы, что в полях хороводы вели
И смотрели в далекое, ясное небо.

А также — заключительную:

Поздним летом в степи, на казацких могилах,
«Сон-цветок» в полусне одиноко цветет:
Он живой, но сухой. Он угаснуть не в силах,
Но весна для него не придет.

«Моя печаль теперь спокойна» (стр. 105). Впервые — сборник «Новые стихотворения» (1902). *Сибилла* (Сивилла) — пророчица у древних греков и римлян.

«Светло, как днем, и тень за нами бродит» (стр. 105). Впервые — сборник «Стихотворения 1889—1902» (1903). В 1952 году Бунин вычеркнул вторую строфу первоначального текста:

Луна взошла над садом так высоко,
Что редкий сад весь виден до ворот.
И все молчит. И веет издалека
С пустого поля сыростью болот.

Отрывок (стр. 106). Впервые — «Мир божий», 1902, № 1. В 1952 году Бунин изменил первоначальное заглавие («Из дневника») и сильно сократил текст. После стиха «Но холодно, — до снега недалеко» шло следующее:

В конце аллей есть старая калитка.
Под нею лужа зеркалом чернеет,
А в луже — куча листьев. За калиткой
Зеленых всходов ло́снится равнина,
И даль полей открыта... Много дней
Вдоль тех аллей, среди берез гудящих,
Под холодом и ветром я скитался,
Пытаясь к одиночеству привыкнуть,
Забыть тебя, унять тоску разлуки,
Пока недуг тоски не поборол...
Теперь я отдыхаю. Одиноко
Проходят дни, но горе миновало:
Мне радостно глядеть теперь на небо,
На облака, на солнце... Я с улыбкой
Внимаю песне ветра, что разгульно
Весь день звенит и свищет в щели рам.

После стиха «А нам легко и весело, как птицам...» шли следующие:

Ты помнишь, что́ я говорил тебе?
«Не надо думать в радости и в горе!
Люби и грусть и радость — песни жизни».

После стиха «Все это сном мне кажется теперь» в первоначальном тексте было следующее заключение:

Деревня, глушь, забытая усадьба,
И только ветер тот же... Он играет
В березах старых, кружится по саду
И в щели рам, меняясь каждый миг,

Поет о чем-то, звонко и высоко...
Какое дело ветру до сомнений,
До слез о прошлом? Жизнь не замедляет
Свой вольный бег, — она зовет вперед,
Она поет, как ветер, лишь о вечном!
Зачем смущать себя бесплодной думой,
Что мы живем не счастьем, а надеждой
На это счастье, что никто не знает,
К чему все наши радости и скорби,
Когда нас ждет забвение, ничто?
Умру — и все ж останусь в этом мире
Как часть его великой, вечной жизни,
И пусть, пока я сознаю его,
Пока я это чувствую и мыслю,
Пусть сердце не смущается в печали,
Пусть познает, что и печаль и радость
Равно прекрасны в вечной жажде — жить!

«Морозное дыхание метели» (стр. 107). Впервые — сборник «Новые стихотворения» (1902).

Кустарник (стр. 107). Впервые — сборник «Новые стихотворения» (1902).

«Багряная печальная луна» (стр. 108). Впервые — «Мир божий», 1902, № 10, под заглавием «В окрестностях Сиваша».

«Перед закатом набежало» (стр. 108). Впервые — «Мир божий», 1902, № 8, под заглавием «Первая любовь».

Смерть (стр. 109). Впервые — «Мир божий», 1902, № 8.

Лесная дорога (стр. 109). Впервые — «Русская мысль», 1902, № 8.

«Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена» (стр. 110). Впервые — «Мир божий», 1902, № 8, под заглавием «В море». *Селена* — луна.

«Если б вы и сошлись, если б вы и смирилися» (стр. 111). Впервые — «Мир божий», 1902, № 8. В 1952 году Бунин вычеркнул вступительную строфу:

Что напрасно мечтать! Кто на песню откликнется?
Каждый слышит в ней только свое..
Пусть же сердце скорей с одиночеством свыкнется:
Все равно не воротишь ее!

«Чашу с темным вином подала мне богиня печали» (стр. 111). Впервые — «Мир божий», 1902, № 8.

«Как все спокойно и как все открыто!» (стр. 111). Впервые — «Журнал для всех», 1902, № 9, под заглавием «Осень».

Бродяги (стр. 112). Впервые — «Образование», 1902, № 10. В 1952 году Бунин сократил это стихотворение, вычеркнув после стиха «Какие заунывные напевы!» следующее лирическое отступление:

Бродя по свету, выгнанный из дому
Нуждой и скукой, часто вспоминаю
Я собственное детство: протекло
Оно в степи, среди лощин и пашен,
Среди таких же голых косогоров,
Как вот на этом тракте; много тихих
Печальных детств зачем-то расцветало
И расцветет не раз еще в безлюдье
Степных ночей; мне тяжело любить их,
Но как забыть родное?
Ни души
Нет на лугу, а солнце в тучку село...

В первоначальной журнальной редакции этим стихам предшествовали еще следующие:

Но отчего ж навеки я сроднился
С печалью степи? Отчего так сладко
Мне рисовать ее глухую жизнь?
О, что-то есть прекрасное в забытых
Пустых полях, как в тишине осенней!

«Крест в долине при дороге» (стр. 113). Впервые — «Журнал для всех», 1902, № 9. В 1952 году Бунин исключил из первоначального текста следующее заключение:

Память сердца, образ милый!
Все, чем молодость смущала,
Все, чем сладко упивалось
Молодое сердце в скорби,
Все теперь слилось с тобой.
С тайной болью вспоминаю
То, чего забыть нет силы,
Но с печального пути
Все назад гляжу с печалью,
Все надеюсь, что услышу
Хоть последнее «прости!»

Эпитафия (стр. 113). Печатается по сборнику Бунина «Начальная любовь» (1921).

«Широко меж вершин дубравы» (стр. 114). Впервые — «Полн. собр. соч.», т. I (1915).

Зимний день в Оберланде (стр. 114). Впервые — «Русская мысль», 1902, № 10. *Оберланд* — высокогорная часть Альпийского хребта в Швейцарии. *Зильбергон* — одна из горных вершин в Швейцарии.

Кондор (стр. 115). Печатается по «Полн. собр. соч.», т. I (1915).

На озере (стр. 115). Впервые — «Русская мысль», 1902, № 7. Печатается по сборнику «Начальная любовь» (1921).

Запустение (стр. 116). Впервые — сборник «Знание», 1903, кн. 1, под заглавием «Над Окой».

Кольцо (стр. 119). Впервые — сборник «Знание», 1903, кн. 1, со следующим заключением:

Помню о счастьи безумные, сладкие грезы...
Знойные полдни на белых прибрежьях Днепра!

Перед бурей (стр. 119). Впервые — сборник «Знание», 1903, кн. 1.

Тропами потаенными (стр. 120). Печатается по сборнику Бунина «Стихотворения 1903—1906 гг. «Манфред» Байрона», изд. 2-е, доп., М. <1912>.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1903—1911 ГОДОВ

Северная береза (стр. 123). Впервые — альманах «Факелы», I (1906).

Мороз (стр. 123). Впервые — сборник «Знание», 1906, кн. 9.

«В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины» (стр. 124). Впервые — сборник «Знание», 1906, кн. 9, под заглавием «Тлен».

«На окне, серебряном от инея» (стр. 124). Впервые — сборник «Знание», 1906, кн. 9, под заглавием «Хризантемы».

После битвы (стр. 125). Впервые — «Правда», 1905, № 9/10.

«Обрыв Яйлы. Как руки фурий» (стр. 125). Впервые — «Золотое руно», 1906, № 7/9, под заглавием «С обрыва» и со следующим началом:

Стремнина скал. Волной железной
Здесь плоскогорье поднялось
И над зияющею бездной,
Оцепенев, оборвалось.

Здесь небо ясно, — слой тумана
Ползет над нами, как дракон, —
И моря синяя нирвана
Висит в пространстве с трех сторон.

Но дико здесь... Как руки фурий... *и т. д.*

Яйла — плоскогорье в Крыму. *Астрагал* — род кустарника. *Василиск* — сказочный змей.

«Старик у ха́ты веял, подкидывал лопату» (стр. 126). Впервые — «Заря», 1904, № 2, под заглавием «На току».

«Уж подсыхает хмель на тыне» (стр. 126). Впервые — «Журнал для всех», 1905, № 10, под заглавием «Сентябрь».

Ковсерь (стр. 127). Впервые — сборник «Знание», 1905, кн. 8, под заглавием «Мираж».

«Там, на припеке, спят рыбацкие ковши» (стр. 127). Впервые — «Журнал для всех», 1903, № 10, под заглавием «В плавнях».

Сказка (стр. 128). Впервые — «Правда», 1904, № 1. Здесь перед заключительной строфой — еще три:

На яркий свет лесных прогалин,
На берег выходя порой,
Мы упивались небом, далью
И волн хрустальною игрой.

И небеса в дали тонули,
А в небесах — морской простор,
И без конца вдоль по заливам
Холмами шел синевший бор.

Что там за ним? Что обещала
Обетованная страна?
О, только счастье, — только к счастью
Загадочно звала она!

В горах (стр. 128). Впервые — «Правда», 1904, № 2.

Жасмин (стр. 129). Печатается по «Полн. собр. соч.», т. III (1915).

Полярная Звезда (стр. 129) Впервые — альманах «Факелы», I (1906), под заглавием «Полюс».

Косогор (стр. 130). Впервые — «Русская мысль», 1904, № 11.

Океаниды (стр. 130). Впервые — «Правда», 1905, № 8. *Океаниды* — морские нимфы.

Под вечер (стр. 131). Впервые — «Журнал для всех», 1905, № 8.

Келья (стр. 131). Впервые — «Журнал для всех», 1905, № 9.

Статуя рабыни-христианки (стр. 131). Впервые — «Журнал для всех», 1905, № 9.

Призраки (стр. 132). Впервые — «Журнал для всех», 1905, № 7.

В Москве (стр. 132). Впервые — «Новое слово», 1906, № 3. Здесь — другое начало:

Здесь, в старых переулках за Арбатом,
Совсем особый город. Я живу
В каком-то ветхом домике и, право,
Весьма доволен этим. Хочешь знать,
Где я весну встречаю? В мезонине.
Там холодно и низки потолки,
Немало крыс, но по ночам — чудесно... *и т. д.*

А также — заключение:

Головки мелких куполов... Смотрю
И думаю: как хорошо быть вольным!
Как хорошо быть вечно одиноким!

Арбат — улица в Москве.

Чужая (стр. 133). Впервые — «Журнал для всех», 1906, № 4.

Невольник (стр. 133). Впервые — «Золотое руно», 1906, № 5. В 1952 году Бунин вычеркнул вступительную строфу:

Угрюмый варвар, сын Востока,
Я целый день живу один
При устье горного потока
В ущелье знойных Апеннин.

Апеннины — горный хребет в Италии.

Мистику (стр. 134). Впервые — «Русская мысль», 1906, № 7.

Детство (стр. 134). Впервые — «Журнал для всех», 1906, № 7.

На обвале (стр. 135). Впервые — «Современный мир», 1906, № 1.

Пахарь (стр. 135). Впервые — «Новое слово», 1906, № 19, под заглавием «За сохой». Здесь заключительная строфа читается так:

В лилово-синем море чернозема
Затерян я... В голубоватой мгле
Сияет день... Я вырос здесь, я дома, —
Я хоть на миг прильнул к родной земле!

Подвои — здесь: веревки, которыми связаны части сохи. *Сошники* — железные части сохи.

Речка (стр. 136). Впервые — «Новое слово», 1906, № 34/35.

Донник (стр. 136). Впервые — сборник Бунина «Стихотворения 1903—1906 гг.» (1906).

Розы (стр. 137). Впервые — сборник «Стихотворения 1903—1906 гг.» (1906).

У шалаша (стр. 137). Впервые — сборник «Стихотворения 1903—1906 гг.» (1906).

Горе (стр. 138). Впервые — сборник «Стихотворения 1903—1906 гг.» (1906).

С острогой (стр. 138). Впервые — сборник «Стихотворения 1903—1906 гг.» (1906). *Фелюка* — небольшое парусное судно.

Дюны (стр. 139). Впервые — сборник «Стихотворения 1903—1906 гг.» (1906). *Баклан* — водяная птица.

Дагестан (стр. 139). Впервые — сборник «Стихотворения 1903—1906 гг.» (1906).

Хая-Баш (стр. 140). Впервые — сборник «Стихотворения 1903—1906 гг.» (1906). *Сааз* — музыкальный инструмент, распространенный на Востоке.

Песня («Я — простая девка на баштане») (стр. 140). Впервые — сборник «Знание», 1906, кн. 9.

Одиночество (стр. 141). Впервые — сборник «Знание», 1906, кн. 9.

Печаль (стр. 142). Впервые — сборник «Знание», 1906, кн. 9, со следующим окончанием:

...Мы все бездомны,
Все бесприютны, но смотрим — вдаль.

Каменная баба (стр. 142). Впервые — сборник «Знание», 1906, кн. 9.

Сапсан (стр. 142). Впервые — «Мир божий», 1905, № 4, с подзаголовком «Поэма». Здесь стихотворение состояло из четырнадцати строф. Между стихом «По насту снеговых полян» и стихом «И если б враг мой от привады» (строфа 7-я окончательного текста) здесь шли следующие:

Я шел убить, я слушал чутко
Малейший звук... Но отчего
Мне было в эту ночь так жутко
И за себя и за него?

Он был мой враг, мы оба ждали
Смертельной встречи. Уж не раз
Мы друг за другом наблюдали
В крещенский полуночный час.

В безлюдье, на равнине дикой,
Мы оба знали, что живем
Ее душой, ее великой
Зловещей чуткостью — вдвоем.

Но эта тишина пугала,
В ней крылось колдовство Судьбы...
И не Судьба ль подстерегала?
Она, она! А мы — рабы,
И оба одиноки в поле,
И оба жалки... И одной
Обречены печальной доле:
Стеречь друг друга в час ночной.

Затерянный в степи безбрежной,
Он в эту полночь где-нибудь
Держал среди равнины снежной
Свой вечный, безотрадный путь.
А я? Я тоже вечный странник;
Я, как и он, — в добре и зле
Какой-то темной силы данник —
Живу скитальцем на земле...

И все же только меткость пули
Одна могла спасти меня,
И если б предо мной блеснули
Два фиолетовых огня,

Кроме того, имелась заключительная (14-я) строфа:

Он умерщвлен. Но он — эмблема
Той дикой жизни, тех степей,
Где эта грубая поэма
Слагалася в душе моей.
Он умерщвлен. Но нет прощенья
За смерть его, сказал башкир:
Он гений зла, он демон мщенья,
Он дьявол, покоривший мир.

В строке «Стал гость ходить. Он до рассвета» (начало 2-й строфы) в первоначальном тексте было: «Стал *волк* ходить...» В издании 1915 года Бунин вычеркнул 10-ю и 14-ю строфы первоначального текста, а в 1952 году внес в стихотворение дальнейшие сокращения. *Сапсан* — хищная птица рода соколов. *Привада* — прикормка для приманки.

Русская весна (стр. 144). Впервые — сборник «Посильная помощь в пользу пострадавших от неурожая». М., 1906.

Портрет (стр. 145). Впервые — «Золотое руно», 1906, № 5.

«Старик сидел, покорно и уныло» (стр. 146). Впервые — сборник «Стихотворения 1903—1906 гг.» (1906), под заглавием «Старик».

«В лесу, в горе родник, живой и звонкий» (стр. 146). Впервые — «Новое слово», 1906, № 15. *Голубец* — крест с кровелькой. *Корец* — ковш.

«Мы встретились случайно, на углу» (стр. 147). Впервые — сборник «Стихотворения 1903—1906 гг.» (1906), под заглавием «Новая весна».

«Густой зеленый ельник у дороги» (стр. 147). Впервые — сборник «Стихотворения 1903—1906 гг.» (1906), под заглавием «Олень».

«Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темном» (стр. 148). Впервые — сборник «Стихотворения 1903—1906 гг.» (1906), под заглавием «На ущербе».

«Все море — как жемчужное зерцало» (стр. 148). Впервые — «Золотое руно», 1906, № 7/9, под заглавием «После дождя».

Огонь на мачте (стр. 149). Впервые — сборник «Стихотворения 1903—1906 гг.» (1906).

Стамбул (стр. 149). Впервые — альманах «Новое слово», I (1907). *Скутари* — район Стамбула. *Базилика* — христианский храм. *Сераль* — дворец турецких султанов.

Гробница Софии (стр. 150). Впервые — сборник «Знание», 1905, кн. 7. *София* — одна из жен Магомета. *Геллеспонт* — древнегреческое название Дарданелльского пролива. *Тюрбе* — надгробие, усыпальница у мусульман.

Зеленый стяг (стр. 151). Впервые — альманах «Факелы», I (1906). Здесь между 4-й и 5-й строфами — еще одна:

Славен ты, очищающий, мощный, как пламя,
Славен падший от ран
За тебя, вечно-юное знамя —
За Ислам и Коран.

Зеленый стяг (Эски) — знамя Магомета, святыня мусульман. *Гавриил* — архангел, покровитель Ислама; по магометанским сказаниям, сообщил Магомету весь Коран. *Геджас* — область Аравии.

За измену (стр. 151). Впервые — сборник «Знание», 1905, кн. 7.

Айя-София (стр. 152). Впервые — сборник «Знание», 1906, кн. 9. *Айя-София* — древний христианский храм св. Софии в Константинополе, превращенный турками в мечеть.

К Востоку (стр. 152). Впервые — «Вершины», 1909, кн. II. *Джин* — в арабском фольклоре злой дух.

Мудрым (стр. 153). Впервые — «Вершины», 1909, кн. II.

Зейнаб (стр. 153). Впервые — сборник «Стихотворения 1903—1906 гг.» (1906). *Зейнаб* — арабское женское имя; так звали одну из жен Магомета. *Хамсин* — жаркий, сухой ветер, песчаная буря.

«Огромный, красный, старый пароход» (стр. 154). Впервые — «Современный мир», 1906, № 1, под заглавием «В порту».

«Геймдаль искал родник божественный» (стр. 154). Впервые — альманах «Шиповник», II (1907), с эпиграфом: «Геймдаль пил из источников мудрости и слышал рост мхов». *Геймдаль* — герой северной мифологии; сторож богов, он видит и днем и ночью на сто миль вокруг, слышит, как растет трава и шерсть на овцах.

«Мимо острова в полночь фрегат проходил» (стр. 155). Впервые — сборник «Знание», 1910, кн. 29, под заглавием «Старинные стихи».

Чибисы (стр. 155). Впервые — «Путь», 1913, № 2.

«Растет, растет могильная трава» (стр. 156). Впервые — альманах «Новое слово», II (1907), под заглавием «Забвение».

Купальщица (стр. 156). Впервые — «Северные записки», 1914, № 2.

«Люблю цветные стекла окон» (стр. 157). Впервые — сборник «Знание», 1907, кн. 15. *Сю Эжен* — французский писатель (1804—1857). *Патерик* — сборник биографий «святых» христианской церкви. *Дагерротипы* — старинные фотографии на металлических пластинках.

Петров день (стр. 157). Впервые — альманах «Шиповник», II (1907). *Сухмень* — засуха. *Зарить* — распалять, поджигать.

Вальс (стр. 159). Впервые — «Мысль и жизнь», 1908, № 1.

«Ограда, крест, зеленая могила» (стр. 159). Впервые — «Перевал», 1906, № 2, под заглавием «Панихида».

Джордано Бруно (стр. 160). Впервые — сборник «Знание», 1906, кн. 14. *Бруно Джордано* (1548—1600) — великий итальянский мыслитель и писатель, материалист и атеист, автор антиклерикального памфлета «Изгнание торжествующего Зверя»; в своих космологических сочинениях выступил против принятой церковью космологии Аристотеля — Птоломея и развивал мысль о бесконечности вселенной и бесчисленности миров. За проповедь передового материалистического мировоззрения и критику церкви был сожжен

на костре как еретик. Курсивом выделены слова Дж. Бруно, обращенные к его судьям. *София* — по-гречески: мудрость.

Сатурн (стр. 161). Впервые — «Перевал», 1907, № 10.

Пугач (стр. 162). Впервые — сборник «Знание», 1906, кн. 14.

Пугало (стр. 162). Впервые — сборник «Знание», 1907, кн. 15, с эпиграфом: «Страх-батюшка. Пословица». Это и все следующие стихотворения с датой «1907» датированы по сборнику Бунина «Стихотворения 1907 года» (1908).

Рыбалка (стр. 163). Впервые — «Современный мир», 1908, № 1.

Новый храм (стр. 163). Печатается по «Собр. соч.», т. I (1936). *Назарет* — по евангельской легенде, место, где прошла молодость Иисуса Христа. *Кубовый* — синий.

На Плющихе (стр. 164). Впервые — «Перевал», 1907, № 4. *Плющиха* — улица в Москве.

Кошка (стр. 165). Впервые — «Современный мир», 1907, № 9, с пометой: «Из цикла „Смерть“». Первопечатный текст сильно отличается от окончательного:

Кошка в крапиве за домом жила.
Дом заколоченный был как могила.
Кошка в него по ночам приходила
И замирала в углу у стола.

Стол обращен к образам... Позабыли...
Стол запылился, рассохся... В углу
Звездами воск пожелтел на полу:
Это церковные свечи оплыли.

Помнишь? Лежит старичок-холостяк,
Сложены ручки, ресницы — и кротко
В галстук склонилась седая бородка...
Слезы слезятся, колеблется мрак...

Темен теперь этот дом по ночам,
Сумрачен старый киот с образами.
Кошка проходит и светит глазами.
Ветер шумит по печам.

Безнадежность (стр. 165). Впервые — «Перевал», 1907, № 10, с пометой: «Из цикла „Смерть“».

Храм Солнца (стр. 166). Печатается по «Собр. соч.», т. I (1936). *Талес* — молитвенное полосатое покрывало у евреев. *Номад* (греч.) — кочевник. *Баальбек* — селение в Ливане, где сохранились

остатки знаменитого древнесирийского храма, посвященного богу солнца.

С корабля (стр. 166). Впервые — «Перевал», 1907, № 10, с пометой: «Из цикла „Смерть“».

Дикарь (стр. 167). Печатается по тексту сборника Бунина «Стихотворения 1907 года» (1908).

Обвал (стр. 167). Впервые — «Современный мир», 1907, № 9, с пометой: «Из цикла „Смерть“».

«В полях сухие стебли кукурузы» (стр. 168). Впервые — альманах «Зарница», I (1908), под заглавием «Летаргия».

На рейде (стр. 168). Впервые — «Перевал», 1906, № 2.

Балагу́ла (стр. 169). Впервые — «Русская мысль», 1907, № 8. *Балагу́ла* — название извозчичьего экипажа на Украине. *Аккерман* — город на берегу Днестра.

Дия (стр. 169). Впервые — «Перевал», 1907, № 4. Здесь после первой строфы — еще три:

Пригретый лаской солнечного света,
Сегодня в полдень слаще и грустней,
Задумчивей, чем прежде, с минарета
Пел муэззин... И все следил за ней.

Дышал он морем, тонким ароматом
Садов в цвету, теплом небес, земли...
А Дия шла по каменистым скатам,
По голышам меж саклями — к Али...

К Али? О нет, к фонтану. Там ветвистый
Столетний дуб, еще нагой, сквозной,
Там по корням лазурью серебристой
Бежит родник и летом и зимой.

А также — еще одна, заключительная:

Ей нравится ее босая ножка
В стекле воды... Ей нравится сурьма
Ее бровей... Ей нравится немножко
Пока одно: она сама.

Ак-Дениз — турецкое название Средиземного моря. *Турмана* — голуби. *Папучи* — туфли.

Из Анатолийских песен (стр. 170). Впервые — альманах «Новое слово», II (1907). *Анатолия* — район Турции. *Трапезонд* — город в Турции.

Гробница Рахили (стр. 171). Впервые — альманах «Щит» (1915).

С обезьяной (стр. 171). Впервые — сборник «Знание», 1908, кн. 20. *Фонтан* — дачная местность под Одессой. *Загреб* — город в Хорватии (Югославия).

«В столетнем мраке черной ели» (стр. 172). Впервые — сборник Бунина «Митина любовь» (Париж, 1925). Здесь после первой строфы — еще одна:

И на скамье сидел я старой,
И парка сумеречный сон
Меня баюкал смутной чарой
Далеких дедовских времен...

Пустошь (стр. 172). Впервые — сборник «Знание», 1908, кн. 21.

Художник (стр. 173). Впервые — «Современник», 1913, № 5. Имеется в виду А. П. Чехов и его дача в Ялте (ср. воспоминания Бунина о Чехове — «Полн. собр. соч.», т. VI, 1915, стр. 292—302).

Саваоф (стр. 174). Впервые — сборник «Знание», 1910, кн. 29, под заглавием «В детстве». *Саваоф* — одно из библейских имен бога.

Пилигрим (стр. 175). Впервые — альманах «Друкарь» (1910), под заглавием «Хаджи».

В Архипелаге (стр. 175). Впервые — сборник «Знание», 1908, кн. 24. *Эол* (греч. миф.) — бог ветра. *Посейдон* (греч. миф.) — бог морской стихии.

Караван (стр. 176). Печатается по «Собр. соч.», т. I (1936).

Имру-уль-Кайс (стр. 176). Впервые — альманах «Новое слово», III (1908), под заглавием «След» и с эпиграфом. «Его обдувает с юга и севера Имру-уль-Кайс». *Намет* — шатер.

Иней (стр. 177). Впервые — «Современный мир», 1909, № 1.

Вечер (стр. 177). Впервые — альманах «Искра», I (1910).

Спор (стр. 178). Впервые — «Современный мир», 1909, № 12, под заглавием «Вино». *Фессалийцы* — одно из греческих племен. *Мастика* — греческое вино.

Без имени (стр. 178). Впервые — альманах «Сегодня» (1909). *Саги* — сказания, легенды.

Песня («Зацвела на воле») (стр. 178). Впервые — альманах «Вершины», I (1909), под заглавием «Лен».

С т а л ь (стр. 179). Напечатано в альманахе «Вершины», I (1909); в сборники Бунина не входило.

С е н о к о с (стр. 179). Впервые — сборник «Знание», 1909, кн. 27. *Варок* — скотный двор, стойло.

С о б а к а (стр. 180). Впервые — сборник «Знание», 1910, кн. 30.

М о г и л а в с к а л е (стр. 181). Впервые — сборник «Знание», 1910, кн. 30.

Т у м а н (стр. 181). Впервые — альманах «Новая нива», I (1911).

Б е р е г (стр. 182). Впервые — альманах «Друкарь» (1910).

П е с н я («На пирах веселых») (стр. 182). Впервые — «Новая жизнь», 1911, № 4.

Н о ч н ы е ц и к а д ы (стр. 183). Впервые — сборник «Знание», 1910, кн. 30.

О П е т р е - р а з б о й н и к е (стр. 184). Впервые — «Русское слово», 1910, 28 декабря. *Литургия* — церковное богослужение, обедня.

П а м я т и (стр. 185). Впервые — сборник Бунина «Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг.» (1912).

Б е р е з к а (стр. 186). Впервые — «Всеобщий ежемесячник», 1911, № 11.

П р и д о р о г е (стр. 186). Печатается по «Собр. соч.», т. II (1934).

Н о ч н ы е о б л а к а (стр. 187). Печатается по «Полн. собр. соч.», т. VI (1915).

Д а л ь н я я г р о з а (стр. 187). Печатается по «Полн. собр. соч.», т. VI (1915).

Н о ч л е г (стр. 188). Впервые — альманах «Сборник. 1914 год» (1914). *Брамины* — жрецы в Индии.

З о в (стр. 188). Впервые — «Речь», 1912, 25 декабря. *Атлантида* — легендарный материк, погрузившийся на дно Атлантического океана.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1912—1925 ГОДОВ

П с к о в с к и й б о р (стр. 191). Впервые — «Северные записки», 1914, № 2. Здесь после первой строфы окончательного текста — еще одна:

Кто будет в нем моей защитой?
Я вспоминаю, точно сон...
Клад, нашим пращуром зарытый,
По праву мой... Но древен он.

«Ночь зимняя мутна и холодна» (стр. 191). В «Полн. собр. соч.» (1915) озаглавлено «Великий лось». В 1952 году Бунин после 10-го стиха («Горят из мглы, как из пушистых гнезд») вычеркнул:

С собакою сам друг я при луне.
Заиндевел тяжелый мех на мне,
Глаза прозрачным льдом опушены,
И вся душа во власти тишины,
Пред жутким богом северных ночей,
У тайны тайн, истока всех ключей.

В Сицилии (стр. 192). Впервые — «Новая жизнь», 1912, № 12, под заглавием «Монастыри».

Белый олень (стр. 192). Впервые — «Русская мысль», 1912, № 12. *Стебать* — хлестать, стегать. *Поезжане* — участники свадебного поезда.

Ритм (стр. 193). Впервые — «Современный мир», 1913, № 1.

Гробница (стр. 194). Впервые — «Современник», 1912, № 11.

Потомки Пророка (стр. 194). Впервые — «Современник», 1913, № 4.

Уголь (стр. 195). Впервые — «Современник», 1913, № 4.

«Шипит и не встает верблюд» (стр. 195). Впервые — «Полн. собр. соч.», т. V (1915), под заглавием «В Скутари».

Степь (стр. 196). Печатается по «Собр. соч.», т. III (1934).

Матрос (стр. 196). Впервые — «Современный мир», 1916, № 9. *Патрас* — порт в Греции.

Завет Саади (стр. 196). Впервые — альманах «Зарево», I (1915). *Саади* (1184—1291) — персидский поэт. *Трапезонд* — город в Турции.

Отрава (стр. 197). Впервые — «Полн. собр. соч.», т. VI (1915), под заглавием «Невестка». *Рудая* — красная, рыжая.

Мушкет (стр. 197). Впервые — «Полн. собр. соч.», т. VI (1915).

Венеция (стр. 198). Впервые — «Современный мир», 1913, № 12. Здесь — такое начало:

Восемь лет в Венеции я не был...
Мука Бреннер! Вымотало душу
По мостам, ущельям и туннелям,
Но зато какой глубокий отдых!
Всякий раз... *и т. д.*

(*Бреннер* — перевал в Альпах.) После стиха «Радостно все это было видеть!» (конец 1-й строфы) шли следующие:

Плыли мы с Энрико — он женился,
Стал серьезней, — у дверей отеля
Я сказал: «Энрико, если помнишь,
Я люблю осенние, сырые
Месячные ночи, надо завтра
Побродить по городу, на взморье,
На лагуны выплыть: завтра в полночь
Выйду я, как прежде, на пьяцетту,
Паперть нашей церкви, — дожидайся
Вон под тем палаццо, что напротив,
С выбитыми стеклами, с железной
Ржавою решеткой в дырах окон».

Заканчивалось стихотворение так:

...По лагунам к югу! Нет, не сердцем
Были мы моложе: сердце стало
Драгоценной сказочною скрипкой,
Зазвучавшей золотом певучим
Только после многих скорбных песен!

Капри — остров около берегов Италии. *Ламартин* Альфонс (1791—1869) — французский поэт. *Грациэлла* — героиня одной из юношеских поэм Ламартина. *Марк* — собор святого Марка в Венеции. *Дожи* — дворец дожей в Венеции. *Форестьер* — иностранный турист. *Адрия* — Адриатическое море. *Пьяцетта* (итал.) — площадь.

Могильная плита (стр. 202). Печатается по «Собр. соч.», т. IV (1934). К заключительным строкам Бунин в своем экземпляре «Собр. соч.» сделал такую приписку: «Не придется! 25. 8. 48. Париж». *Огарев* Н. П. (1813—1877) — русский поэт.

После обеда (стр. 202). Впервые — «Полн. собр. соч.», т. VI (1915). *«Дым»* — роман И. С. Тургенева.

Магомет и Сафия (стр. 203). Впервые — альманах «Щит» (1915).

Перстень (стр. 203). Впервые — альманах «Творчество», II (1918). Первопечатный текст существенно отличается от окончательного:

С индийской пышностью осыпан перстень мой
Лучисто-острыми камнями.

Так светит и горит, сокрытый полутьмой,
Старинный образ в царском храме.

Рубины мрачные цветут, чернеют в нем,
Внутри пурпурно-кровяные,
Алмазы вспыхивают розовым огнем,
Слезясь, как перлы ледяные.

И часто я гляжу на этот отчий дар
С тоскою смутной и тревожной,
И опускаю взор, переходя базар,
В толпе крикливой и ничтожной.

Слово (стр. 203). Впервые — «Летопись», 1915, № 12.

«Просыпаюсь в полумраке» (стр. 204). Впервые — сборник прозы и стихов Бунина «Роза Иерихона» (Берлин, 1924). В авторском экземпляре «Избранных стихов» (Париж, 1929) Бунин вычеркнул третью по счету строфу:

Счастлив этим ранним утром,
Диким севером, зимой,
Светлой люстры перламутром
Озарю я номер мой.

Исакий — Исаакиевский собор в Ленинграде.

Поэту (стр. 204). Впервые — «Летопись», 1915, № 12.

«Взойди, о Ночь, на горний свой престол» (стр. 205). Печатается по сборнику «Роза Иерихона» (1924). *Епитрахиль* — часть священнического облачения.

Невеста (стр. 205). Впервые — «Современный мир», 1916, № 12.

Цейлон. Гора Алагалла (стр. 206). Впервые — «Вестник Европы», 1915, № 12.

Одиночество (стр. 206). Впервые — «Современный мир», 1916, № 9, под заглавием «Бонна».

«К вечеру море шумней и мутней» (стр. 207). Впервые — «Современный мир», 1916, № 9, под заглавием «Дача на севере». *Бальмонт* К. Д. (1867 — 1943) — поэт-символист.

Война (стр. 207). Впервые — «Биржевые ведомости», утр. вып.. 1915, 25 декабря, под заглавием «Прокаженный». Здесь — еще одна, заключительная, строфа:

Пойду бродить из зала в зал,
Хрустя осколками зеркал, —

Какие мусорные груды!
Как падишах, войду в сераль,
Где смешан розовый миндаль
С кровавым деревом Иуды!

Тюрбе — мусульманское надгробье.

«У нубийских черных хижин» (стр. 208). Впервые — «Северные записки», 1915, № 11/12, под заглавием «За Ассуаном». *Ассуан* — город и одноименная провинция на юге Египта.

Казнь (стр. 208). Впервые — «Современный мир», 1916, № 10. *Бирючи* — вестники, глашатаи в допетровской Руси.

«Что ты мутный, светел-месяц?» (стр. 209). Впервые — «Северные записки», 1915, № 11/12. *Кружало* — кабак. *Кволый* — слабый, хилый.

Шестикрылый (стр. 210). Впервые — «Летопись», 1915, № 12.

Бегство в Египет (стр. 210). Впервые — сборник прозы и стихов Бунина «Господин из Сан-Франциско» (1916). *Божье Полотенце* — Млечный Путь.

Зазимок (стр. 211). Впервые — альманах «Отзвуки жизни», III (1916). *Сивер* (си́верко) — холодный, сырой ветер.

Святогор и Илья (стр. 211). Впервые — «Летопись», 1916, № 4. Здесь было такое окончание:

Кинул биться Илья — божья воля!
Едет прочь вдоль широкого поля,
Утирает слезу... Отняла
Русской силы Земля половину?
Выезжай на иную путину,
На иные дела!

Князь Всеслав (стр 212). Впервые — «Летопись», 1916, № 3. *Всеслав* — русский князь, княжил в Полоцком княжестве, умер в 1101 году; участвовал во многих междоусобных войнах удельных княжеств в XI веке *Стол* — княжеский престол. *София* — Софийский собор в Киеве.

«Мне вечор, младой, скучен терем был» (стр. 213). Впервые — «Летопись», 1916, № 4, под заглавием «Песня»

Кадильница (стр. 213). Впервые — альманах «В помощь пленным русским воинам» (1916).

«Когда-то, над тяжелой баркой» (стр. 214). Впервые — сборник Бунина «Господин из Сан-Франциско» (1916), под заглавием «Пора».

Искушение (стр. 214). Впервые — «Летопись», 1916, № 6. Приводим первоначальный текст, озаглавленный «Райское дерево»:

В старой книге картинка: свивается зыбко по Древу,
Водит, тянется в воздухе плоской головкой своей,
Ищет жалом дрожащим нагую прекрасную Еву
Искушающий Змей.

А какие на Древе цветы и плоды наливные!
А какие кусты, кипарисы и пальмы вдали!
Спит Адам у ручья. Носороги, медведи ручные,
Лани, тигры и барсы в тени полегли.

И стройна, высока волосами прикрытая Ева,
И к ноге ее круглой склоняется гривою лев,
И в короне павлин громко кличет с цветущего Древа
О блаженном стыде искушаемых дев.

Печатается в редакции 1952 года по сборнику Бунина «Весной, в Иудее. — Роза Иерихона» (Нью-Йорк, 1953). Здесь стихотворение сопровождено следующим примечанием Бунина: «По древним преданиям, в искушении Евы участвовали Лев и Павлин».

Дурман (стр. 214). Впервые — «Летопись», 1916, № 8. Здесь между первой и второй строфой окончательного текста — еще одна:

Звон дивный — слышный и неслышный,
Мир и невидимый и пышный, —
Она глядит на сад, на двор,
Идет к избе и понимает,
Куда идет, — дорогу знает,
Но очарован слух и взор.

Сон (стр. 215). Впервые — «Летопись», 1916, № 8. *Кочкарник* — болото.

Цирцея (стр. 216). Впервые — сборник «Господин из Сан-Франциско» (1916). *Улисс* (иначе Одиссей) — герой эпических поэм древнегреческого поэта Гомера. *Цирцея* — одна из героинь «Одиссеи», волшебница, пытавшаяся соблазнить Улисса своей красотой. *Аттический* — греческий.

У гробницы Виргилия (стр. 216). Впервые — «Летопись», 1916, № 5. *Виргилий* (70—19 до н. э.) — поэт древнего Рима.

«Синие обои полиняли» (стр. 217). Впервые — «Северные записки», 1916, № 10, под заглавием «В пустом доме».

«Там не светит солнце, не бывает ночи» (стр. 217). Впервые — альманах «Трудовая помощь инвалидам» (1916).

«Лиман песком от моря отделен» (стр. 218). Впервые — сборник Бунина «Роза Иерихона» (1924), под заглавием «Даль».

Сирокко (стр. 218). Впервые — «Современный мир», 1916, № 10. *Сирокко* — сухой, жаркий ветер в Южной Европе и Северной Африке.

Зеркало (стр. 219). Впервые — «Летопись», 1916, № 8.

Мулы (стр. 219). Впервые — «Летопись», 1916, № 7. *Рем* — один из легендарных основателей древнего Рима.

Миньона (стр. 220). Впервые — «Власть народа», 1917, 25 декабря. Стихотворение навеяно образом Миньоны из романа Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера». *Дормез* — большая дорожная карета. *Путешественник* — Гёте.

В горах (стр. 220). Впервые — «Северные записки». 1916, № 10, под заглавием «В Апеннинах».

Стой, солнце! (стр. 221). Впервые — альманах «Творчество», II (1918.) *Иисус Навин* — легендарный еврейский вождь, преемник Моисея, остановивший Солнце своим словом (библейская «Книга Иисуса Навина», X, 12—13).

Индийский океан (стр. 221). Впервые — «Киевская мысль», 1916, 25 декабря. *Фок* — здесь: фок-мачта. *Муссон* — ветер, дующий зимой с суши на море, а летом — с моря на сушу. *Скорпион* — созвездие.

«Солнце полночное, тени лиловые» (стр. 222). Впервые — «Современный мир», 1916, № 10, под заглавием «За Соловками» и с эпиграфом из стихов К. Случевского: «Солнце полуночи, тени лиловые...» Здесь еще одна, вторая по счету, строфа:

> Кренит размеренно палубу темную —
> Валок тяжелый и грязный баркас.
> С мукою слушаешь чайку бездомную
> В этот полуночный солнечный час.

Молодость (стр. 222). Впервые — «Современный мир», 1916, № 10.

Аленушка (стр. 223). Впервые — «Летопись», 1916, № 1.

В Орде (стр. 223). Впервые — «Летопись», 1916, № 10, с цензурными купюрами (стихи 18—20 и 25). *Галилея* — по евангельской легенде, родина Иисуса Христа.

Молодой король (стр. 224). Впервые — «Летопись», 1916, № 2. В статье «Думая о Пушкине» (1926) Бунин указал, что это стихотворение было написано им под непосредственным впечатлением «Песен западных славян» Пушкина.

Цейлон (стр. 225). Печатается по «Собр. соч.», т. V (1935).

В цирке (стр. 228). Впервые — сборник «Роза Иерихона» (1924).

Богиня (стр. 228). Впервые — «Вестник Европы», 1916, № 10, с подзаголовком «Из цикла „Цейлон“».

«Рыжими иголками» (стр. 229). Впервые — сборник «Господин из Сан-Франциско» (1916), под заглавием «Песенка».

Руслан (стр. 229). Впервые — «Ежемесячный журнал», 1916, № 9/10.

«Край без истории... Все лес да лес, болота» (стр. 230). Впервые — «Ежемесячный журнал», 1916, № 9/10, под заглавием «Без истории». *Клир* — церковный причт. *Бортники* — лесные пчеловоды.

Плоты (стр. 230). Впервые — сборник «Роза Иерихона» (1924).

«Полночный звон степной пустыни» (стр 231). Впервые — сборник «Роза Иерихона» (1924).

Дедушка в молодости (стр. 231). Впервые — «Северные записки», 1916, № 10. В статье «Думая о Пушкине» (1926) Бунин указал, что это стихотворение было написано под впечатлением «Повестей Белкина» Пушкина, которые он перечитывал в орловской усадьбе. *Окарина* — музыкальный инструмент вроде флейты.

Игроки (стр. 232). Впервые — сборник «Господин из Сан-Франциско» (1916). *Лосины* — военные брюки из лосиной кожи. *Штосс* — карточная игра. *Подрезá* — железные полосы, подбиваемые под санные полозья.

Фреска (стр. 233). Печатается по сборнику «Господин из Сан-Франциско» (1916). В «Собр. соч.», т. V (1935) Бунин из своих тогдашних идейно-политических соображений исключил последние 11 строк, чем обессмыслил все стихотворение. *Архистратиг* (греч.) — военачальник; прозвище архангела Михаила.

Последний шмель (стр 234). Впервые — «Современный мир», 1916, № 10.

«Настанет день — исчезну я» (стр. 235). Впервые — «Северные записки», 1916, № 10, под заглавием «Без меня».

На Невском (стр. 235). Впервые — «Современный мир», 1916, № 10. Здесь между 9 и 10 стихами — еще четыре:

Что видел я? Таинственную раму
Зеркального убежища — и даму
С красивым и заплаканным лицом,
Да ландыш на столике в бокале...

«Тихой ночью поздний месяц вышел» (стр. 236) Впервые — альманах «Творчество», II (1918), под заглавием «Глупое горе».

Помпея (стр. 236). Впервые — «Северные записки», 1916, № 10.

Калабрийский пастух (стр. 237). Впервые — «Северные записки», 1916, № 10.

Компас (стр. 237). Впервые — «Северное сияние», 1916. № 10.

«Покрывало море свитками» (стр. 238). Впервые — «Современный мир», 1916, № 9, под заглавием «Близ Биаррица зимой». Печатается в окончательной редакции, записанной Буниным на отдельном листке, вложенном в авторский экземпляр «Избранных стихов» (1929).

Аркадия (стр. 238). Впервые — «Северные записки», 1916, № 10. *Зиждитель скиптроносный* — Зевс.

Капри (стр. 239). Впервые — «Северные записки», 1916, № 10, под заголовком «Цветы».

«Едем бором, черными лесами» (стр. 239). Впервые — сборник «Роза Иерихона» (1924).

Первый соловей (стр. 240). Впервые — сборник «Роза Иерихона» (1924).

Среди звезд (стр. 240). Впервые — «Северные записки», 1916, № 10. *Иордан* — река в Палестине.

«Море, степь и южный август, ослепительный и жаркий» (стр. 241). Впервые — сборник Бунина «Митина любовь» (Париж, 1925).

«Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны» (стр. 241). Впервые — сборник «Роза Иерихона» (1924). *Мистраль* — северный ветер в южной Франции.

«У ворот Сиона, над Кедроном» (стр. 242). Печатается по сборнику «Роза Иерихона» (1924). *Сион* — гора в Иерусалиме, на которой был расположен иудейский храм. *Кедрон* — река в Иерусалиме.

Эпитафия (стр. 242). Печатается по «Собр. соч.», т. VIII (1935).

Ландыш (стр. 242). Печатается по сборнику «Роза Иерихона» (1924).

Свет незакатный (стр. 243). Впервые — альманах «Эпоха», I (1918), под заглавием «Могила».

«Ранний, чуть видный рассвет» (стр. 243). Впервые — сборник «Роза Иерихона» (1924), под заглавием «Накануне».

«Мы рядом шли, но на меня» (стр. 244). Впервые — сборник «Роза Иерихона» (1924), под заглавием «Накануне».

«Щеглы, их звон стеклянный, неживой» (стр. 244). Впервые — «Современные записки» (Париж), 1924, кн. 21, под заглавием «3 октября 1917 года». *Вертоград* — сад, виноградник.

«Как в апреле по ночам в аллее» (стр. 245). Печатается по «Собр. соч.», т. VIII (1936).

«Этой краткой жизни вечным измененьем» (стр. 245). Печатается по «Собр. соч.», т. VIII (1935).

«В дачном кресле, ночью, на балконе» (стр. 246). Впервые — «Родная земля» (Киев), 1918, № 1 (сентябрь-октябрь).

«И цветы, и шмели, и трава, и колосья» (стр. 246). Впервые — «Родная земля», 1918, № 1.

«Древняя обитель супротив луны» (стр. 247). Печатается по «Собр. соч.», т. VIII (1935).

«На даче тихо, ночь темна» (стр. 247). Впервые — «Возрождение», 1918, 16 июня.

Михаил (стр. 247). Печатается по сборнику «Роза Иерихона» (1924).

Канарейка (стр. 248). Печатается по сборнику «Роза Иерихона» (1924). *Брэм* — автор сочинения «Жизнь животных».

«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора» (стр. 248). Печатается по «Собр. соч.», т. VIII (1935).

Морфей (стр. 249). Печатается по сборнику «Роза Иерихона» (1924). *Морфей* — бог сновидений в греческой мифологии; (изображался в венке из маков).

Сириус (стр. 249). В сборнике «Роза Иерихона» (1924) — еще одна строфа, третья по счету:

Где молодость, простая, чистая,
В кругу любимом и родном,
И ветхий дом и ель смолистая
Среди сугробов под окном?

«Зачем пленяет старая могила» (стр. 250). Печатается по «Собр. соч.», т. VIII (1935).

«В полночный час я встану и взгляну» (стр. 250). Печатается по «Собр. соч.», т. VIII (1935).

«Мечты любви моей весенней» (стр. 251). Печатается по «Собр. соч.», т. VIII (1935).

«Печаль ресниц, сияющих и черных» (стр. 251). Печатается по «Собр. соч.», т. VIII (1935).

Венеция (стр. 251). Впервые — альманах «Окно», III (Париж, 1923).

«В гелиотроповом свете молний летучих» (стр. 252). Печатается по «Собр. соч.», т. VIII (1935).

Пантера (стр. 252). Печатается по «Собр. соч.», т. VIII (1935).

1885 год (стр. 253). Впервые — альманах «Окно», III (Париж, 1923). Здесь между второй и третьей строфой окончательного текста — еще две:

Где этот взор, сиявший небом мне?
Где та весна и гробные рыданья?
Один погост в далекой стороне,
Один призывный сон воспоминанья!

И что ни год, тем все призывней он,
Все радостней, все чище и нетленней,
И уж другой, нездешний небосклон
Сияет мне красой своей весенней.

В сборнике «Роза Иерихона» озаглавлено: «Весна 1886 г.»

Петух на церковном кресте (стр. 253). Впервые — сборник «Роза Иерихона» (1924). В авторском экземпляре «Собр. соч.» Бунин вычеркнул первую половину заключительной строфы:

Поет о том, что держит бег
В чудесный край его ковчег.

Амбуаз — город во Франции.

Встреча (стр. 254). Впервые — «Современные записки», 1924, кн. 21. *Кумания* — страна древних половцев.

«Льет без конца. В лесу туман» (стр. 254). Печатается по «Собр. соч.», т. VIII (1935).

«Уж как нá море, нá море» (стр. 255). Печатается по «Собр. соч.», т. VIII (1935). В сборнике «Митина любовь» (Париж, 1925) озаглавлено «Морская краса». *Лядвии* — ляжки.

Дочь (стр. 256). Впервые — «Современные записки», 1924, кн. 21.

«Опять холодные седые небеса» (стр. 256). Печатается по «Собр. соч.», т. VIII (1935).

«Одно лишь небо, светлое, ночное» (стр. 257). Впервые — «Современные записки», 1924, кн. 21, под заглавием «Старинные стихи». Здесь между первой и второй строфой окончательного текста — еще одна:

А по ночам тут жутко и тревожно,
Ночные корабли
Свой держат путь с молитвой осторожной,
Далеко от земли.

Сарматские места — Причерноморье.

Гаданье (стр. 257). Печатается по сборнику Бунина «Митина любовь» (Париж, 1925).

Восход луны (стр. 257). Печатается по сборнику «Митина любовь» (1925).

«В пустом, сквозном чертоге сада» (стр. 258). Печатается по сборнику «Митина любовь» (1925).

Кобылица (стр. 258). Печатается по сборнику «Митина любовь» (1925).

Голубь (стр. 258). Печатается по сборнику «Митина любовь» (1925).

Рабыня (стр. 259). Печатается по сборнику «Митина любовь» (1925).

Грот (стр. 259). Печатается по сборнику «Митина любовь» (1925).

Старая яблоня (стр. 260). Печатается по сборнику «Митина любовь» (1925).

ПЕСНЬ О ГАЙАВАТЕ

«Песнь о Гайавате» — поэма североамериканского поэта Генри Лонгфелло (1807—1882), написанная в 1855 году. Первый русский перевод поэмы, выполненный Д. Л. Михаловским, был опубликован в «Отечественных записках», 1868 (№№ 5, 6, 10, 11) и 1869 (№ 6) годов и издан отдельно в 1890 году. Перевод И. А. Бунина был издан в 1898 году. Печатается по изданию 1918 года (изд-во М. и С. Сабашниковых).

ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ И. А. БУНИНА

I. СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

Первое собрание произведений И. А. Бунина было осуществлено в 1902—1920 годах, в шести томах (первые пять томов были выпущены издательством «Знание», шестой том — издательством «Общественная польза»). Стихи помещены в следующих томах:

Том II — Стихотворения 1889—1902. СПб., 1903 <2-е изд. СПб., 1909>.

Том III — Стихотворения 1903—1906. СПб., 1906.

Том IV — Стихотворения 1907 года. СПб., 1908.

Том VI — Стихотворения 1907—1909. Рассказы. СПб., 1910.

В 1915 году издательством А. Ф. Маркса было выпущено «Полное собрание сочинений» И. А. Бунина в шести томах в качестве приложения к журналу «Нива». Стихи были включены в I, III и VI томы.

В 1934—1936 годах издательством «Петрополис» (Берлин) было осуществлено «Собрание сочинений» И. А. Бунина в одиннадцати томах. Стихи вошли в I, II, III, IV, V, VI и VIII томы.

В 1956 году в составе «Библиотеки „Огонек“» (издательство «Правда») вышло «Собрание сочинений» И. А. Бунина в пяти томах. Стихи помещены в I, II, III и IV томах.

II. СТИХОТВОРНЫЕ КНИГИ И. А. БУНИНА
(за исключением переводных)

1. Стихотворения 1887—1891 гг., Орел, 1891.
2. Под открытым небом. Стихи для юношества. Изд. журнала «Детское чтение», М., 1898.
3. Листопад. Стихотворения. Изд. «Скорпион», М., 1901.
4. Новые стихотворения. М., 1902.
5. Стихотворения. Изд. «Знание», СПб., 1906.
6. Избранные стихи для юношества. Изд. «Утро», М., 1908.

7. Стихотворения 1903—1906. «Манфред» Байрона. Изд. 2-е, дополненное. Московское книгоиздательство, <М., 1912>.

8. Избранные стихи. Изд. «Современные записки», Париж, 1929.

III. СМЕШАННЫЕ КНИГИ ПРОЗЫ И СТИХОВ

1. Стихи и рассказы. Изд. журналов «Детское чтение» и «Педагогический листок», М., 1900.

2. Полевые цветы. Сборник стихотворений и рассказов для юношества, М., <1901>.

3. Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг. «Московское книгоиздательство», М., 1912.

4. Иоанн Рыдалец. Рассказы и стихи 1912—1913 гг. Книгоиздательство писателей. М., <1913>.

5. Чаша жизни. Рассказы <и стихи> 1913—1914. Книгоиздательство писателей в Москве, <М., 1915>. (2-е изд., М., 1917).

6. Господин из Сан-Франциско. Произведения 1915—1916 гг. Книгоиздательство писателей в Москве, М., <1916>.

7. Храм солнца. Изд. «Жизнь и знание», Пг., 1917.

8. Собрание сочинений. Том десятый. Изд. «Парус», Пг., 1918.

9. Господин из Сан-Франциско и другие рассказы и стихотворения. Изд. «Русская земля», Париж, 1920 <на обложке: 1921>.

10. Начальная любовь. Рассказы и стихи. «Славянское издательство», Прага, 1921.

11. Чаша жизни. Изд. «Русская земля», Париж, 1921 <на обложке: 1922>.

12. Роза Иерихона. Изд. «Слово», Берлин, 1924.

13. Митина любовь. Изд. «Русская земля», Париж, 1925.

14. Весной, в Иудее.—Роза Иерихона. Издательство имени А. П. Чехова, Нью-Йорк, 1953.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ[1]

СТИХОТВОРЕНИЯ 1886—1902 ГОДОВ

[1] Первая цифра означает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1903—1911 ГОДОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ 1912—1925 ГОДОВ

ПЕСНЬ О ГАЙАВАТЕ

Лонгфелло

БУНИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ. СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор *В. Н. Орлов*

Художник *И. С. Серов*

Техн. редактор *С. И. Брусиловская.* Корректор *П. Е. Суздальский*

Сдано в набор 28/VI 1956 г. Подписано к печати 6/XII 1956 г. Бумага 84 × 108/32. Печ. л. 30,5 + 1 вкл. (25,01 + 1 вкл.). Уч.-изд. л. 23,89. Тираж 25 000. Цена 8 р. 75 к. Заказ № 573.

Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» Ленинград, Невский пр., 28.

Типография № 3 Управления культуры Ленгорисполкома Ленинград, Красная ул., д. 1/3.